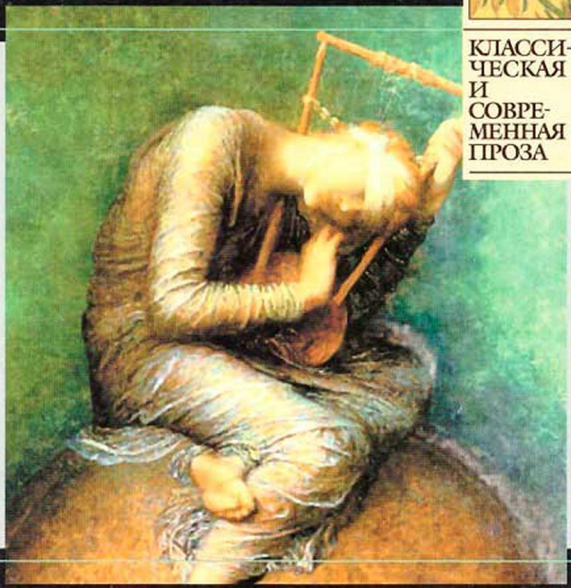
КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА



Космикомические истории

Итало КАЛЬВИНО

Итало

КАЛЬВИНО

Космикомические истории

рассказы

Космикомические истории

Космикомические истории: рассказы

Итало Кальвино

Аннотация
___. Космикомические истории: рассказы
Космикомические истории
  Отдаление Луны
  Когда впервые рассвело
  Знак в пространстве
  Всё в одной точке
  Бесцветный мир
  Игры без конца
  Водяной дядюшка
  На сколько спорим?
  Динозавры
  Форма пространства
  Световые годы
  Спираль
T нулевое
  Часть первая. Снова Qfwfq
    Мягкая Луна
    Происхождение птиц
    Кристаллы
    Кровь — море

Часть вторая. Присцилла
I. Митоз
II. Мейоз
III. Смерть
Часть третья. Т Нулевое
Т нулевое
Преследование
Ночью на дороге
Граф Монте-Кристо
Другие космикомические истории
Луна как гриб
Лунные девы
Метеориты
Каменное небо
Пока светит Солнце
Магнитная буря
Раковины и время
Память мира
Трансформированные космикомические истории
Ничто и малость
Взрыв внутрь
Космикомическая история. Новая редакция
Другая Эвридика

Аннотация

Итало Кальвино (1923–1985) — итальянский писатель, чьи книги вошли в золотой фонд мировой литературы XX века. Его произведения, переведенные на множество языков, поражают удивительными образами, ломающими жанровые рамки сюжетами, парадоксальностью и глубоким философским смыслом.

Сборник «Космикомические истории» составляют странные, сюрреалистические, постмодернистские рассказы.

На этот раз автор пытается ответить на вопрос, как возникла Вселенная и как проходила эволюция на Земле.

Одна ироническая теория следует за другой.

Каждая сатирически искаженная гипотеза предшествует десятку новых.

В результате же выстраивается концепция повествования: занимательного, неисчерпаемого на выдумку — и при этом заставляющего читателя всерьез задуматься о многих этических вопросах.

Литературно-художественное издание.



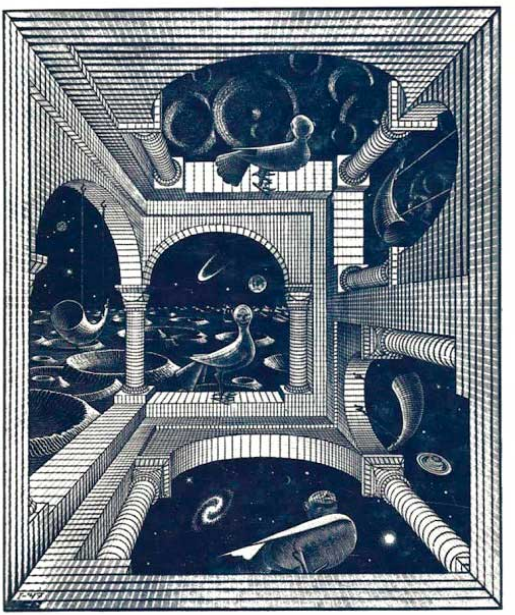
Fb2•

Космикомические истории: рассказы

Обложка первого издания сборника «Le cosmicomiche», 1965 г.

ITALO CALVINO

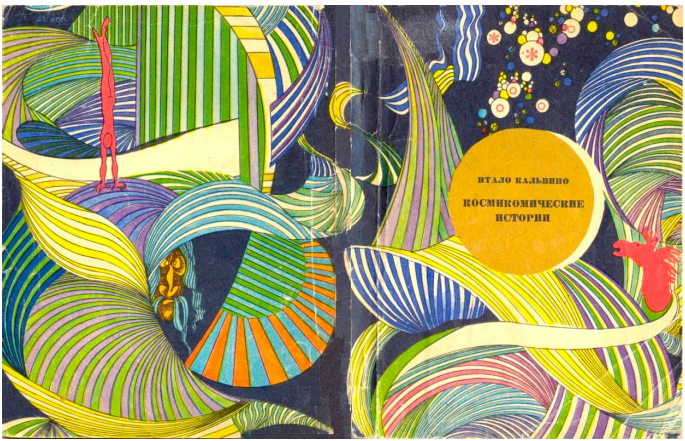
LE COSMICOMICHE



Космикомические истории

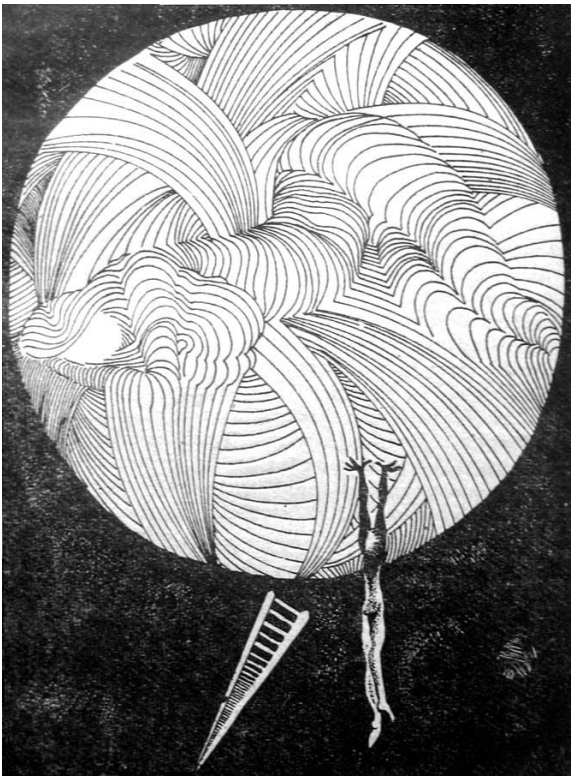
Обложка и иллюстрации (кроме проименованных особо) Бориса Иосифовича Жутовского

Обложка советского издания сборника «Космикомические истории». Молодая гвардия, Москва, 1968 г.


ИТАЛО КАЛЬВИНО
КОСМИКОМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Отдаление Луны*

*** Примечания: ***
La distanza della Luna.
© Перевод. Л. Вершинин, 2010.



В незапамятные времена, согласно теории сэра Джорджа Г. Дарвина, Луна находилась совсем близко от Земли. Но постепенно приливы отталкивали ее все дальше — те самые приливы, которые Луна вызывает в земных морях и океанах, в результате него Земля медленно теряет свою энергию.

— Я это отлично знаю! — воскликнул старый Qfwfq. — Вы не можете этого помнить, зато я не забыл. Луна, безмерно огромная, все время нависала над нами. По ночам в полнолуние было светло как днем — правда, сам свет был какой-то масляно-желтый, и казалось, будто Луна вот-вот нас раздавит. А в новолуние она неслась по небу, словно черный зонт, гонимый ветром. Ну а в фазе роста Луна прямо-таки надвигалась на Землю, наклонив свои рога, — еще немного, и она вонзит их в скалистый мыс и застрянет в нем. Но тогда фазы Луны чередовались в другом порядке, чем теперь; и из-за того, что расстояние до Солнца, орбита и склонение — все было другое, и еще по каким-то причинам — я их уже позабыл. А затмения повторялись чуть не каждую минуту — так близко были друг от друга Земля и Луна, и, понятное дело, то одна, то другая оставляла

соседку в тени.

Вы спрашиваете, какой была тогда орбита? Эллипсоидной, конечно же, эллипсоидной: на одном участке более сплюснутой, на другом — круто выгнутой. Когда Луна опускалась совсем низко, вода приливала с неудержимой силой. Нередко ночью полная Луна до того низко висела над землей, а прилив был таким мощным, что вода едва не касалась лунной поверхности, вернее — не доходила до нее на каких-нибудь несколько метров.

Пробовали ли мы взобраться на Луну? Ну как же! Достаточно было подплыть к ней на лодке, приставить стремянку и влезть.

То место, где Луна подходила ближе всего к Земле, было в районе Цинковых утесов. Плавали мы тогда на весельных плоскодонных баркасах из пробкового дерева. В лодку обычно садилась целая компания: я, капитан Vhd Vhd, его жена, мой кузен по прозвищу Глухой, а иногда и XlthlX, которой не исполнилось еще и двенадцати лет. В эти лунные ночи воды моря были спокойными и серебристыми, как ртуть, а рыбы — фиолетовыми; их неудержимо влекла Луна, и они все всплывали на поверхность вместе с шафранно-желтыми медузами и полипами.

То и дело крохотные крабы, кальмары, тоненькие прозрачные водоросли и гроздья кораллов отделялись от воды и, взлетев вверх, повисали на известковом лунном потолке либо светящимся роем носились в воздухе, а мы отгоняли их банановыми листьями.

Наши обязанности распределялись следующим образом: один греб к Луне, другой держал лестницу, а третий влезал по ней. Понятно, мы нуждались в многочисленных помощниках, и я назвал вам лишь основных членов экипажа.

Стоявший на самом верху лестницы, когда лодка подплывала совсем близко к Луне, испуганно кричал: «Стоп! Стоп! Я в нее головой врежусь!» И правда, огромная Луна внезапно надвигалась на нас, ощетинившись острыми вершинами и пилообразными хребтами, — было такое впечатление, что вот-вот врежешься в нее. Возможно, теперь все изменилось, но тогда Луна, вернее — дно, брюхо Луны, словом, та часть лунной поверхности, которая проплывала над Землей, почти касаясь ее, была покрыта коркой с остроконечными, похожими на рыбью чешую выступами. Снизу казалось, что это брюхо большой рыбины, и запах, насколько помню, исходил от нее рыбный, точнее — более тонкий, вроде запаха лососины.

С последней ступеньки лестницы, выпрямившись во весь рост и протянув руку, можно было дотронуться до Луны. Мы очень хорошо измерили все расстояния, но, увы, не подозревали, что Луна постепенно удаляется. Труднее всего было найти, за что уцепиться. Я выбирал выступ, казавшийся мне наиболее прочным (нам всем по очереди приходилось взбираться на Луну отрядами в пять-шесть человек), и хватался за него сначала одной рукой, потом другой; в тот же миг лодка и лестница уплывали у меня из-под ног и сила лунного притяжения отрывала меня от Земли. Да, да, Луна обладала своей силой притяжения, и вы это чувствовали в момент прыжка: надо было стремительно подтянуться, уцепившись за выступ, затем перекувырнуться и вскочить на ноги уже на Луне. С Земли казалось, будто вы повисли вниз головой, но для вас это было нормальное положение; немного странным было только одно: подняв глаза, видеть вместо неба серебристую водную гладь, а на ней опрокинутую лодку с полным экипажем, которая покачивалась, словно тяжелая гроздь, свисающая с перекладины виноградной беседки.

Особый талант к таким прыжкам был у моего кузена Глухого. Едва его ручищи касались лунной

поверхности — а он всегда первым прыгал с лестницы, — они внезапно становились на редкость мягкими и ловкими. Пальцы тут же находили нужный выступ, чтобы можно было подтянуться; более того, стоило моему кузену прижать ладони к Луне — и они сразу же словно прилипали к ней. Однажды мне показалось, что не успел он вытянуть руки, как Луна сама радостно метнулась к нему навстречу.

Не менее ловко умел он спускаться на Землю, что было еще сложнее. Для всех нас это был прыжок вверх: приходилось подскакивать как можно выше со вскинутыми руками (впрочем, так казалось на Луне, а с Земли это выглядело совсем иначе — словно ты ныряешь или прыгаешь в воду ласточкой); словом, нужно было прыгать так же, как с Земли на Луну, только без лестницы — ведь на Луне ее не к чему прислонить. А вот Глухой, вместо того чтобы подскакивать, воздев руки, пригибался как можно ниже, становился на руки и несколько раз с силой отталкивался от лунной поверхности ладонями. Нам с лодки казалось, будто он парит в воздухе с огромным лунным шаром в руках и ударяет по нему ладонями, заставляя его подпрыгивать. Так продолжалось до тех пор, пока нам не удавалось схватить ловкого

прыгуна за пятки и втащить в лодку.

Вас, конечно, удивляет, за каким чертом мы лазили на Луну. Сейчас я вам объясню. Мы собирали там в чан молоко большущей ложкой. Лунное молоко было очень густое, похожее скорее на творог. Оно образовывалось меж чешуйками на лунной поверхности в результате брожения различных веществ и продуктов, попавших с Земли на Луну, когда та проплывала над лугами, лесами и лагунами. В основном это молоко состояло из растительных соков, лягушачьей икры, битума, чечевицы, пчелиного меда, крупинок крахмала, икринок осетра, плесени, цветочной пыльцы, желатина, червей, смолы, перца, минеральных солей, нефти и угля и т. п. Достаточно было залезть ложкой под любую из чешуек, покрывавших Луну сплошной коркой, и вы легко выгребали драгоценную жижу. Правда, это еще не было чистое лунное молоко, в нем содержалось много примесей: не все продукты успевали перебродить (особенно после того, как Луна проходила через потоки сухого горячего воздуха, поднимавшегося над пустынями) и кое-что оставалось нетронутым: когти и хрящи, гвозди, морские коньки, косточки и черенки плодов, осколки посуды, рыболовные крючки, а

иной раз и гребенка. Поэтому, собрав молочное суфле в чан, приходилось его очищать и процеживать. Но не в этом была трудность: труднее всего было переправить молоко на Землю. Делалось это так: схватив ложку обеими руками, мы с размаху подбрасывали ее содержимое вверх. Если бросок был достаточно сильным, молочная жижа расплющивалась о «потолок», то есть растекалась по поверхности моря, и выловить ее с лодки было довольно легко. Мой кузен Глухой и тут отличался особенной ловкостью, у него был меткий глаз и верная рука, он умудрялся, точно прицелившись, забрасывать жижу прямо в чан, который команда поднимала над лодкой. А вот я иной раз мазал: броску не удавалось преодолеть лунное тяготение, и молочные брызги попадали мне в глаза.

Но я еще не все вам рассказал об удивительной сноровке моего кузена. Для него выгрести лунное молоко из-под чешуи было не работой, а игрой, забавой: порой он засовывал под чешую не ложку, а руку или даже палец. Действовал он не методично и по порядку, а прыгал с места на место, словно заигрывая с Луной, щекоча ее там, где она меньше всего ожидала. И стоило ему прикоснуться к чешуе, как из-под нее, слов-

но из сосцов козы, густо брызгало молоко. Нам оставалось двигаться за ним следом и собирать ложками жижицу, которую он выдавливал то здесь, то там, причем всегда это происходило как будто совершенно случайно — ведь никогда маршруты моего кузена нельзя было объяснить каким-нибудь планом или замыслом. К примеру, он нередко прикасался к Луне только ради того, чтобы потрогать ее — там, где чешуйки неплотно прилегали друг к другу, обнажая нежную плоть светила. Иногда мой кузен надавливал на них не пальцами руки, а, точно рассчитав свой прыжок, большим пальцем ноги (он всегда забирался на Луну босиком), и, если судить по гортанным радостным возгласам и по новым немыслимым прыжкам, это доставляло ему величайшее удовольствие.

Поверхность Луны не была сплошь чешуйчатой: там и сям встречались целые зоны, покрытые голой и скользкой глиной. У моего кузена эти мягкие участки вызывали желание кувыркаться, прыгать, словно птица; он как будто хотел оставить отпечаток на глинистом теле Луны: так он забирался все дальше и дальше, и в конце концов мы неизменно теряли его из виду.

На Луне были обширные области, которые не

представляли для нас никакого интереса, и мы не собирались их исследовать; там-то и исчезал мой кузен. Постепенно я пришел к убеждению, что все эти сальто-мортале и озорные шутки, которые он совершал на наших глазах, были лишь прелюдией, подготовкой к какому-то тайному ритуалу, происходящему в недоступных для нас местах.

Помню, когда мы ночью плыли мимо Цинковых утесов, нами овладевало странное веселье, смешанное с непонятным волнением: нам казалось, что Луна притягивает наш мозг, как она притягивала рыб из глубин Океана. Мы плыли медленно под звуки музыки и песен. Жена капитана играла на арфе: у нее были длинные и серебристые, как чешуя угря, руки и таинственные, темные, словно морские ежи, ямочки под мышками; звуки арфы были такими нежными и вместе с тем пронзительными, что слух не выдерживал их, и нам приходилось что-нибудь громко кричать, совсем не в такт музыке, чтобы только заглушить их.

Из глубины всплывали сверкающие медузы и, поколебавшись некоторое время на поверхности, устремлялись к Луне. Маленькая XlthlX развлекалась тем, что ловила их на лету, но это было далеко не легким делом. Однажды, протянув

свои ручонки, чтобы схватить колыхавшуюся в воздухе медузу, она подпрыгнула и тоже повисла в пустоте. Она была слишком худой, и ей не хватало нескольких унций веса, чтобы земное тяготение преодолело притяжение Луны и опустило ее на Землю; и вот она полетела над морем вместе с медузами. Сперва XlthlX очень испугалась, заплакала, потом успокоилась, засмеялась и стала, играя, ловить летевших мимо рыбок и рачков; некоторых из них она подносила ко рту и надкусывала. Мы гребли изо всех сил, стараясь не отстать от нее. Луна неслась по своей эллипсоидной орбите, увлекая за собой XlthlX, окруженную стаей рыбок и рачков и целой тучей переплетенных морских водорослей. У девочки были две тоненькие косички, и казалось, будто они летят отдельно, сами по себе, устремившись прямо к Луне. XlthlX дрыгала ногами, брыкалась, словно пытаясь вырваться из цепких объятий Луны, и ее чулки (сандалии она потеряла во время полета) сползли вниз и теперь болтались, притянутые Землей. Мы, стоя на лестнице, тщетно пытались ухватиться за них.

Иллюстрация Микелы Боккалини



Надо сказать, что пришедшая девочке идея поймать и съесть пролетавших мимо рыбок была весьма удачной. Чем тяжелее становилась XlthlX, тем ниже она опускалась. А так как среди всех живых существ и растений, повисших в воздухе, девочка обладала наибольшей массой,

разные моллюски, водоросли, планктон стали притягиваться к ней; вскоре она была с ног до головы облеплена тоненькой паутиной морских трав, хитиновыми панцирями ракообразных, крохотными известковыми ракушками, и чем плотнее обвивался вокруг нее этот клубок, тем больше она освобождалась от лунного тяготения, пока не коснулась поверхности моря и не погрузилась в него.

Мы стали дружно грести, чтобы вытащить ее из воды и помочь ей. Растения и водоросли так плотно пристали к телу девочки, что нам с большим трудом удалось разделаться с ними. Голову XlthlX облепили нежные кораллы, а стоило нам провести гребнем по ее волосам, как на дно лодки падали бесчисленные рыбешки и крохотные крабы; глаза бедняжки были закрыты раковинами мидий, створки которых прилипли к векам, а шею и руки обвивали щупальца каракатицы; платье, казалось, было все соткано из водорослей и морских губок. Мы очистили девочку от самых крупных водорослей и моллюсков, но потом она еще долго отдирала от тела плавнички и ракушки, а вонзившиеся в кожу крохотные игольчатые диатомеи навсегда оставили свой след; тому, кто не слишком внимательно приглядывался к де-

вочке, ее лицо казалось усыпанным маленькими черными родинками.

Так лунное и земное тяготения на равных спорили между собой о пространстве между двумя планетами. Больше того, тело, которое опускалось на Землю с Луны, на какое-то время оставалось под воздействием лунного притяжения и не сразу начинало повиноваться закону земного тяготения. Даже я, хоть и был высоким и грузным, спускаясь с Луны, каждый раз не мог сразу привыкнуть к нашим понятиям верха и низа, и друзьям в лодке приходилось гроздьями повисать у меня на руках и крепко удерживать, потому что я все время норовил встать вниз головой и задрать ноги к Луне.

— Держись крепче! Крепче держись за нас! — кричали они, и в суматохе порой случалось, что я нечаянно хватался за упругую полную грудь синьоры Vhd Vhd. Прикосновение к ней действовало на меня благотворно, ее мягкие округлости притягивали меня сильнее, чем Луна, и я старался, падая вниз головой, другой рукой обнять капитаншу за талию. Так я возвращался в этот мир, падал на дно лодки, и капитан Vhd Vhd, чтобы привести меня в чувство, выливал мне на голову ведро воды.

С этого началась история моей любви к жене капитана и моих страданий. Да, и страданий, потому что вскоре мне стало ясно, к кому прикованы взгляды синьоры Vhd Vhd. Когда ловкие руки Глухого смело касались лунной коры, я впивался взглядом в капитаншу и читал в ее глазах мысли, которые вызывал в ней столь интимный контакт между Глухим и Луной, а когда мой кузен пускался в свои таинственные экспедиции по лунным пустыням, синьора Vhd Vhd начинала нервничать, волноваться, и мне все становилось понятно, — так же как я ревновал ее к Глухому, она сама ревновала моего кузена к Луне. Глаза капитанши блестели, как два бриллианта, и во взоре ее, обращенном к Луне, сверкал вызов: она словно кричала светилу: «Нет, нет, тебе его не получить!» И я чувствовал себя третьим лишним.

А вот мой кузен не обращал на это ни малейшего внимания. Когда мы, помогая ему спуститься, тянули его за ноги (я вам уже рассказывал об этом), синьора Vhd Vhd, забывая о всякой благопристойности, вся повисала на нем и обвивала моего кузена своими длинными серебристыми руками. Я чувствовал, как в сердце мне вонзаются колючки: ведь когда я хватался за госпожу Vhd Vhd, ее тело было податливым, покорным, но

только не напряженно-зовущим, как при спуске моего кузена; а Глухой оставался совершенно безразличным, весь во власти лунного экстаза.

Я смотрел на капитана, стараясь понять, замечает ли он двусмысленное поведение жены, но на его изборожденном глубокими морщинами, красном от морской соли лице ничего не отражалось.

Глухой всегда спускался с Луны последним, и его возвращение было сигналом к отплытию лодок. Капитан Vhd Vhd необычайно галантно поднимал арфу со дна лодки и протягивал ее жене. Волей-неволей ей приходилось брать инструмент и играть, хотя ничто так не отдаляло ее от Глухого, как звуки арфы. Я печально запевал:

Все серебряные рыбы по морю плывут,
По морю плывут,
А все темные рыбы в глубину уйдут,
В глубину уйдут…

И весь экипаж, кроме кузена, дружно мне подтягивал.

Каждый месяц, когда ночное светило было на ущербе, мой кузен погружался как бы в спячку, и все на свете становилось ему безразлично. Пробуждало его лишь приближение полнолуния.

В тот раз я схитрил и не попал в число тех, кто должен был карабкаться на Луну, потому что хотел остаться в лодке с женой капитана. Но едва мой кузен влез на лестницу, синьора Vhd Vhd вдруг объявила:

— Я тоже хочу побывать разок на Луне!

Еще не было случая, чтобы жена капитана взбиралась на Луну. Но Vhd Vhd и не подумал возражать — более того, он сам подтолкнул ее к лестнице, крикнув: «Лезь, лезь!» Мы все бросились помогать ей; я поддержал ее сзади, чувствуя ее упругое тело и крепко прижимаясь к ней лицом и руками. Когда я почувствовал, что она дотянулась до Луны, и перестал касаться ее, мне стало так мучительно горько на душе, что я не удержался и бросился следом со словами: «Пойду и я, надо им помочь!»

Капитан Vhd Vhd сжал меня своими ручищами, словно клещами.

— Ты останешься с нами, тебе и тут дела хватит, — приказал он, не повышая голоса.

Уже тогда были ясны намерения каждого из нас. И все-таки я кое-чего не понимал, да и сейчас не уверен, что окончательно во всем разобрался. Конечно, жена капитана втайне давно уже мечтала уединиться на Луне с Глухим или наде-

ялась хотя бы помешать ему остаться наедине с Луной; а может, планы синьоры Vhd Vhd шли куда дальше: спрятаться на Луне и пробыть там вдвоем с Глухим весь следующий месяц — впрочем, об этом они наверняка должны были сговориться заранее. Однако вполне вероятно, что мой кузен, глухой на оба уха, ничего не понял из ее объяснений и просто не догадывался, что он и есть предмет страсти синьоры Vhd Vhd. Ну а капитан?

Он только и ждал удобного случая, чтобы на время избавиться от жены: это видно по тому, что, едва она оказалась в добровольном заточении на Луне, он дал волю своим пагубным наклонностям и предался пороку. Только тогда нам стало ясно, почему он даже не пытался удержать жену. Да, но знал ли он с самого начала, что орбита Луны медленно, но верно удаляется?

Никто из нас об этом даже не подозревал, кроме разве что Глухого. Каким-то особым чутьем он воспринимал малейшие изменения в природе и словно догадывался, что этой ночью ему придется навсегда распрощаться с Луной. Он спрятался в одно из своих тайных укрытий и появился, лишь когда надо было возвращаться обратно. А жена капитана буквально сбилась с ног, разыскивая

его: нам с лодки было видно, как она мечется вдоль и поперек по чешуйчатой лунной долине, как внезапно она остановилась и недоуменно поглядела на нас, словно хотела спросить, куда же подевался Глухой.

Вообще эта ночь была какой-то необычной. Морская гладь, которая в полнолуние всегда словно напрягалась, устремляясь к небу, теперь оставалась спокойной, вялой, совершенно нечувствительной к лунному притяжению. И свет тоже был не такой, как всегда при полной Луне: он точно померк, затуманенный сгустившейся тьмой ночи. Наши друзья там, наверху, очевидно, тоже почувствовали, что происходит нечто странное, и с испугом глядели на нас, задрав головы. Внезапно из их и из наших уст одновременно вырвался крик:

— Луна удаляется!

Не успели мы крикнуть, как на Луне появился мой кузен. На лице ни удивления, ни испуга. Как обычно, он стал на руки, сделал свой любимый кульбит, но… взвившись в воздух, он беспомощно повис в пустоте, как повисла когда-то маленькая XlthlX. На какое-то мгновение его закружило, затем он перевернулся и, усиленно работая руками, словно пловец, борющийся со стремительным

течением, медленно-медленно подплыл к Земле.

Тем временем на Луне остальные члены нашего экипажа поторопились последовать его примеру. Никому даже в голову не пришло переправить в баркасы лунное молоко, а капитан и не подумал их за это отругать. Они и так замешкались, Луна постепенно отдалялась, и теперь добраться до Земли было крайне трудно. Хотя моряки пытались подражать движениям моего кузена, они без толку размахивали руками, повиснув в небе.

— Сомкнитесь! Сомкнитесь же, болваны! — завопил капитан.

Повинуясь его приказанию, моряки постарались сгрудиться вместе, чтобы одновременно оттолкнуться и благодаря большой массе пробиться в зону земного притяжения. Наконец в море с глухим плеском одно за другим стали падать тела людей.

Мы начали отчаянно грести, чтобы поскорее вытащить их из воды.

— Подождите! Там осталась синьора! — крикнул я. Жена капитана тоже попыталась прыгнуть, но повисла в нескольких метрах от Луны и теперь беспомощно взмахивала своими тонкими серебристыми руками. Я вскарабкался по лестнице и протянул ей арфу, чтобы она могла хоть за

что-нибудь ухватиться.

— Не достанет она! Ей нужно помочь! — И я, потрясая арфой, приготовился к прыжку.

Огромный лунный диск прямо надо мной был не похож на себя, до того он уменьшился, и сейчас он продолжал сжиматься у меня на глазах, словно мой взгляд отталкивал его все дальше и дальше.

Небо, ничем больше не заслоненное, раскрывалось, словно глубочайшая пропасть, на дне которой загорались все новые и новые звезды, и ночь охватила меня своей пустотой, пугая и доводя до головокружения.

«Как страшно! — думал я. — Я боюсь совершить прыжок, я трус!»

И в тот же миг я прыгнул. Я поплыл по небу, отчаянно загребая руками и протягивая спасительную арфу синьоре Vhd Vhd, которая, вместо того чтобы устремиться мне навстречу, медленно кружилась на месте, поворачиваясь ко мне то безучастным лицом, то задом.

— Сольемся же! — воскликнул я, подплывая к ней, обвивая руками ее талию и тесно прижимаясь к ней всем телом. — Сольемся же и вместе рухнем вниз!

Я изо всех сил старался теснее прильнуть к ней и до конца насладиться объятиями. Поэтому,

увы, я слишком поздно заметил, что, хотя и сумел вывести ее из состояния невесомости, падали мы все-таки не на Землю, а на Луну. Но действительно ли я этого не понял? Или таковы были с самого начала мои тайные помыслы? Не успел я додумать до конца свою мысль, как у меня из горла вырвался крик:

— Я, я останусь с тобой на целый месяц! В твоих объятиях! Целый месяц в твоих объятиях!..

В ту же секунду падение на поверхность Луны прервало наше объятие, и мы покатились в разные стороны по холодной чешуе. Я вскинул глаза, как делал всегда, когда касался лунной поверхности, уверенный, что увижу над собой родное море, раскинувшееся, словно бесконечный потолок: и я действительно увидел его, но насколько оно было сейчас дальше и меньше, стесненное берегами, утесами и мысами, какими маленькими казались мне лодки, какими неузнаваемыми лица друзей и как приглушенно доносились их крики! И тут невдалеке от меня раздался нежный звук: это синьора Vhd Vhd, отыскав свою арфу, тихонько перебирала струны, извлекая жалобные, тоскливые арпеджио.

Так начался наш долгий лунный месяц. Луна медленно вращалась вокруг Земли. С повисшего

в пустоте ночного светила мы уже не видели привычного родного берега моря; под нами проплывали бездонные океаны, белесые кремнистые пустыни, оледенелые континенты, леса, в которых кишмя кишели рептилии, отвесные стены скал, прорезанные, словно острым лезвием, бурными потоками, свайные поселения на болотах, кладбища с плитами из туфа, целые царства из глины и ила. Огромное удаление придавало всему одинаковый цвет, а необычная перспектива делала необычным каждый предмет; стада слонов и стаи саранчи неслись по равнинам одинаково густыми, плотными облаками, и различить их было невозможно.

Я должен был бы чувствовать себя счастливым: сбылись мои мечты, мы были одни, и близость с Луной, которая так часто заставляла меня завидовать моему кузену, и с синьорой Vhd Vhd была теперь моим и только моим исключительным правом. Нас ждали лунные дни и ночи — целый месяц наедине; лунная кора щедро кормила нас своим молоком с терпким знакомым вкусом; наши взгляды устремлялись вверх, к тому миру, где мы родились, и впервые мы видели его во всем многообразии, нам открывались пейзажи, которых никто из жителей Земли не видел, а по

другую сторону Луны нам сверкали звезды, крупные, как спелые золотистые плоды, созревшие на изогнутых ветвях неба, — все это превосходило мои самые радужные надежды, и все-таки, все-таки это была ссылка.

Все мои мысли были только о Земле. Именно благодаря Земле каждый был самим собой, а не кем-то другим. А здесь, на Луне, оторванный от Земли, я словно перестал быть самим собой, да и моя возлюбленная стала для меня уже не прежней синьорой Vhd Vhd. Я мечтал только об одном: как бы вернуться на Землю, и трепетал от страха, что навсегда расстался с нею. Мое любовное блаженство длилось лишь одно мгновение — пока мы, слившись воедино, парили между Луной и Землей. Лишенная земной основы, моя влюбленность перешла в душераздирающую тоску по утраченным «где», «когда», «прежде» и «после».

Вот какие чувства владели мною! А что же она? Задавая себе этот вопрос, я испытывал двойственное чувство. Если и она думает лишь о Земле, то это хороший признак — значит, мы думаем об одном; но, с другой стороны, быть может, это означает, что все мои усилия пропали даром и моя любимая по-прежнему стремится лишь к Глухому. Между тем все было иначе. Она ни разу

даже не взглянула на нашу прежнюю планету; бледная и вялая, бродила она по безжизненной равнине, напевая печальные песни и нежно перебирая пальцами струны арфы. Она целиком ушла в эту временную, как я надеялся, жизнь на Луне. Выходит, я победил своего соперника? Нет, я потерпел поражение, и притом безнадежное. Синьора Vhd Vhd окончательно поняла, что Глухой любит одну только Луну, и теперь она всей душой стремилась стать частью Луны, отождествить себя с предметом сверхчеловеческой любви Глухого.

Когда Луна сделала полный круг над Землей, мы снова очутились над Цинковыми утесами.

Я даже растерялся, узнав их: никогда я не думал, что отсюда они покажутся такими крохотными. А мои друзья плыли по морю, похожему на большую лужу, но теперь уже без стремянок, ставших отныне совершенно бесполезными. Однако над каждой лодкой поднимался лес длиннейших пик: каждый моряк тянул вверх свою пику с укрепленным на конце гарпуном или багром — вероятно, мои друзья надеялись наскрести напоследок немного лунного молока или как-то помочь нам, беднягам. Но мне сразу же стало ясно, что нет такого длинного шеста, которым можно было бы

дотянуться до Луны. И в самом деле, до смешного короткие, жалкие, эти шесты через минуту упали в море. Несколько лодок от сильного толчка накренилось, а некоторые даже опрокинулись. И в тот же миг с одной из лодок начал медленно подниматься к небу длиннющий шест, который до этих пор тащили на буксире по воде. Вероятно, он был сделан из множества полых бамбуковых трубок, вставленных одна в другую, поэтому поднимать его приходилось очень плавно, с величайшей осторожностью, ловкостью и силой — иначе тонкий шест, непрерывно колеблющийся, переломился бы под собственной тяжестью или же, резко накренившись, перевернул бы легкую лодку.

Наконец заостренный конец шеста коснулся Луны. Мы увидели, как он уперся в лунную корку, а затем легонько, нет, пожалуй, даже сильно оттолкнул Луну, которая потом снова, точно рикошетом, вернулась к концу шеста и опять отскочила.

И тут я узнал, вернее — мы оба его узнали: это был мой кузен, только он и никто другой мог вот так вот выкидывать свои трюки, в последний раз заигрывать с Луной и словно жонглировать ею на кончике шеста. Мы сразу поняли, что хитро-

умные фокусы моего кузена не имели никакой определенной цели, больше того, я готов был поклясться, что он сам отталкивал Луну, точно желая помочь ей отлететь подальше, чтобы потом самому последовать за ней на ее более удаленную орбиту. Это тоже было в его духе: он просто не мог желать чего-либо, что не соответствовало бы природе Луны, ее движению и судьбе, и если теперь Луна стремилась удалиться от него, то он наслаждался и этим так же, как прежде радовался ее близости.

Как должна была поступить при таких обстоятельствах синьора Vhd Vhd? В этот момент я окончательно убедился, что ее влюбленность в Глухого была не мимолетным капризом, а глубоким безысходным чувством. Раз мой кузен любил теперь Луну далекую, Vhd Vhd останется на этой далекой Луне. Я догадался о ее решении, увидев, что она не сделала ни одного шага к бамбуковому шесту, а лишь подняла арфу к Земле, повисшей высоко в небе, и стала перебирать струны. Я сказал «увидел» — на самом же деле я лишь заметил это краешком глаза, потому что, едва шест коснулся лунной поверхности, я прыгнул и ухватился за него, потом со змеиной быстротой и ловкостью стал взбираться по нему, цепляясь

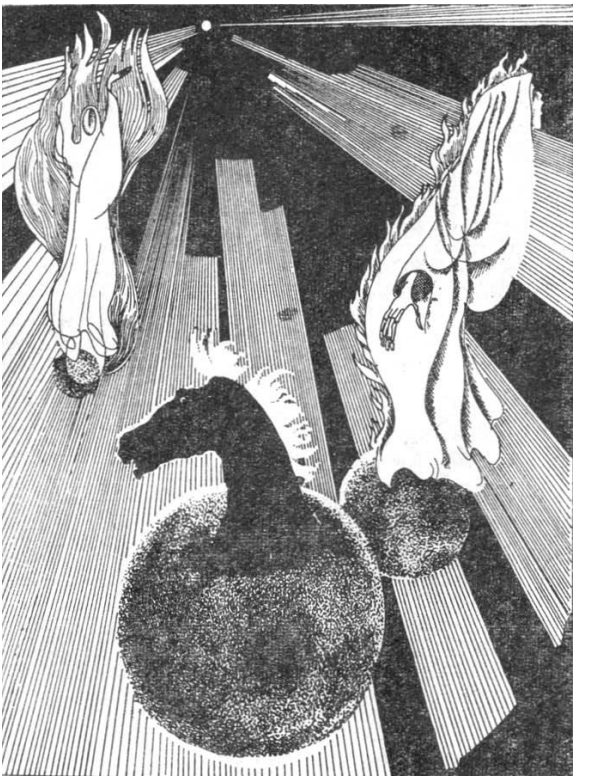
за узловатый бамбук, подтягиваясь на руках и выпрямляя колени; став удивительно легким в разреженном воздухе, я карабкался, словно подгоняемый природным инстинктом, повелевавшим мне вернуться на Землю; я точно забыл причину, которая заставила меня подняться на бледное светило, или, вернее, особенно отчетливо помнил о ней и о том, что все мои надежды рухнули; наконец я влез по качающемуся шесту настолько высоко, что уже не должен был прилагать никаких усилий — земное притяжение само неудержимо влекло меня, и я скользил вниз головой к Земле, пока шест вдруг не разломился на куски и я не рухнул в море между лодок.

Это было радостное возвращение, но меня не оставляли горькие мысли об утрате, глаза мои неотрывно глядели на недостижимую Луну, я искал на ней синьору Vhd Vhd. И я ее увидел. Она была там же, где я оставил ее: лежала на берегу прямо над нами, лежала в полном молчании. Она приобрела цвет Луны, к бедру она прижимала арфу и изредка плавными движениями руки извлекала ленивый звук… Отчетливо вырисовывались ее грудь, руки, бедра — такой она запомнилась мне навсегда. И теперь, когда Луна стала далеким плоским кружочком, едва выплы-

вает лунная долька, я по-прежнему ищу взглядом ее, и мне кажется, что я вижу ее или нечто похожее на нее, но только ее одну, и сколько бы раз я ни глядел на Луну, я всегда вижу ее в тысяче разных обличий, потому что это она одна делает Луну Луной и заставляет в полнолуние собак и меня вместе с ними выть всю ночь напролет.

Когда впервые рассвело*

*** Примечания: ***
Sul far del giorno.
© Перевод. С. Ошеров, 2010.



Дж. Р. Купер доказывает, что планеты солнечной системы начали отвердевать в полной темноте благодаря конденсации бесформенной газообразной туманности. Стоял холод и мрак. Но затем Солнце стало постепенно уменьшаться, пока не приблизилось наконец к своим нынешним размерам, и в результате такого усилия его температура мало-помалу возросла на тысячи градусов, а само оно начало излучать энергию в пространство.

— Да уж, тьма была кромешная, — подтвердил старый Qfwfq. — Я был совсем мал и почти ничего не помню. Как всегда, мы находились все вместе — папа с мамой, бабушка Бб-б, какие-то прибывшие к нам погостить родичи, синьор Йгг, который потом стал лошадью, и мы — малыши. По-моему, я уже рассказывал вам раньше, что на туманности можно было — как бы это сказать поточнее? — только лежать, то есть оставаться в горизонтальном положении, не двигаться и вращаться вместе с нею, куда она вращалась. Поймите меня правильно: мы лежали не снаружи, не на поверхности — там было слишком холодно, — а внутри, забившись в гущу газообразной и распыленной материи. Измерять и исчислять

время мы не могли: всякий раз, когда мы принимались считать обороты туманности, между нами возникали споры, потому что в темноте у нас не было никаких ориентиров, — и все дело кончалось ссорой. И мы предпочитали, чтобы столетия скользили незаметно, как минута; нам оставалось только ждать, по мере возможности не высовывать носа наружу, подремывать да время от времени перекликаться, чтобы удостовериться, все ли здесь. И конечно же, чесаться, потому что эти взвихренные частицы причиняли при всем при том страшный зуд — ни на что путное они не годились.

Чего мы ждали — никто толком не мог сказать; правда, бабушка Бб-б еще помнила то время, когда однородная материя была равномерно рассеяна в мировом пространстве, помнила свет и тепло; сколько бы ни было преувеличений в рассказах стариков, но все-таки прежде жилось как-то лучше, чем теперь, или, во всяком случае, иначе; значит, нам надо было только скоротать эту нескончаемую ночь.

Лучше всех чувствовала себя благодаря своему скрытному, замкнутому характеру моя сестрица G’d(w)n: эта дикарка любила темноту, всегда выбирала место немного в сторонке, на краю ту-

манности, и там подолгу глядела на черное небо, струйками медленно высыпала между ладоней космическую пыль, разговаривала сама с собой, и смеялась (смех ее был похож на струйки космической пыли), и грезила, грезила во сне и наяву. Ее сновидения были не похожи на наши: мы спали в темноте и видели во сне темноту, потому что ничего другого и не представляли себе, а ей снилась, насколько мы могли понять из ее сбивчивых слов, другая темнота, в тысячу раз более плотная, бархатистая и не такая однообразная.

Первым, кто заметил какие-то изменения, был мой отец. Я очнулся от дремоты, разбуженный его криком:

— Послушайте! Тут можно к чему-то прикоснуться!

Материя под нами — мы всегда помнили ее газообразной — начинала твердеть.

Моя мать уже несколько часов ворочалась с боку на бок, повторяя:

— Ох, и не знаю, как улечься!

Как видно, она учуяла, что место, на котором она лежала, изменилось: космическая пыль уже не была, как прежде, такой мягкой, однородной и эластичной, что на ней можно было валяться сколько угодно и не оставить ни малейшего сле-

да. Там, где моя мать наваливалась всей своей тяжестью, стали появляться углубления или впадины, и ей казалось, будто она чувствует под собой какие-то уплотнения или бугорки; впрочем, они находились, быть может, под нею на глубине сотен километров и давили сквозь пласты тончайшей пыли. Но мы обычно не придавали значения всем этим предчувствиям матери, которая была уже не молода и отличалась повышенной чувствительностью, так что наш тогдашний образ жизни не очень подходил для ее нервной системы.

Потом вдруг я почувствовал, как мой маленький братишка Rwzfs стал… как бы это сказать? — возиться, копошиться, одним словом, вести себя беспокойно. Я спросил его:

— Что ты делаешь?

Он ответил:

— Играю.

— Играешь? Чем?

— А чем-то таким…

Вы понимаете? Это случилось впервые. Раньше играть было нечем — не существовало ни единой вещи. Чем мы должны были, по-вашему, играть? Газообразной материей, что ли? Хороша игра, нечего сказать! Она годилась разве что для

сестрицы G’(w)n. Если играть принялся Rwzfs, значит, он нашел что-то новенькое: потом он даже утверждал, что нашел окатыш, но это одно из его обычных преувеличений. Окатыш не окатыш, но он все же нашел маленькое скопление более твердой или, лучше сказать, менее газообразной материи. Ничего определенного он на этот счет никогда не говорил и даже рассказывал разные небылицы, смотря по тому, что взбредало ему в голову; так, например, когда возник никель и все только о нем и говорили, мой братец заявил: «Ну конечно же, это никель! Я ведь уже играл с никелем», — за что и получил прозвище «Никелированный Rwzfs». Его так прозвали вовсе не потому, что он стал потом никелем, оказавшись по своему тупоумию неспособным пойти дальше стадии минерала: все обстоит совсем иначе, я утверждаю это из любви к истине, а вовсе не из-за того, что дело касается моего брата, который и в самом деле всегда отличался некоторой тупостью, но по типу своему подходил не к металлам, а скорее к коллоидам, и, в ранней юности женившись на одной из первых водорослей, ничего уже не желал знать.

Короче говоря, все, как видно, что-то почувствовали, кроме меня. Я ведь немного рассеян.

Я только услышал — не помню, во сне или наяву — восклицание отца: «Тут к чему-то можно прикоснуться!» Тогда это выражение было бессмысленным, поскольку раньше никто ни к чему не мог прикоснуться, это уж наверняка; однако оно приобрело смысл в тот самый миг, когда было произнесено и стало указывать на новое ощущение, впервые испытанное нами и чуть тошнотворное — такое, словно под нами вдруг появилась лужа жидкой грязи.

Я сказал с упреком:

— Ах, бабушка…

С тех пор я много раз спрашивал себя, почему первой моей реакцией было напуститься на бабушку. Старая Бб-б со своими допотопными привычками всегда делала что-нибудь невпопад: например, ей по-прежнему казалось, что материя всюду имеет одинаковую плотность и достаточно отшвырнуть от себя нечистоты, чтобы они тотчас же на наших глазах растворились и исчезли. Бабушке никак нельзя было вбить в голову, что повсюду начался процесс уплотнения, а поэтому грязь плотно пристает к любой частице и не так-то легко теперь от нее избавиться. Потому-то я бессознательно приписал новое явление очередному промаху бабушки.

Но она ответила на мое восклицание:

— Что? Ты нашел баранку?

«Баранкой» Бб-б называла низкий полый цилиндр из галактической материи, который она где-то раздобыла во время одного из предыдущих катаклизмов вселенной и с тех пор повсюду таскала с собой, чтобы сидеть на нем. Но однажды он затерялся в темноте, и бабушка обвинила меня в том, что я его спрятал. Честно говоря, я эту «баранку» всегда терпеть не мог — такой нелепой и неуместной она казалась на нашей туманности, — однако обвинить меня можно было только в том, что я ее не стерег все время, как хотелось бабушке.

Даже отец, всегда обращавшийся к бабушке весьма почтительно, не удержался от замечания:

— Да что вы, мама, тут невесть что творится, а вы со своей «баранкой».

— Я ведь вам говорила, что никак не могу уснуть, — отозвалась моя мать, тоже немного невпопад.

В этот миг послышалось громкое «Ап-чхи! Уаф-ф-ф! Кхр-р-р»; мы поняли, что с синьором Йгг что-то случилось, раз он изо всех сил сморкается и отплевывается.

— Синьор Йгг! Синьор Йгг! Вылезайте наверх! Куда это вы там запропастились? — окликнул его отец.

В кромешной, все еще непроглядной тьме нам удалось на ощупь отыскать его, схватить за гриву, вытащить на поверхность туманности, чтобы он отдышался, и распластать его по наружному слою, который как раз вто время, застывая, становился студенистым и скользким.

— Уа-ф-ф-ф! Эта штука обволакивает со всех сторон, — пытался объяснить синьор Йгг, который, впрочем, никогда не отличался особым красноречием. — Погружаешься в нее, погружаешься, а она заглатывает! Кхр-р-р-ах!

Вот это новость! Оказывается, теперь нужно быть начеку, иначе в нашей туманности можно потонуть. Моя мать первая поняла это — ей помог материнский инстинкт. Она закричала:

— Дети, вы все здесь? Где вы?

Мы действительно стали немного рассеянны; раньше, когда все столетиями оставалось на своих местах, мы тем не менее старались не отдаляться друг от друга, а сейчас забыли и думать об этом.

— Спокойно, спокойно! Пусть никто не отходит в сторону! — скомандовал отец. — G'd(w)n, где

ты? И где близнецы? Кто видел близнецов?

Никто не ответил.

— Ах, опять они потерялись! — воскликнула мать.

Мои братья были еще совсем маленькими и не могли дать о себе знать; поэтому они ежеминутно терялись, и их не оставляли без присмотра.

— Я иду искать их! — заявил я.

— Молодец, Qfwfq, ступай! — сказали папа с мамой, но тут же раскаялись. — Только не отходи далеко, а то ты тоже потеряешься! Оставайся здесь! Или ладно, иди, только подавай знаки. Свисти!

Я зашагал через темноту по трясине сгущавшейся туманности, время от времени громко свистя. Я говорю «зашагал»: этот способ передвижения по поверхности еще несколько минут назад был немыслим, да и теперь существовал разве что в намеке — такое малое сопротивление оказывала материя на поверхности; приходилось все время быть начеку, чтобы вместо передвижения вперед не нырнуть внутрь туманности по кривой или отвесно и не быть похороненным в ее недрах. Впрочем, куда бы я ни направился — вперед или вглубь, — вероятность найти близнецов была одинакова: кто его знает, куда задевалась

эта пара.

Вдруг я перекувырнулся, как будто кто-то — сказали бы теперь — подставил мне ножку. Я упал впервые в жизни, до этого я даже не знал, что такое «упасть», однако подо мной все еще было мягко и я не ушибся. Вдруг послышался голос:

— Не топчись здесь, я не хочу.

Это была моя сестрица.

— Почему? Что тут такое?

— Я тут что-то из чего-то сделала…

Лишь спустя некоторое время я ощупью разобрался, в чем дело: копаясь в этой грязи, она соорудила маленький горный хребет с зубцами и остроконечными вершинами.

— Что ты тут творишь?

G’d(w)n отвечала, как всегда, без всякого смысла:

— Вот это снаружи, а в середине у него есть внутрь… Ц-ц-ц… Я пошел дальше, то и дело спотыкаясь и падая. Один раз я наткнулся все на того же синьора Йгг, который в конце концов снова провалился вниз головой в сгущающуюся материю.

— Поднимайтесь, синьор Йгг! Неужели вы не можете стоять прямо? — Мне снова пришлось помогать ему выбираться наружу, на этот раз

сильно наподдав ему снизу, потому что я тоже увяз с головой.

Синьор Йгг, отдуваясь, чихая и кашляя (стоял невиданный мороз), вынырнул на поверхность в том самом месте, где сидела бабушка Бб-б. Бабушка взлетела в воздух и тут же умилилась:

— Внучки! Внучки мои воротились!

— Да нет же, мама, вы видите, это синьор Йгг.

Понять уже ничего нельзя было.

— А внучки?

— Они здесь! — закричал я. — И «баранка» тоже здесь! Близнецы, должно быть, давно уже устроили себе укромное убежище в самом плотном месте туманности; туда они и утащили «баранку», чтобы играть ею. Прежде, когда материя была газообразной, они могли рыбкой проскакивать наружу через отверстие «баранки», а теперь ее закупорило студенистой массой, и они оказались в плену.

— Взбирайтесь наверх, — втолковывал я им, — взбирайтесь, чтобы я мог вас вытащить, дурачки!

Я стал тащить их, и, прежде чем они сами это заметили, оба вылетели вверх тормашками на поверхность, уже покрытую тонкой пленкой — как белок яйца. А «баранка», едва я вытащил

ее, растворилась в пространстве. Поди пойми, что в те дни происходило, и поди объясни все эти явления бабушке Бб-б.

И как раз в эту минуту, словно они не могли выбрать более подходящего времени, мои дяди с теткой медленно поднялись с места, заявив:

— Уже поздно, мы тревожимся, что там делают наши малыши. Рады были повидать вас, а сейчас нам лучше всего тронуться в путь.

Нельзя сказать, чтобы они были не правы: уже давно имелись все основания встревожиться и побежать домой; но и дяди и тетка — может быть, из-за того, что жили они в глуши — всегда были немножко рохлями. Видно, они давно уже сидели как на иголках, только не осмеливались сказать об этом.

Отец ответил благоразумно:

— Если хотите идти, я вас не задерживаю; только подумайте, не лучше ли вам подождать, пока положение немного прояснится, а то сейчас ни за что нельзя понять, откуда грозит опасность.

— Нет, нет, спасибо, мы так славно поболтали, но пора и честь знать, надо дать покой хозяевам… — Они понесли обычные глупости. Словом, если мы мало что понимали в происходящем, то они и вовсе ничего не уразумели.

Их было трое — двое дядей и тетка, все как один длинные и ничем друг от друга не отличавшиеся; они и сами никак не могли разобраться, кто чей муж, кто чей брат и тем более в каком родстве они состоят с нами. Впрочем, в то время еще многое оставалось неясным.

Родичи уходили по одному, каждый в свою сторону, направляясь к черному небу, а чтобы не потерять друг друга, они время от времени перекликались. Они всё делали так, без всякого толка и смысла!

Едва они скрылись, как их «Ау! Ау!» стали доноситься совсем издалека, хотя вряд ли они могли отойти больше чем на несколько шагов. И еще мы услышали восклицания, смысл которых оставался загадочным:

— Здесь пустота!

— А тут нельзя пройти!

— Почему ты не подойдешь?

— Где ты?

— Аты перепрыгни!

— Через что перепрыгнуть, дурья башка?

— По-моему, я вернулся обратно!

Короче, и тут ничего нельзя было понять, кроме одного: расстояние между родичами и нами все время увеличивалось с невероятной быстротой.

Тетка, ушедшая последней, первая произнесла осмысленные слова:

— А я теперь осталась одна на каком-то куске этой штуки, который оторвался…

Но оба дядюшки только повторяли:

— Вот дура… Вот дура…

Голоса их из-за огромного расстояния доносились приглушенно.

Мы всматривались в прорезаемую криками темноту, когда вдруг произошло изменение — единственное настоящее изменение, при котором я присутствовал за мою жизнь и по сравнению с которым все прочие и в счет не идут. На горизонте что-то заколебалось, это было не похоже ни на то, что мы тогда называли звуками, ни на то, что мы совсем недавно определили словом «прикосновение»; это было ни на что не похоже. Вдали что-то кипело, и от этого все, что было рядом, еще больше приближалось к нам. Темнота вдруг стала темной не сама по себе, а по контрасту с тем, что не было темнотой, — со светом. Когда нам удавалось присмотреться повнимательней и разобраться в обстановке, выяснилось, что вокруг находятся: во-первых, небо, темное, как всегда, но понемногу становившееся не таким, как прежде; во-вторых, поверхность, на которой

мы стояли! — бугристая, покрытая коркой льда, грязного до омерзения и быстро таявшего (температура поднималась полным ходом); в-третьих, то, что мы потом назвали источником света, — постепенно накалявшаяся масса, отделенная от нас огромным пустым пространством и словно примерявшая один цвет за другим — так быстро она менялась. И еще посредине неба, между нами и накаляющейся массой, вертелось несколько тускло светящихся островков, а на них — мои родственники, и еще всякая публика; их голоса доносились, как слабый писк.

Самое главное произошло: сердцевина туманности, резко сжавшись, обрела свет и тепло, и возникло Солнце. Все прочее вращалось вокруг, разорвавшись и сгущаясь кусками разной величины: Меркурий, Венера, Земля и более далекие тела. И кто где очутился, тот там и остался. Жара стояла такая, что можно было сдохнуть.

Мы стояли, разинув рот и задрав головы, — все, кроме синьора Йгг, который ради предосторожности остался на четвереньках. И вдруг бабушка расхохоталась. Я уже сказал, что она выросла в эпоху рассеянного свечения и все время, пока было темно, разговаривала так, словно прежнее должно вернуться с минуты на минуту. И

сейчас ей показалось, что ее час настал: сперва она хотела прикинуться равнодушной, словно все происходящее кажется ей совершенно естественным, а потом, заметив, что на нее никто не обращает внимания, стала хохотать и твердить:

— Вот невежды! Право, какие невежды…

Однако говорила она не вполне искренно, тем более, что память уже изменяла ей. Мой отец, как ни мало он понимал, все же осторожно возразил ей:

— Мама, я знаю, что вы имеете в виду, но это, по-моему, совсем другое… — И воскликнул, указывая на почву: — Поглядите вниз!

Мы опустили глаза. Земля, которая держала нас, все еще представляла собой прозрачный студень, который, однако, становился все более твердым и плотным, начиная с центра Земли, где образовалось нечто вроде желтка. Правда, пока еще мы видели насквозь весь земной шар, пронизанный первыми лучами Солнца. И внутри этого прозрачного шара двигалась какая-то тень, не то плывущая, не то летящая. Мать сказала:

— Это моя дочь!

И мы все узнали G’d(w)n; наверное, ее испугало полыхание Солнца, и она, повинуясь порыву своей нелюдимой души, нырнула в глубь уплот-

няющейся земной материи, а теперь искала выхода из недр планеты. Когда сестра пересекала еще прозрачные, освещенные участки, она казалась нам золотой и серебряной бабочкой; но все чаще ее поглощала разраставшаяся тень.

— G'd(w)n! G'd(w)n! — кричали мы и бросались наземь, стараясь пробить проход, чтобы добраться до нее.

Но земная поверхность покрывалась твердеющей пористой скорлупой, и мой брат Rwzfs чуть не лишился жизни, когда засунул голову в какую-то расщелину. Вскоре сестра исчезла из виду: все, что прилегало к центру планеты, окончательно отвердело. G'd(w)n осталась в недрах, и мы больше ничего о ней не знали — то ли она была погребена в глубинах Земли, то ли спаслась, выбравшись с другой стороны. Только много лет спустя, в 1912 году, я встретил ее в Канберре: она была замужем за неким Сюлливеном, вышедшим на пенсию железнодорожником, и так изменилась, что я с трудом ее узнал.

Мы встали. Синьор Йгг и бабушка стояли друг против друга и плакали, охваченные золотым и синим пламенем.

— Rwzfs! Как ты смел поджечь бабушку? — начал было кричать отец, но, обернувшись, тотчас

же умолк, увидев, что брат тоже охвачен пламенем. Отец, мать, я сам — все мы горели в огне. Вернее, мы не горели, мы были плотно окружены огненным лесом, языки пламени поднимались по всей поверхности планеты, в этом пламенеющем воздухе мы могли бегать, летать и парить. Неведомое прежде веселье охватило нас. Солнечное излучение сжигало оболочку планет, состоявшую из водорода и гелия, в небе, там, где были наши родичи, вращались охваченные пламенем шары, за ними развевались длинные сине-золотые хвосты, делавшие их похожими на кометы.

Вернулась тьма. Мы думали, что случилось уже все, что могло случиться.

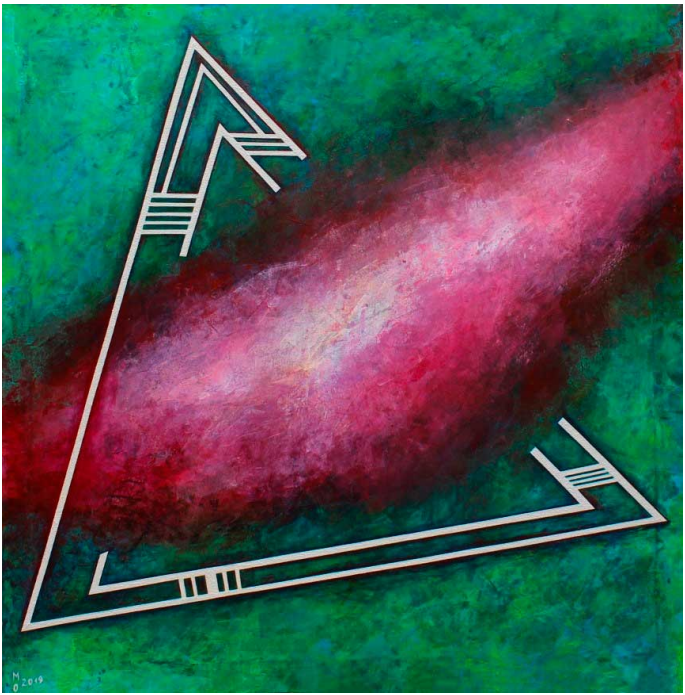
— Теперь конец, — сказала бабушка, — поверьте старикам!

А на самом деле Земля просто повернулась вокруг своей оси. Наступила ночь. Это было только начало.

Знак в пространстве*

Олена Маричевська, Знак в пространстве

*** Примечания: ***
Un segno nello spazio.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



Солнце, расположенное ближе к внешнему краю

Млечного Пути, затрачивает на полный оборот в Галактике примерно двести миллионов лет.

— Точно, столько времени это и требует, не меньше, — подтвердил Qfwfq, — я как-то по пути оставил знак в пространстве — специально, чтобы опознать это местечко через двести миллионов лет, на следующем витке. Какой знак? Объяснить не так-то просто, ибо вы при слове «знак» сразу представляете что-то отличное от чего-нибудь еще, а там ведь ничего и не было такого, что могло бы от чего-то отличаться. И представите вы знак, оставленный каким-нибудь орудием или руками, но в ту пору ни орудий не было, ни рук, как и зубов, носов — все это появилось позже, и совсем не скоро. Вы говорите, что какой знак формы — все равно, он должен просто служить знаком, то есть чем-нибудь от прочих знаков отличаться или быть таким же, как они. Но это вам сейчас легко так говорить, а мне в ту пору было не на что ориентироваться, чтобы про себя решить: «Я сделаю вот так же» или «Сделаю иначе», не имелось образцов, и даже не было известно, что такое линия, — прямая или кривая, что такое точка, выступ или впадина. Да, я хотел оставить знак, точнее, был готов счесть знаком

все, что у меня ни выйдет, и поэтому, когда я сотворил с таким намерением нечто в той, а не в иной точке пространства, это «нечто» в самом деле стало знаком.

Вообще, если учесть, что это первый знак, который был оставлен во вселенной, — во всяком случае, в системе Млечного Пути, — то следует признать, что вышел он совсем неплохо. Хорошо ли он был виден? Очень остроумно! Чтобы видеть, надобны глаза! Тогда никто еще ничего не видел, и поэтому такие вопросы не вставали. То, что можно было распознать мой знак без риска ошибиться — это факт, поскольку прочие места все были одинаковы и потому неотличимы друг от друга, а здесь теперь имелся знак.

Планеты продолжали обращаться по своим орбитам, Солнечная система двигалась своим путем, и очень скоро уже знак мой отделяли от меня бескрайние поля пространства. И конечно, я не мог не представлять, как я опять его увижу, как узнаю его, как приятно будет среди этого безликого простора через сотню тысяч световых лет, за которые не доведется встретиться ни с чем знакомым, — ни с чем за многие сотни столетий, тысячи тысячелетий, — снова оказаться здесь и обнаружить этот знак на своем месте, в точности

таким, как я его оставил, — безыскусным, но отмеченным тем — скажем так — своеобразием, которое я ему придал.

Медленно вращался Млечный Путь с бахромкой из созвездий, планет и облаков, и вместе с ним вращалось Солнце, ближе к его краю. Неподвижен во всей этой круговерти был лишь знак, оставленный тогда мной в сущем захолустье, в стороне от всех орбит (я чуть-чуть высунулся за пределы Галактики, чтобы мой знак был на просторе и его не задевали все эти вращающиеся миры), — которое теперь из захолустья превратилось в единственное безусловно существующее место, в точку отсчета для определения других.

Я размышлял об этом день и ночь, я просто не мог думать ни о чем другом — ведь мне впервые представилась возможность думать. Прежде отсутствовали и предмет для размышлений, и знаки, с помощью которых я мог бы размышлять, но с той поры как появился мой, возникла и возможность у того, кто станет думать, размышлять об этом самом знаке, который, таким образом, будет являться и предметом размышлений, и знаком этого предмета, то есть самого себя.

Итак, мой знак служил обозначением места и притом обозначал сам факт наличия там знака

— что еще важнее, так как мест было полно, а знак — всего один, и он был мой, был знаком самого меня, поскольку это был единственный оставленный мной знак, а я — единственный, кто оставлял какие-либо знаки. Это было как бы имя — имя места, но одновременно и мое, запечатленное в том месте, — в общем, единственное сущее имя для всего, что требовало имени.

Пока наш мир, влекомый по окраинам Галактики, проделывал огромный путь, мой знак был там, где я его оставил, он обозначал то место, но одновременно и меня, я нес его с собой, он жил во мне, он мною полностью владел, вставая между мной и всем, с чем мог я попытаться вступить в какие-либо отношения. В ожидании нашей новой встречи можно было бы попробовать оставить производные от него знаки, комбинации из одинаковых и из нисколько не похожих друг на друга. Но с тех пор, как я оставил его (с нескольких секунд, которые потребовались мне, чтоб набросать его, не прерывая своего движения по Млечному Пути), миновали многие десятки тысяч тысячелетий, и именно сейчас, когда мне нужно было точно представлять его во всех подробностях (чуть ошибусь — и не сумею отличить его, если придется, от каких-нибудь иных),

я осознал, что, хоть и помнил его в общем виде, что-то все-таки изгладилось из памяти, — короче, я пытался разложить его на составные элементы, но уже не мог припомнить, какая между ними связь. Мне нужно было видеть его, изучать, сообразовываться с ним, а я не знал, как скоро мне удастся это сделать, — ведь для того я и оставил этот знак, чтобы узнать, сколько времени пройдет до нашей новой встречи, и пока она не наступила, знать я этого не мог. Теперь мне было важно, не почему я там оставил этот знак, а то, как он устроен, и я начал строить разные гипотезы и разрабатывать теории, в соответствии с которыми такой-то знак должен быть устроен непременно так, а не иначе, или, «от противного», последовательно исключал менее вероятные типы знаков, чтоб в конце концов остался тот, который нужен, но все эти гипотетические знаки рассеивались без следа в отсутствие первого, с которым следовало б их сравнить. Долго маялся я так, в то время как Галактика бессонно ворочалась на мягком ложе из пространства, словно мучимая зудом от бессчетных вспышек и свечения целых миров и одиночных атомов. Пока не понял, что утратил даже смутное представление о том, каков мой знак, и в состоянии представить

лишь взаимозаменимые фрагменты знаков, то есть внутризнаковые знаки, перемена коих превращала знак в совсем иной, иначе говоря — что начисто забыл свой знак и мне никак его не вспомнить.

Отчаялся ли я? Да нет, беспамятность — явление неприятное, но не непоправимое. Как бы то ни было, я знал, что знак мой ждет меня, недвижный и безмолвный, и, увидев его, я смогу продолжить свои рассуждения. Примерно половина оборота по Галактике уже проделана, вторые полпути всегда кажутся короче. Нужно было думать лишь о том, что знак там есть и я его увижу.

Дни шли, и цель была уже близка. Я весь дрожал от нетерпения, поскольку мог в любой момент столкнуться с моим знаком. Он где-то здесь, нет, чуть подальше, вот сейчас я сосчитаю до ста… А вдруг его уже там нет? А вдруг я проскочил его? Да, нет как нет… Выходит, знак остался где-то позади, в отдалении от орбиты обращения нашей системы. Я не учел тех колебаний, коим — особенно в те времена — были подвержены силы тяготения небесных тел, — колебаний, заставлявших их выписывать орбиты, изрезанные, как головки георгинов. Сотню тысяч лет пробившись над расчетами, я обнаружил, что маршрут наш

пролегает через это место не каждый галактический год, а лишь раз в три года, то есть раз в шесть сотен миллионов солнечных лет. Но прождавший двести миллионов лет прождет и все шестьсот, и я стал ждать. Путь был неблизкий, но ведь я не шел пешком, — оседлав Галактику, я мчался через световые годы, гарцуя на орбитах звезд и планет, как на коне, копытами своими высекавшем искры; я был охвачен нараставшим возбуждением, как будто мчался на завоевание того, что представляло для меня первостепенную важность, — знака, царства, имени…

Второй оборот, третий… Наконец! Я вскрикнул. В пункте, где должно было быть именно то место, вместо моего знака был какой-то безобразный штрих, какая-то ссадина, надорванное, помятое пространство. Я утратил все, — и знак, и место, — что делало меня — оставившего именно тот знак в том месте — мной. Без знака пространство снова стало бездной без начала и конца, головокружительною бездной, где терялось все, включая и меня. (Только не говорите, что не важно, чем обозначить место, — моим знаком или зачеркнувшей его закорючкой: перечеркивание было отрицанием знака и, значит, не обозначало, то есть не годилось для того, чтоб отличать то место

от предшествующих и последующих мест.)

Уныние овладело мной, и много световых лет я пребывал в каком-то забытьи. Когда же поднял наконец глаза (за это время в нашем мире появилось зрение, а стало быть, и жизнь), увидел то, чего не ожидал. Увидел знак — не свой, а схожий с ним, без всякого сомнения, имитировавший мой, однако сразу было ясно, что моим он быть не мог, — такой приземистый, небрежный и аляповато-претенциозный, мерзкая фальсификация того, что я намеревался обозначить этим знаком, чье невыразимое изящество только теперь и смог я — по контрасту — вспомнить. Кто сыграл со мной такую шутку? Моему уму было непостижимо. Через много тысяч лет цепочка умозаключений привела меня к такому выводу: в другой планетной системе, совершавшей свое обращение по Галактике прежде нас, был некий Kgwgk (имя определилось позже, когда появились имена), — противный тип, снедаемый завистью, который в варварском порыве зачеркнул мой знак и начал неуклонно оставлять другой.

Было ясно: этот знак обозначает лишь намерение Kgwgk скопировать мой знак, поэтому сравнить их невозможно. Но в тот миг желание не уступить сопернику одержало во мне верх

над всеми прочими соображениями, и мне приспичило немедленно оставить настоящий знак в пространстве, чтобы Kgwgk, увидев его, сдох от зависти. Прошло уже почти шесть сотен миллионов лет, как я не пробовал оставить знак, и я охотно принялся за это дело вновь. Но теперь все было по-другому, ибо мир, как я уже упоминал, стал обретать свой облик, каждой функции начинала соответствовать определенная форма, и казалось, что у этих форм большое будущее (хотя это была неправда: вспомним — если обратиться к относительно недавнему примеру — динозавров), так что в новом моем знаке ощущалось влияние тогдашних представлений о том, что каждому явлению должен быть присущ особый образ бытия, который можно назвать стилем. Должен вам сказать, что я был этим новым знаком совершенно удовлетворен и более не сожалел о первом, перечеркнутом, поскольку этот мне казался несравненно более изящным.

Но еще на протяжении того галактического года постепенно становилось ясно, что формы мира, бытовавшие до той поры, являлись временными и теперь начнут меняться. Сознание этого сопровождалось отвращением к старым образам — столь сильным, что невыносимо было

даже вспоминать о них. Меня сверлила мысль о том оставленном в пространстве знаке, который прежде представлялся мне таким красивым, оригинальным, сообразным своей функции, а вот теперь, в воспоминаниях, казался неуместно претенциозным, знаком прежде всего устаревшего представления о знаках и моего неумного согласия с порядком вещей, который надо было вовремя отвергнуть. В общем, я стыдился знака, который выставлял себя веками напоказ мирам, летевшим мимо, компрометируя себя, меня и свойственное нам в ту пору видение. То и дело вспоминая его, я заливался краской на целые геологические эры, чтобы скрыть свой жгучий стыд, проваливался в кратеры вулканов, испытывая угрызения совести, вгрызался в ледники, что покрывали континенты. Меня терзала мысль о том, что Kgwgk, в своем кружении по Млечному Пути все время двигавшийся впереди меня, увидел этот знак, прежде чем я смог стереть его, и стал, невежа, передразнивать меня, назло, в насмешку повторяя его в карикатурном виде на каждом, так сказать, углу Галактики.

Но на сей раз сложная астральная механика благоприятствовала мне. Созвездие Kgwgk со знаком разминулось, а наша Солнечная система,

сделав полный оборот, прошла так близко от него, что я смог уничтожить все его следы.

Теперь в пространстве моих знаков не осталось. Можно было приступать к очередному, но теперь я знал, что знаки характеризуют также тех, кто оставляет их, и что в течение галактического года представления и вкусы успевают измениться, причем мнение о прежних знаках зависит от того, какие их сменяют, и боялся, что тот знак, который кажется сейчас мне безупречным, через две или шесть сотен миллионов лет может меня скомпрометировать. Но первый, варварски зачеркнутый Kgwgk, в моих воспоминаниях от смены времен не зависел, так как появился до возникновения разных форм и заключал в себе нечто такое, чему было суждено пережить любые формы, — то есть знаковость как таковую.

Оставлять другие знаки было мне уже неинтересно, а тот я миллиарды лет уже как позабыл. Поэтому, лишенный шансов на сотворение настоящих знаков, но желая как-то досадить Kgwgk, стал оставлять поддельные — разные отметины в пространстве, дыры, пятна, всякие фитюльки, которые только такой невежда, как Kgwgk, и мог принять за истинные знаки. Однако он упорно их зачеркивал (как выяснялось на очередном

витке) — с усердием, должно быть, стоившим ему усилий. (Я этими лжезнаками, желая выяснить пределы его простодушия, теперь буквально испещрял пространство.)

Однако, наблюдая круг за кругом (обращение Галактики отныне стало для меня ленивым, наводящим скуку плаванием без цели и каких-либо надежд) его каракули, перечеркнувшие мои знаки, я заметил, что с течением галактических лет они бледнеют и под ними снова проступает то, что я там оставлял, — мои, как я уже сказал, лжезнаки. Открытие это вовсе не было мне неприятно, оно снова разожгло во мне надежду. Если закорючки Kgwgk стирались, то, должно быть, стерлась и перечеркнувшая мой первый знак!

Так дни мои опять окрасились тревожным ожиданием. Галактика вертелась, как яичница на раскаленной сковородке, будучи одновременно золотистою яичницей и фыркавшей сковородой, и я пофыркивал от нетерпения вместе с ней.

Но с течением времени пространство перестало быть однообразно голым и невыразительным простором. Пришедшая мне и Kgwgk идея отметить знаками места, мимо которых пролегал наш путь, пришла и многим другим сущностям, разбросанным по миллиардам планет бессчетных

солнечных систем, и я нет-нет да и натыкался на какой-нибудь из них, или на пару, а случалось, и на дюжину этих двумерных росчерков или трехмерных тел (к примеру, многогранников), или на что-то более основательное, с четвертым измерением и всем прочим. В общем, прибыв к месту, где я оставлял свой знак, я обнаружил их там пять и не узнал, который мой. Вот он… нет, вот этот… нет, у этого излишне современный вид, но, может быть, он самый старый, я не узнаю свой почерк, неужели я мог сотворить такой… Тем временем Галактика скользила дальше, оставляя позади и старые, и новые знаки, а я свой так и не нашел.

Без преувеличения, последующие галактические годы были худшими за всю мою жизнь. Я продолжал искать свой знак, а их в пространстве делалось все больше, во всех мирах любой, кто мог оставить так или иначе знак, не упускал эту возможность. Не был исключением и наш мир, где я с каждым оборотом обнаруживал все больше знаков, так что мир и окружающее пространство выглядели зеркалом друг друга — изукрашенные иероглифами и идеограммами, которые могли быть знаками и в то же время могли ими не быть. Известковое отложение на базальте, взметенный ветром гребень на слежавшемся бархане, глазки

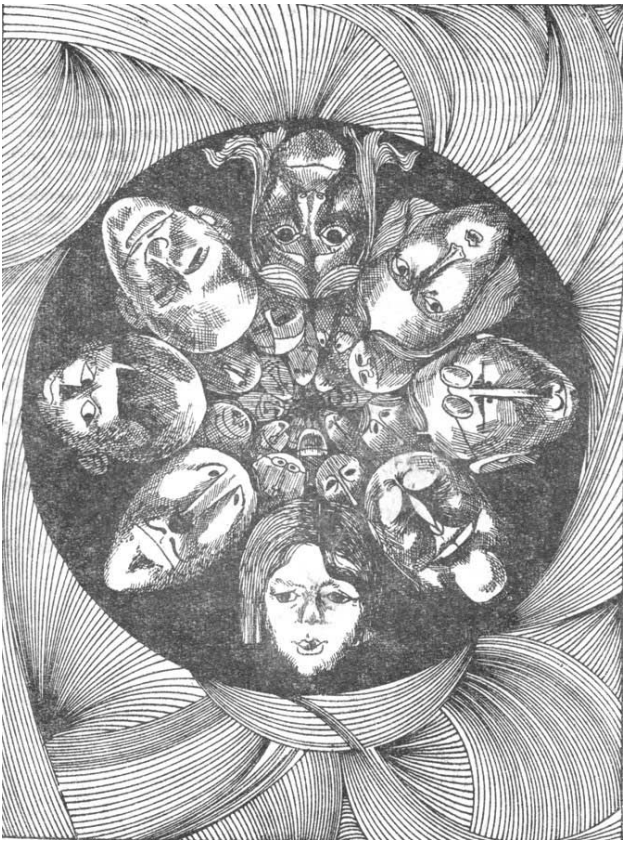
павлиньих перьев (жизнь среди знаков постепенно научила видеть таковые во множестве явлений, существовавших раньше просто так, обозначая лишь свое присутствие, и сделала эти явления знаками самих себя, прибавив их к числу оставленных специально теми, кто хотел оставить знак), полосы, запечатленные огнем на сланцевой породе, четыреста двадцать седьмой — чуть скошенный — желоб на карнизе фронтона мавзолея, череда полосок на телеэкране под влиянием магнитной бури (ряд знаков превращается в ряд знаков знаков, знаков, повторяемых бессчетно, — всегда одних и тех же, но и всякий раз отличных, так как к намеренно оставленному знаку добавлялся появившийся случайно), не вполне прокрашенная ножка буквы Р, пришедшаяся в одном из экземпляров «вечерки» на дефект бумаги, одна из восьмисот тысяч отметин на гудронированной стенке кессона в доках Мельбурна, след неожиданного торможения на асфальте, статистическая кривая, хромосома… Иногда я вздрагивал: «Вон тот!» — и секунду был уверен, что нашел свой знак, не важно — на Земле или в пространстве, так как через знаки установилась связь всего со всем, единство без границ.

В мире не было теперь ни содержащего, ни

содержимого, а лишь сплошная толща знаков, которые накладывались друг на друга и срастались, занимая все пространство, сплошная пестрота, густейшая сеть линий, бугорков, царапин и насечек — мир был испещрен везде и всюду, во всех измерениях. Зафиксировать точку отсчета стало невозможно, и хотя Галактика продолжала свое обращение, обороты я считать уже не мог. Отсчет мог начинаться от любой из точек, всякий сросшийся с другими знак мог быть моим, но и, найди его я, это ничего бы не дало, поскольку стало ясно: пространства, где нет знаков, нет и, может, никогда и не существовало.

Всё в одной точке[*]

*** Примечания: ***
Totto in un punto.
© Перевод. С. Ошеров, 2010.



Расчеты скорости удаления галактик, пред-

принятые Эдвином Р. Губблем, позволяют точно установить момент, в который вся материя вселенной была сконцентрирована в одной точке, прежде чем начала рассеиваться в пространстве.

— Конечно, все мы были в этой точке, — подтвердил старый Qfwfq, — что нам еще оставалось? Никто тогда и понятия не имел, что может существовать пространство. И то же самое — со временем: зачем оно нам было нужно, если мы все теснились, как сельди в бочке?

Я говорю «теснились, как сельди в бочке» только ради красоты слога: на самом деле нам и тесниться-то было негде. Каждая точка каждого из нас совпадала с каждой точкой всех прочих, потому что ведь мы все находились в одной-единственной точке. Мы даже не испытывали от этого никаких неудобств — физических, разумеется, а не нравственных, потому что все-таки было досадно, что, например, такой противный тип, как синьор Pbert Pberd постоянно путается у тебя под ногами.

Сколько нас было? Я никогда не мог даже приблизительно представить себе это. Чтобы нас можно было сосчитать, нам необходимо было бы

хоть немного отодвинуться друг от друга, а мы все сгрудились в одной точке. Может показаться, что из-за этого мы делались особенно общительными; но все обстояло как раз наоборот: в иные времена соседи ходят друг к другу с визитами, мы же, именно потому что все были слишком близкими соседями, даже не здоровались.

Круг знакомых у каждого из нас был узок. Я помню прежде всего синьору Ph(i)nko и ее друга синьора XueaeuX, затем семейство переселенцев — неких Z'zu и уже упомянутого синьора Pbert Pberd.

Там была еще уборщица — «Прислуга за все», как ее называли, единственная на весь космос, тогда еще, впрочем, совсем крохотный. Говоря откровенно, ей целыми днями нечего было делать — даже пыль вытирать не приходилось, потому что в точечное пространство не может проникнуть ни одна пылинка; и уборщица убивала время, сплетничая и жалуясь на жизнь.

Даже тех, кого я назвал вам, было слишком много для такой тесноты; а нужно учесть еще, сколько всякой всячины там было нагромождено: штабелями в разобранном виде у нас лежало все, что потом послужило строительным материалом для вселенной. Мы даже не могли разобраться,

что пойдет потом на нужды астрономии (скажем, для туманности Андромеды), что — на нужды географии (например, для Вогез), или химии (для разных изотопов, предположим). А кроме того, мы на каждом шагу натыкались на пожитки соседей Z'zu — корзины, раскладушки, матрацы; если бы мы не следили за этими самыми Z'zu, они под тем предлогом, что у них большая семья, вели бы себя и вовсе так, словно, кроме них, нет никого на всем свете; они даже хотели протянуть через всю нашу точку веревки, чтобы сушить белье.

Впрочем, и другие были не во всем правы по отношению к этим Z'zu: взять, например, название «переселенцы», указывавшее на то, что мы все якобы были тут раньше, а они явились позже из другого места. Что это был общий предрассудок, незачем, по-моему, и доказывать: тогда не существовало еще ни «раньше», ни «позже», не имелось и других мест, чтобы из них переселяться; но все равно некоторые утверждали, что слово «переселенцы» нужно понимать в высшем смысле, независимо от пространства и времени.

Скажем прямо, все мы тогда отличались узостью взглядов и мелочностью. Виновата в этом среда, которая нас сформировала. И заметьте, эти недостатки мы сохранили навсегда, они и сейчас

дают себя знать, когда мы порой встречаемся друг с другом — на остановке автобуса, или в кино, или на международном симпозиуме зубных врачей — и принимаемся вспоминать прежнее. Мы здороваемся — иногда кто-нибудь первым узнает меня, иногда я кого-нибудь узнаю — и тут же начинаем расспрашивать об остальных (даже если один из нас помнит не всех, упомянутых другим); и сразу всплывают наружу прежние дрязги, обиды, злословие. И так до тех пор, пока мы не вспомним синьору Ph(i)nko (а этим неизменно кончаются все разговоры); тогда мелочные счеты отбрасываются в сторону, нас словно приподнимает волна счастья и благодарного умиления. Синьора Ph(i)nko — единственная, кого все помнят и все оплакивают. Куда она пропала? Я давно уже перестал ее искать; ее грудь, ее бока, ее оранжевый капот — нет, никогда больше мы этого не увидим ни на нашей галактике, ни на остальных.

Мне, по правде сказать, никогда не казалась особенно убедительной теория, будто вселенная, достигнув предела разреженности, снова сконцентрируется и вернется в одну точку, чтобы потом все началось сначала. Однако многие из нас только на это и рассчитывают и строят планы

на то время, когда мы снова будем все вместе. В прошлом месяце захожу я в кафе на углу, и кого, по-вашему, я там вижу? Синьора Pbert Pberd!

— Что поделываете хорошего? Зачем пожаловали в наши края?

Оказывается, он работает в Павии представителем какой-то фирмы пластмасс. Он ничуть не изменился — все тот же золотой зуб и подтяжки в цветочках.

— Когда мы вернемся туда, — сказал он мне на ухо, — нужно будет позаботиться, чтобы кое-кто теперь уже туда не попал… Вы понимаете, эти Z'zu…

Я хотел было ответить ему, что уже многие из наших говорили мне то же самое, но только добавляли: «Вы понимаете, этот синьор Pbert Pberd…»

Чтобы не скатиться по этой наклонной плоскости, я поспешил сказать:

— А синьора Ph(i)nko? Как по-вашему, мы ее найдем?

— Да… Ее, конечно… — пробормотал он, слегка покраснев.

Для нас всех надежда вернуться в одну точку означала прежде всего надежду снова оказаться вместе с синьорой Ph(i)nko. Это относится и ко

мне, хотя я и не верю в возвращение. И тогда в кафе, как это случается всегда, мы начали с умилением вспоминать о ней; перед этими воспоминаниями отступила даже моя неприязнь к синьору Pbert Pberd.

Секрет обаяния синьоры Ph(i)nko заключался в том, что мы не ревновали ее друг к другу. И даже не сплетничали о ней, хотя все знали, что она была, как говорится, «в близких отношениях» с синьором де XuaeauX. Но если есть всего одна-единственная точка, то ни один из тех, кто в этой точке находится, не может быть ни ближе, ни дальше, и значит, мы все были с ней «в близких отношениях». Если бы дело шло о какой-нибудь другой женщине, то трудно даже представить, что говорили бы у нее за спиной. Уборщица первая готова была пустить любую сплетню, да и остальные подхватили бы ее без промедления. О семействе Z'zu, например, приходилось слышать черт знает что: самая грязная клевета не щадила ни отца, ни мать, ни братьев, ни сестер. А с синьорой Ph(i)nko все было наоборот: я сам был точкой и находился в ней, и она была точкой и находилась во мне, под моей защитой, и от этого я испытывал двойное счастье, и то же испытывали все остальные. Большей близости и

большей чистоты (ведь любая точка сама по себе непроницаема!) нельзя было пожелать.

И она сама испытывала то же самое: мы все были в ней, а она была во всех нас, и это доставляло ей двойную радость, и она всех нас одинаково любила.

Нам было так хорошо, что не могло не случиться что-нибудь необычайное. И в один прекрасный миг она сказала:

— Ах, ребятки, будь тут хоть немного попросторнее, с каким удовольствием я сделала бы вам лапшу!

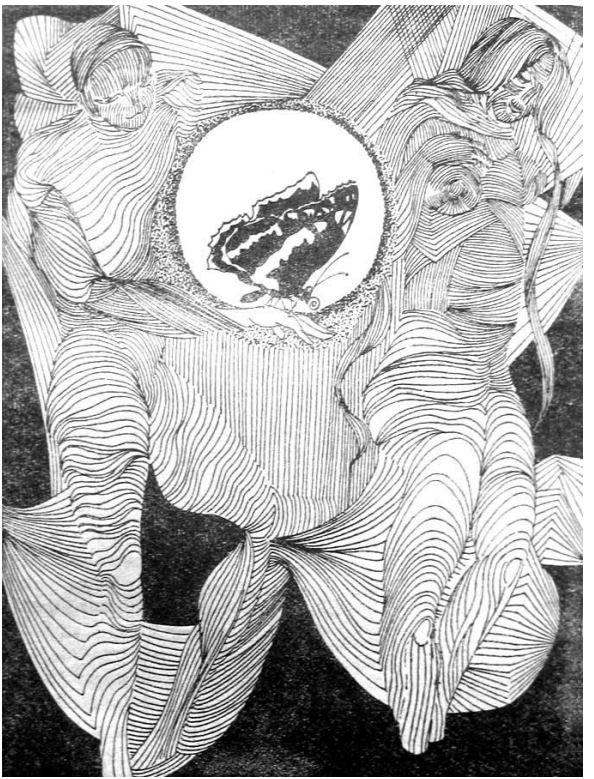
Этих слов было достаточно, чтобы мы подумали о пространстве, в котором двигались бы взад и вперед ее полные руки, раскатывая тесто скалкой, и ее пышная грудь склонялась бы над широкой кухонной доской, и взбивались бы яйца в углублении посреди высокой горки муки, и ее руки, до локтя белые от муки и блестящие от масла, месили бы и месили тесто, мы подумали о пространстве, которое занимала бы мука, и зерно, из которого смололи бы муку, и поля, на которых вырастало бы зерно, и горы, с которых стекала бы вода, орошая поля и пастбища, на которых паслись бы телята, чье мясо пошло бы в бульон; о пространстве, в котором могло бы появиться

Солнце, чтобы под его лучами созревало зерно; о пространстве, в котором сконденсировались бы облака звездных газов, чтобы из них возникло Солнце и стало греть; о множестве разбегающихся звезд, и галактик, и галактических скоплений, и о том, что все они необходимы, чтобы каждая галактика, каждая туманность, каждое солнце, каждая планета держались на весу в пространстве. И в то время, пока мы о том думали, в то время, когда синьора Ph(i)nko произносила: «…лапшу, ах, ребятки…» — точка, в которой все мы находились, начала расширяться и расти, достигая в поперечнике десятков световых лет, и сотен световых веков, и миллиардов световых тысячелетий, и нас раскидало по всем углам вселенной (синьора Pbert Pberd забросило даже в Павию), а она сама превратилась в какую-то энергию — свет или тепло, не знаю, — та самая синьора Ph(i)nko, которая в нашем замкнутом, мелочном мире одна оказалась способной на порыв великодушия («Ах, ребята, какой лапшой я бы вас накормила!»), порыв всеобъемлющей любви, в один миг положивший начало и понятию пространства, и самому пространству, и времени, и всемирному тяготению, и управляемому тяготением миру, где могли появиться миллиарды

миллиардов солнц, и планет, и нив, и синьор Ph(i)nko, разбросанных по всем континентам всех планет и месящих тесто перепачканными мукой и маслом руками, но где навсегда исчезла она сама, оставив нас вечно по ней тосковать.

Бесцветный мир*

*** Примечания: ***
Senza colon.
© Перевод. Л. Вершинин, 2010.



Прежде чем возникли океаны и атмосфера, Земля, вероятно, имела вид серого вращающегося в пространстве шара — такого же, как сейчас Луна. В тех местах, куда ультрафиолетовые лучи проникают совершенно беспрепятственно, все краски исчезают. Поэтому скалы на лунной поверхности в отличие от Земли, где они бывают самых разных цветов, все одного, мертвенно-серого тона. И если лик Земли сейчас столь многоцветен, то это лишь благодаря атмосфере, которая поглощает губительные ультрафиолетовые лучи.

— Да, серый цвет немного монотонен, — подтвердил старый Qfwfq. — Но зато глаз отдыхает. Я пробегал милю за милей с такой скоростью, которая возможна только в безвоздушной среде, и всюду видел только серое на сером. Никаких четких контрастов; по-настоящему белой была лишь центральная часть Солнца, но на нее невозможно было даже взглянуть, а по-настоящему черной не была даже ночная тьма, так как на небосводе всегда сверкало великое множество звезд. Перед взором простирались бесконечные горизонты, еще не прорезанные горными хребтами, которые тогда только начинали формироваться, и эти

хребты тоже были уныло-серыми на фоне серых равнин. Можно было пересечь континент за континентом и так и не выйти на берег, потому что океан, реки и озера еще находились где-то глубоко под землей.

Встречаться с кем-нибудь в те времена случалось крайне редко, ведь нас было так мало. Под ультрафиолетовыми лучами могли выжить только самые непритязательные. Вообще отсутствие атмосферы давало себя знать во многом: например, метеориты сыпались на Землю сплошным дождем, потому что тогда не было стратосферы, о которую теперь, как капли о навес, эти самые метеориты разбиваются. Затем — безмолвие. Можно было кричать сколько угодно — все равно без воздуха звуковых колебаний быть не могло, и мы все оставались глухи и немы. И еще — перепады температуры: вокруг не было ничего, что сохранило бы солнечное тепло, поэтому ночью все коченели от холода. Счастье еще, что земная кора согревалась изнутри благодаря расплавленным минералам, которые, постепенно сгущаясь, накапливались в недрах планеты. Ночи были короче, как, впрочем, и дни, потому что Земля вращалась тогда вокруг своей оси много быстрее. Я спал, прижавшись всем телом к теплой скале, и

царивший вокруг сухой мороз был мне приятен. Словом, что касается климата, то, откровенно говоря, я в нем чувствовал себя совсем неплохо.

Нам недоставало множества крайне необходимых вещей, и, как вы сами понимаете, отсутствие красок волновало нас меньше всего. Единственное неудобство заключалось в том, что, когда нужно было отыскать кого-нибудь или что-нибудь, приходилось напрягать зрение — все было одинаково бесцветным, так что стоило большого труда различить очертания предметов на сплошном сером фоне.

Нам едва-едва удавалось различить лишь движущиеся предметы: катящийся обломок метеорита, внезапно разверзающуюся от землетрясения пропасть, брызги лавы.

В тот день я мчался по необъятному амфитеатру пористых, как губка, скал, смыкавшихся арками, за которыми открывались все новые арки. Местность была сильно пересеченной, и однотонность цвета слегка нарушалась неожиданными переливами теней во впадинах. И вот среди опор этих бесцветных арок я внезапно увидел, как быстро-быстро промелькнуло что-то бесцветное, исчезло, снова появилось немного дальше. Два огонька то вдруг загорались, то мгно-

венно угасали. Еще не поняв толком, в чем тут дело, я бросился вдогонку за Аиль, влюбившись в ее глаза.

Я углубился в песчаную пустыню, я бежал между дюнами, всегда чем-то различавшимися между собой, но, в сущности, почти одинаковыми. Если вы глядели на них с определенной точки, гребни дюн напоминали очертаниями распростертые тела. Вон там виделась рука, прижатая к нежной груди, причем ладонь подпирала щеку; чуть поодаль казалось, будто девушка выставила босую ногу с изящным большим пальцем. Остановившись, я старался найти новые очертания тела и не сразу понял, что передо мной не песчаный холм, а сама беглянка, за которой я гнался. Совершенно бесцветная, она лежала на бесцветном песке, погруженная в сон. Я присел рядышком. То было время (теперь я это знаю точно), когда на нашей планете эра ультрафиолетовых лучей приближалась к концу, и та жизнь, которой суждено было исчезнуть навсегда, приобретала особенно прекрасные формы. Земля не знала ничего прекраснее, чем существо, лежавшее рядом со мной.

Аиль открыла глаза и увидела меня. Вначале она, по-моему, не смогла различить меня на фоне окружающего песка, как это прежде случилось и

со мной, но потом она узнала во мне таинственное существо, которое преследовало ее, и сильно испугалась. В конце концов она, очевидно, все-таки поняла, что природа у нас обоих общая, и в ее глазах мелькнул проблеск робкого веселья; от счастья я издал безмолвный крик.

Потом попробовал жестами объясниться с ней.

— Песок. Не песок, — сказал я, указав сначала на окружающее пространство, а затем на нас двоих. Аиль утвердительно кивнула головой: она меня поняла.

— Скала. Не скала, — продолжал я, чтобы поддержать разговор. Но объяснить, к примеру, кто такие мы с Аиль, в чем наше различие и сходство, было делом нелегким.

— Я. Ты не я, — жестами объяснял я. Но ей это не понравилось. — Да. Ты как я, но не совсем, — поправился я.

Она успокоилась, но смотрела на меня недоверчиво.

— Я, ты, вместе, бегать, бегать, — осмелев, сказал я.

Она засмеялась и бросилась наутек. Мы бежали по гребням вулканов. В серой полуденной мгле разметавшиеся волосы Аиль и языки пламени, вырывавшиеся из кратера, точно сливались в

едином взмахе одинаково бледных крыльев.

— Огонь. Волосы, — сказал я. — Огонь, как волосы.

Казалось, мои слова убедили Аиль.

— Правда, очень красиво? — спросил я.

— Красиво, — ответила она.

Белесое солнце уже клонилось к закату. Его лучи, падая сбоку на отвесный обрыв из темных камней, придавали некоторым из них серебристый оттенок.

— Там камни неодинаковые… Правда, красиво? — сказал я.

— Нет, — ответила Аиль и отвернулась.

— Там камни очень красивые, — настаивал я, показывая на их сероватый блеск.

— Нет. — Она даже не пожелала взглянуть на них.

— Я тебе те камни! — предложил я.

— Нет, эти! — ответила Аиль и схватила горсть темных камешков. Но я уже помчался к обрыву.

Когда я вернулся с блестевшими в полутьме камешками, мне долго пришлось уговаривать Аиль, чтобы она приняла подарок.

— Красивые! — пытался я ее убедить.

— Нет! — возражала она, но потом все же посмотрела на них. Теперь, когда на них больше не

падали солнечные лучи, эти камни тоже стали тусклыми. Лишь тогда Аиль сказала: — Красивые!

Спустилась ночь, и я впервые провел ее, прижимаясь не к теплой скале. Если свет скрывал от меня Аиль и даже заставлял сомневаться в ее существовании, то тьма придавала мне уверенность, что она здесь, возле меня.

Наступило утро и вновь окрасило Землю в серый цвет; я огляделся вокруг и не увидел Аиль. Тогда я беззвучно закричал:

— Аиль! Почему ты убежала?

Но она была рядом и тоже искала меня, и не видела, и беззвучно звала:

— Qfwfq, где ты?

Наконец глаза наши привыкли к туманному полусвету, и мы смогли различить очертания бровей, локтя, бедра.

Я мечтал засыпать Аиль подарками, но все они казались мне недостойными ее красоты. Я искал все, что хоть чем-нибудь отличалось от однообразной земной поверхности, ну хоть бы трещинкой или пятном. Но очень скоро мне пришлось убедиться, что у нас с Аиль разные, вернее, даже диаметрально противоположные вкусы. Мне хотелось найти что-нибудь, не подернутое

однотонным серым налетом, покрывавшим все и вся, и я жадно ловил малейшее изменение, каждый знак необычайного, нового (а надо сказать, что к этому времени в мире что-то начало меняться: кое-где на сплошь бесцветном фоне показались то более яркие, то более тусклые переливы). Между тем Аиль оставалась счастливой обитательницей безмолвного мира, где не было места никаким переходам цветов, для нее все, что грозило разрушить безликую однотонность, представлялось грубым диссонансом, а красота начиналась там, где серый цвет, подавив все другие оттенки, царил безраздельно и полновластно.

Как мы могли понять друг друга? Ничто вокруг — такое, каким оно являлось нашим взорам, — не могло помочь нам выразить то, что мы чувствовали друг к другу; но я упрямо стремился извлечь из окружающих предметов какие-то новые оттенки свойств, в то время как Аиль хотела, чтобы все свелось к лишенной качеств, бесцветной сущности предметов.

В небе по траектории, пересекавшей Солнце, пронесся метеорит, и его зыбкая огненная оболочка на миг стала как бы фильтром для солнечных лучей. Внезапно мир окрасился в невиданные

прежде цвета: у подножия оранжевых скал разверзлись багровые пропасти, я протянул фиолетовые руки коверкающему зеленому метеориту и, мучительно пытаясь выразить мысль, для которой еще не существовало слов, крикнул:

— Это тебе! Тебе от меня! Да, да, это красота!

Я стремительно обернулся, горя желанием взглянуть, как по-новому сверкает красота Аиль в этом преображенном мире, но Аиль исчезла, словно в тот самый миг, когда серая пелена, окутавшая Землю, разорвалась на тысячи кусков, и она сумела юркнуть в щель и спрятаться где-то.

— Аиль! Не пугай меня, Аиль! Вылезай, посмотри вокруг!

Тем временем метеорит уже миновал Солнце, и Земля снова стала тусклой, однообразной и серой, а для моих ослепленных глаз еще более серой, чем прежде; Аиль нигде не было.

Она и в самом деле исчезла. Я искал ее долго, в беспрестанной смене ночей и дней. То было время, когда мир словно примерял те формы, которые принял впоследствии. При этом он испытывал то один, то другой из имевшихся под рукой материалов, далеко не всегда наиболее пригодных для данной формы; но ведь было совершенно ясно, что это еще не окончательная

модель. Деревья из лавы дымчатого цвета простирали искривленные ветви, с которых свисали тоненькие сланцевые листики. Пепельные бабочки порхали над глиняными лугами и вдруг неподвижно замирали маргаритками из кристаллов опала. Может быть, та бесцветная тень, которая легко покачивалась на ветке дерева в бесцветном лесу, и была Аиль; или, может быть, та, что наклонялась, отыскивая в сером кустарнике серый гриб. Сотни раз мне мерещилось, что я ее нашел, и сотни раз я снова ее терял. Через безлюдные равнины я добрался наконец до первых поселений. В ту пору, в преддверии грядущих перемен, безвестные строители создавали прообразы форм далекого еще мира будущего.

Я прошел через скопление нурагов[1] с их башнями-глыбами, пересек гору, в которой повсюду были выдолблены подземные ходы и пещеры, напоминавшие убежища отшельников, попал в порт, раскинувшийся у грязевого моря, пересек сад, где на песочных клумбах вздымались к небу

---

[1] Примечания: 6

Нураги — доисторические каменные постройки в Сардинии. — *Здесь и далее примеч. пер.*

высокие менгиры[2].

По серым камням менгиров змеились чуть заметные серые прожилки. Я остановился. Аиль была здесь. Она играла со своими подругами. Они кидали высоко-высоко кварцевый шар и ловили его на лету.

Одна из них слишком сильно бросила шар, и я перехватил его. Подруги Аиль бросились искать пропавший шар. Аиль осталась одна. Я высоко подбросил этот кварцевый мяч и снова поймал его. Аиль бросилась за ним. А я, прячась от нее, беспрестанно подбрасывал шар, увлекая ее все дальше и дальше. Наконец я вышел на открытое место, и Аиль увидела меня; она что-то сердито крикнула, потом улыбнулась. Так, перебрасывая друг другу мяч, мы гуляли по незнакомым местам.

В ту эпоху на нашей планете пласты геологических пород с трудом искали устойчивого положения, и от этого землетрясения случались каждый час. То и дело новый подземный толчок сотрясал земную кору, и между мной и Аиль мгновенно разверзались гигантские пропасти, через которые мы на бегу перебрасывали наш

---

[2] Примечания: 7

Менгиры — вертикально стоящие каменные глыбы, воздвигнутые доисторическими обитателями Нормандии.

кварцевый мяч. Сквозь эти трещины сжатые в недрах Земли вещества пробивали себе путь на волю, и на поверхность то и дело вылетали камни, кипящие струи лавы, дымящиеся облачка.

Не прерывая игры, я заметил, что на поверхности постепенно оседает слой газа, похожий на туман. Вначале странный туман стелился над самой Землей, но постепенно стал подыматься все выше, окутав сначала наши лодыжки, затем колени и, наконец, бедра… В глазах Аиль промелькнула тень беспокойства и даже страха; мне же не хотелось пугать ее, и я как ни в чем не бывало продолжал нашу игру, хотя и сам испытывал некоторое волнение.

Ничего подобного мне до сих пор не приходилось наблюдать — над Землей, обволакивая ее, рос и все больше раздувался гигантский пузырь газа. Еще немного, и газ затопит нас с головой, и кто знает, что тогда произойдет.

Я бросил Аиль кварцевый мяч через большую трещину, но по непонятным причинам он пошел к земле гораздо ближе, чем я рассчитывал, и угодил прямо в расщелину. Видно, кварцевый шар вдруг стал невероятно тяжелым, или нет — это трещина превратилась в огромный провал, и Аиль оказалась далеко-далеко от меня, за

потоком какой-то жидкости, бурлившей между нами и пенившейся у подножия скал; я бежал по берегу, простирая вдаль руки, и кричал: «Аиль! Аиль!»

Мой голос, вернее — звук моего голоса, разносился вокруг с неведомой доселе силой, но рев волн заглушал мои крики. Словом, уже ничего нельзя было понять.

Совершенно оглушенный, я заткнул уши и в тот же миг почувствовал, что надо зажать рот и нос, чтобы не задохнуться от дурманящей смеси кислорода с азотом, которая разлилась вокруг. Но самым сильным моим побуждением было крепко зажмурить глаза, чтобы не ослепнуть.

Жидкая масса, колыхавшаяся у моих ног, внезапно изменила цвет, ослепив меня, из горла моего вырвались бессвязные хриплые звуки, которым лишь позже суждено было обрести точный смысл: «Аиль! Море голубое!»

Долгожданная метаморфоза наконец свершилась. Отныне на Земле возникли вода и воздух. А над этим новорожденным морем клонилось к закату Солнце, окрашенное сейчас в совершенно необычные, куда более яркие цвета. И меня не оставляло желание почти бессмысленно кричать:

— Аиль, смотри, какое оно красное, это Солнце! Аиль, оно красное!

Наступила ночь. Но и тьма теперь была совсем иной. Я бежал по равнине, ища Аиль, и при виде все новых чудес бессвязно кричал:

— Аиль, звезды желтые! Аиль, Аиль!

Я не нашел ее ни в ту ночь, ни в последующие дни и ночи. Вокруг мир щедро рождал все новые краски, розовые облака собирались в фиолетовые тучи, и из них выпрыгивали золотистые молнии, после гроз широко раскинувшиеся радуги являли нам невиданные цвета и оттенки в самых причудливых сочетаниях. В это же самое время начал свое победное шествие по Земле и хлорофилл; мох и папоротники зазеленели в долинах, изборожденных бурными потоками. Наконец-то земной пейзаж стал достойным фоном для красоты Аиль, но самой Аиль нигде не было! А без нее все это великолепие красок казалось мне бесполезным, лишенным смысла…

Я ходил по Земле, не узнавая некогда серых, бесцветных предметов, каждый раз поражаясь, что, оказывается, огонь — красный, лед — белый, небо — лазурное, почва — бурая, что рубины — рубинового цвета, бирюза — бирюзового, а изумруды — изумрудного. Ну а Аиль? Как я ни напрягал

воображение, я все же не мог вообразить себе, какой она предстанет перед моими глазами.

Я снова очутился в саду, среди менгиров, но теперь в нем зеленели деревья и травы; в струящихся фонтанах плавали красные, золотистые, иссиня-стальные рыбки. Подружки Аиль по-прежнему бегали на лужайке, перекидывая друг другу разноцветный шар. Но как они изменились! Одна из них стала белокожей блондинкой, другая — смуглолицей брюнеткой, третья — шатенкой с розовой кожей, а четвертая — рыжей, с лицом, усыпанным очаровательными веснушками.

— Где Аиль? — крикнул я им. — Где она? Что с ней! Почему она не с вами?

Губы подружек были красными, зубы — белыми, а язык и десны — розовыми. Розоватыми были и соски грудей. А глаза у одних были зеленые, как аквамарин, у других — черные, как вишни, или карие.

— Ах… Аиль, — ответили они. — Она куда-то исчезла… А куда — не знаем, — и они снова принялись за игру.

Я пытался вообразить себе цвет волос и кожи Аиль, но мне это никак не удавалось; так в поисках возлюбленной я обыскал всю поверхность Земли.

«Раз ее нет наверху, то, может быть, она прячется в недрах?» — подумал я и, как только поблизости произошло землетрясение, спустился в пропасть и постепенно добрался до самого чрева Земли.

— Аиль! Аиль! — звал я во мраке. — Аиль! Выйди и посмотри, какая наверху красота!

Охрипнув от крика, я умолк. И в ту же секунду до меня донесся тихий, спокойный голос Аиль:

— Тсс… Я здесь. Зачем ты так кричишь? Что тебе нужно?

Я ровным счетом ничего не видел.

— Аиль! Идем со мной! Ты знаешь, наверху такая…

— Мне не нравится наверху.

— Но прежде ты сама…

— То было прежде. А теперь все по-другому. Началась эта неразбериха красок…

— Нет, это было лишь на миг, просто освещение изменилось. Помнишь, как тогда с метеоритом, — солгал я. — А теперь все уже прошло и стало, как прежде. Идем же, не бойся.

«Когда она поднимется, — думал я, — то после секундного замешательства привыкнет к обилию цветов и красок; ей самой понравится, и она поймет, что я лгал ради ее же блага».

— Ты говоришь правду?

— Зачем мне врать? Идем, я отведу тебя.

— Нет. Ты иди вперед, а я пойду следом.

— Но ведь мне не терпится снова тебя увидеть.

— Ты увидишь меня, только если я сама захочу. Ступай вперед и не оборачивайся.

Подземные толчки прокладывали нам путь. Каменные пласты раздвигались перед нами, как пластинки веера, мы пробирались вперед через расщелины. Я слышал за собой легкую поступь Аиль. Еще один толчок — и мы вышли к самой поверхности. Я бежал по базальтовым и гранитным ступеням, и они мелькали, словно страницы книги, которые вы быстро перелистываете. Уже показался пролом, который должен был вывести нас наружу, уже видна была освещенная Солнцем зеленая поверхность Земли, уже пробивались нам навстречу лучи света. Сейчас, сейчас я увижу, как заиграют краски на лице Аиль…

Я обернулся. Я услышал ее крик, она отпрянула назад, во мрак; мои ослепленные светом глаза ничего не увидели. Потом раздался грохот обвала, заглушив все остальные звуки, и в тот же миг между мною и Аиль опустилась вертикальная каменная стена, разделившая нас.

— Аиль! Где ты? Скорей пробирайся сюда, пока

скала еще не осела до конца!

Я бежал вдоль стены, ища хоть какое-нибудь отверстие, но серая гладкая поверхность тянулась без единой трещины. В этом месте после землетрясения образовалась огромная горная цепь. Я очутился у самого выхода на поверхность, Аиль же осталась за каменной стеной, пленницей земных недр.

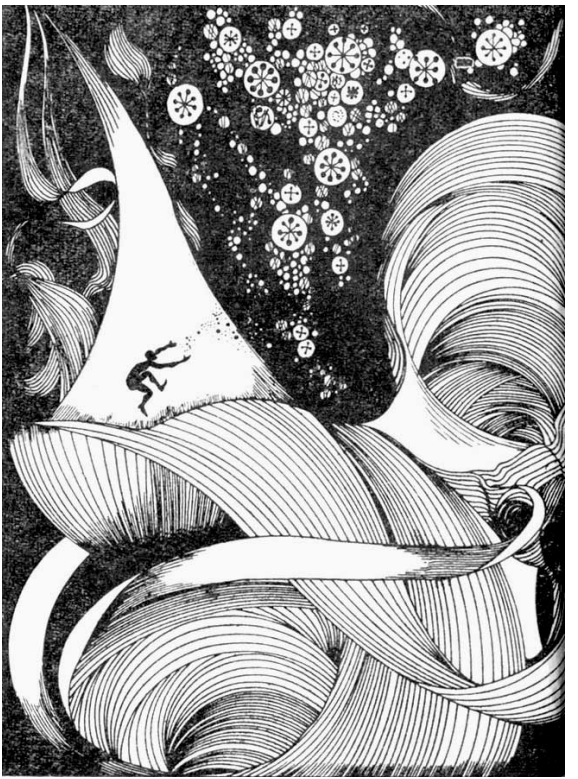
— Аиль, где ты? Аиль! Почему ты не по эту сторону?

Мой взгляд бродил по расстилавшемуся у моих ног ландшафту. И вдруг все эти светло-зеленые луга с только что распустившимися алыми маками, эти желтые поля, полосками тянувшиеся по бурым склонам холмов, сбегавших к морю, искрившемуся голубыми бликами, — все это показалось мне банальной, фальшивой и аляповатой декорацией, которая до того не подходила ко всему облику Аиль, не отвечала ее представлению о мире, о красоте, что я понял: ей никогда не будет и не может быть места «по эту сторону». Но в то же время я с болью и ужасом понял и другое: я-то сам остался «по эту сторону» и уже никогда не сумею обойтись без серебряных и золотистых бликов, без этих перистых облаков, что из голубых становятся розовыми, без этих

зеленых листиков, желтеющих каждую осень. И тогда мне стало ясно, что мир, столь совершенный для Аиль, навсегда погиб и я даже не смогу теперь вообразить его себе — ведь не осталось ничего, что хоть отдаленно напоминало бы мне о нем, ничего, кроме этой холодной стены из серого камня.

Игры без конца*

*** Примечания: ***
Gioclu senza fine.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



Если галактики отдаляются друг от друга, разрежение вселенной компенсируется образованием новых галактик из вновь создающейся материи. Для поддержания постоянства средней плотности вселенной достаточно рождения раз в 250 миллионов лет одного атома водорода на 40 кубических сантиметров расширяющегося пространства. (Эта теория — «постоянства статуса» — возникла в противоположность другой гипотезе — одномоментного происхождения вселенной от гигантского взрыва).

— Я был ребенком, но уже это улавливал, — рассказывал Qfwfq. — Атомы водорода я знал наперечет, и, стоило выскочить новому, я сразу это понимал. Во времена моего детства забавляться нам во всей вселенной было больше нечем, и мы только и делали, что в них играли, — я и мой ровесник по имени Pfwfp.

Что за игра у нас была? Сказать легко. Так как пространство было искривленным, мы гоняли вдоль этой кривой атомы, словно бильярдные шары, и кто пошлет свой дальше, побеждал. Делая удар, необходимо было хорошо рассчитывать и силу его, и траекторию, уметь использовать поля — и тяготения, и магнитные, — иначе шарик

сходил с трассы и с соревнования снимался.

Правила были все те же: своим атомом ты мог ударить по другому своему и запустить его вперед, а мог убрать с пути атом противника. Конечно, мы старались ударять не слишком сильно, так как столкновение двух атомов водорода могло привести к образованию одного атома дейтерия и даже гелия, и тогда, во-первых, для игры они были потеряны, а во-вторых, если один из двух принадлежал противнику, ты должен был ему его восполнить.

Свойства искривленного пространства вам известны: шарик катится и катится и вдруг в один прекрасный миг пускается вниз по склону и удаляется настолько, что его уж не поймать. Поэтому в ходе игры количество участвовавших в состязании атомов все время уменьшалось, и кто первым остался бы совсем без них, тот потерпел бы поражение.

И вот как раз в решающий момент стали появляться новые, которые, конечно, от видавших виды очень отличались: они были чистые, блестящие, свежайшие и влажные, как от росы. Мы изменили правила: решили, что отныне каждый новый атом будет стоить трех старых и все новые, по мере их образования, мы будем делить

поровну.

Так мы и играли, и нам не наскучивало, так как каждый раз, когда у нас случались новые атомы, казалось: мы играем самую первую партию в какую-то новую игру.

Со временем игра стала какой-то вялой. Новых атомов уже не попадалось, заменять утраченные было нечем, и наши броски стали слабыми и нерешительными, оттого что мы боялись потерять и те немногие элементы, что оставались у нас для соревнования в этом скудном, малосодержательном пространстве.

Изменился и Pfwfp: он отвлекался, отлучался, отсутствовал, когда был его ход, мне приходилось звать его, а он не отвечал и появлялся только через полчаса.

— Ну что такое, твоя очередь! Или ты больше не играешь?

— Отстань, играю, сейчас сделаю бросок.

— Если ты теперь сам по себе, то, может, прекратим игру?

— Проигрываешь, вот и завелся.

И правда, мои атомы закончились, тогда как у Pfwfp каким-то образом всегда имелся запасной. Без новых атомов, которые можно было б поделить, надеяться поправить дело я не мог.

Как только Pfwfp вновь удалился, я на цыпочках последовал за ним. Пока я его видел, он, казалось, бродил рассеянно, насвистывая; но, чуть только оказавшись за пределами моего поля зрения, поспешал через пространство в сосредоточенной манере тех, у кого имеется вполне определенный план. И каким бы ни был этот план, — как вы увидите, план надувательства, — я не замедлил его раскрыть: Pfwfp знал все места, где образовывались новые атомы, наведывался туда иногда, ловил их, свежесформированные, и прятал. Потому ему всегда и было что бросать!

Но прежде чем ввести новые атомы в игру, этот плут-рецидивист гримировал их под старые, потирая шкурку электронов, пока она не делалась потрепанной и матовой, чтобы я думал, будто этот атом у него уже давно и он случайно обнаружил его у себя в кармане.

Это еще не все: я быстренько прикинул, сколько атомов успело побывать в игре, и выяснилось: это только малая часть тех, которые он украл и спрятал. Создавал склад водорода? Зачем? Что было у него на уме? Я заподозрил, что Pfwfp хотел создать себе свою вселенную — новехонькую, «с иголочки».

С того момента я не знал покоя: надо было

расквитаться с ним. Я мог бы поступить, как он: теперь, когда я знал места, оказываться там на несколько минут раньше его и перехватывать новорожденные атомы! Но это было б слишком просто. Я хотел поймать его в ловушку, достойную его коварства. Первым делом я стал создавать фальшивые атомы: в то время как он посвятил всего себя своим предательским налетам, я в укромном уголке толок, дозировал, скреплял весь находившийся в моем распоряжении материал. На самом деле его было очень мало, — фотоэлектрическое излучение, опилки магнитных полей, потерянные по пути нейтрино, — но, скатывая шарики и смачивая их слюной, я смог соединить все это вместе. В общем, приготовил некие корпускулы, по поводу которых, если приглядеться, было ясно, что никакой это не водород и не другой приличный элемент, но тот, кто, как Pfwfp, на бегу хватал их и украдкою совал себе в карман, мог счесть их настоящим свежесотворенным водородом.

Пока он ничего еще не подозревал, я двинулся его маршрутом впереди него. Я хорошо запомнил все места.

Пространство изогнуто везде, но в некоторых точках — больше, чем в других: там пустота об-

разует своего рода излучины, бухты или ниши. В этих самых нишах раз в четверть миллиарда лет с негромким звоном и возникает, как жемчужина меж створок устрицы, сияющий атом водорода. Проносясь мимо него, я клал его в карман, а на том месте оставлял фальшивый. Pfwfp ничего не замечал: алчный, ненасытный, он наполнял себе карманы этим мусором, тогда как я накапливал сокровища, выношенные в лоне вселенной.

Наши партии теперь складывались по-иному: я все время запускал новые атомы, притом успешно, тогда как у Pfwfp все завершалось неудачей. Он трижды пробовал бросать, и трижды атом рассыпался, словно раздавленный пространством. Теперь Pfwfp искал любой предлог, чтобы расстроить партию.

— Давай же! — наседал я. — А не сделаешь бросок — будешь считаться проигравшим.

А он:

— Нет, когда атом разрушается, засчитывается ничья и начинается новая партия. — Это правило он выдумал буквально на ходу.

Я не давал ему покоя — скакал вокруг, запрыгивал ему на плечи, напевал:

Сам, наверно, понимаешь:

Не бросаешь — вылетаешь!
Если ты очко теряешь,
Мне его ты прибавляешь!

— Ну, хватит, — промолвил Pfwfp, — давай сменим игру.

— Идет! — сказал я. — Почему бы нам не позапускать галактики?

— Галактики? — Pfwfp вдруг просиял от удовольствия. — Согласен! Только у тебя ведь… у тебя же нет галактики!

— Есть, есть!

— И у меня!

— Ну так давай! Кто выше?

И все новые атомы, которые были у меня припрятаны, я метнул в пространство. Сначала они вроде бы рассеялись, потом сгустились в этакое легкое облачко, оно стало расти, расти, внутри его образовались раскаленные сгустки, которые вращались и вращались, в конце концов образовав спираль из новеньких созвездий, и та, вертясь и выпуская струю, устремилась в противоположную сторону, а я за ней, держа ее за хвост. Теперь не я своею волей заставлял лететь галактику — галактика влекла меня, висевшего у нее на хвосте. Иначе говоря, ни верха больше не было, ни

низа, только расширявшееся пространство, и посреди него — галактика, и она тоже расширялась, а я, подвешенный к ней, строил рожи Pfwfp, от которого нас отделяли уже тысячи световых лет.

Когда я сделал первый ход, Pfwfp скорее извлек всю свою добычу и запустил ее уверенным жестом того, кто ожидает, что на небе развернет свои витки бескрайняя галактика. Увы! Только трескучее излучение, беспорядочное мерцание, и вдруг все затухло.

— И все? — крикнул я Pfwfp, который, весь позеленев от гнева, грозился позади:

— Ну, погоди у меня, чертов Qfwfq!

Но мы с моей галактикой тем временем летели среди тысяч других галактик, и моей, которая была новее всех, завидовал весь небосвод — так она буквально обжигала своим юным водородом, ребяческим бериллием, младенцем-углеродом. Зрелые галактики пускались наутек, надутые от зависти, а мы надменно гарцевали прочь от них — таких тяжеловесных, старомодных. Так убегая друг от друга, мы пересекали все более разреженные и пустынные пространства, но постепенно в пустоте вновь стали появляться тут и там как бы размытые брызги света. Это были множественные новые галактики, образовавшиеся из едва

возникшего вещества, — еще новее, чем моя. Вскоре пространство стало насыщенным, обильным, словно виноградник перед сбором урожая, и мы летели друг от друга прочь, — моя галактика от более юных и от пожилых, а юные и старшие — от нас. Но только попадали мы в пустые небеса, те снова наполнялись, и так далее.

Во время одного из таких заполнений пустоты вдруг слышу:

— Ну, теперь-то я с тобою поквитаюсь, предатель Qfwfq! — И я увидел, как за нами мчится свежеиспеченная галактика, а на конце ее спирали, выкрикивая в мой адрес оскорбления и угрозы, — старый мой товарищ по играм Pfwfp.

Началось преследование. Там, где пространство изгибалось вверх, галактика Pfwfp, молодая и проворная, оказывалась в выигрыше, но на спуске преимущество вновь получала более тяжеловесная — моя.

Секрет погонь известен: все зависит от манеры преодоления поворотов. Галактика Pfwfp имела склонность срезать углы, моя, напротив, — огибать снаружи. В результате мы в конце концов оказались за границами пространства, а Pfwfp — у нас на хвосте. Мы продолжали гонку так, как это делают в подобных случаях, — по мере про-

движения создавая пространство перед нами.

То есть передо мной было ничто, а позади — противная физиономия преследовавшего меня Pfwfp, — и там, и там малоприятная картина. Но все-таки я предпочел смотреть вперед, и что увидел? Pfwfp, которого мой взгляд только что оставил позади, несется на своей галактике прямо передо мной.

— О! — крикнул я. — Ну вот, настал и мой черед гоняться за тобой!

— Как это?! — воскликнул Pfwfp, не знаю даже, сзади или впереди меня. — Преследую тебя я!

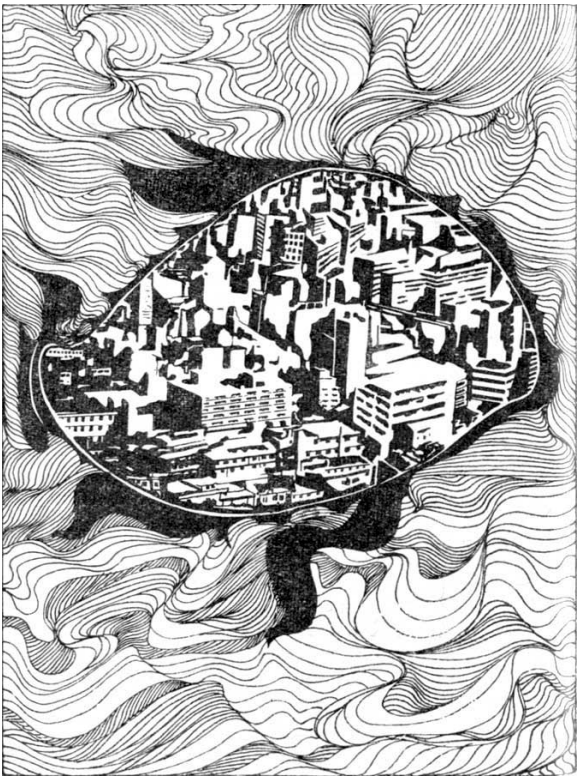
Я оборачиваюсь: Pfwfp, как прежде, неотступно движется за мной. Я снова поворачиваюсь вперед — и вижу, как он удирает, демонстрируя мне спину. Но, присмотревшись, замечаю, что перед его галактикой — еще одна, моя, поскольку на ней — я, которого ни с кем не спутать даже со спины. Я обернулся к Pfwfp, преследовавшему меня, и, напрягая зрение, рассмотрел, что за его галактикою следует другая — моя, и на ней я, собственной персоной, оборачивающийся в этот миг назад.

И так за каждым Qfwfq был Pfwfp, а за Pfwfp — Qfwfq, и каждый Pfwfp преследовал Qfwfq и был преследуем им, и наоборот. Расстояния между на-

ми становились то чуть больше, то чуть меньше, но теперь было понятно: не догнать ни первому второго, ни второму первого. В догонялки играть совершенно расхотелось — мы были уже не дети, но делать теперь больше было нечего.

Водяной дядюшка[*]

*** Примечания: ***
Lo zio acquatico.
© Перевод. Е. Солонович, 2010.



Первые позвоночные, переселившиеся в каменноугольный период из воды на землю, произошли от костистых рыб с легочным дыханием, которые могли пользоваться грудными и брюшными плавниками, как лапами, для передвижения по суше.

— Теперь уже было очевидно, что времена воды миновали, — вспоминал старый Qfwfq. — Тех, кто не боялся сделать решительный шаг, становилось все больше, и не было семьи, хоть один из членов которой не обитал бы на земле, не рассказывал бы поразительные истории о суше, о широком поле деятельности, открывавшемся там, и не призывал бы родственников последовать хорошему примеру. Теперь уже никому не приходило в голову останавливать молодых рыб, когда они хлопали плавниками по илистому берегу, пробуя, могут ли плавники служить им лапами, как служили самым способным из рыбьего племени. Но именно в те времена все отчетливее проявлялись различия между нами: у некоторых семей на сушу переселились еще прадеды, и молодежь своими повадками напоминала уже даже не земноводных, а пресмыкающихся. Встречались, однако, и такие, что не только по-прежнему оставались рыбами, но и становились ими в большей

степени, нежели это было некогда принято.

Должен сказать, что наше семейство в полном составе, с дедами и бабками во главе, гоняло по побережью, будто мы отродясь не знали другого призвания. Если бы не упрямство старого Нба Нга, которому я приходился внучатым племянником, нас бы давно уже ничто не связывало с водным миром.

Да, у нас был дядя-рыба, родной брат моей бабушки по отцу, урожденной Челаканти-Девонской. Челаканти-Девонские — я имею в виду их пресноводную ветвь — доводились нам… Впрочем, не стоит распространяться о степени родства, тем более что никто в этом деде все равно как следует не разбирается. Так вот, этот самый дядюшка жил на мелководье среди ила и корней первобытных хвойных деревьев, в той части лагуны, где родились все наши старики. Он никогда не покидал тех мест: в любое время года достаточно было подойти по топкому грунту поближе к воде, пока под лапами не захлюпает жижа, чтобы увидеть внизу, в нескольких пядях от берега, столбик пузырьков, которые пускал дядя, отдуваясь по-стариковски, или облачко ила, поднятое его острой мордой, ковырявшей дно скорее по привычке, чем в поисках какой-нибудь

добычи.

— Дядюшка Нба Нга! Мы пришли навестить вас! Вы нас ждали? — кричали мы, ударяя по воде лапами и хвостами, чтобы привлечь его внимание. — Мы принесли вам новых насекомых, которые водятся в наших краях! Дядюшка Нба Нга! Вы когда-нибудь видели таких крупных тараканов? Попробуйте, они вам придутся по вкусу…

— Можете скормить им, этим вонючим тараканам, свои паршивые бородавки! — Ответ старика неизменно звучал в подобном тоне, а то и еще грубее: он всегда нас так встречал, но мы не обращали на это внимания, зная, что он быстро отойдет, сменит гнев на милость, примет подарки и с ним можно будет разговаривать.

— Какие такие бородавки, дядюшка Нба Нга? Когда это вы видели на нас хоть одну бородавку?

Историю с бородавками, этот предрассудок, выдумали старые рыбы, считавшие, будто у нас от нового образа жизни высыпали по всему телу бородавки, выделяющие жидкость; так оно и было, но только у жаб, с которыми мы не имели ничего общего; напротив, кожа у нас была гладкая и чистая, рыбам такая и во сне не снилась, и дядюшка превосходно это знал, однако упорно

сдабривал свои речи подобными выдумками, верный предрассудкам, с которыми он вырос.

Мы навещали старика раз в год, всем семейством. Судьба разбросала нас по материку, и каждый такой визит давал нам возможность собраться вместе, обменяться новостями и съедобными насекомыми, обсудить нерешенные имущественные и деловые вопросы.

Дядюшка принимал живое участие во всех наших разговорах, даже когда речь шла о делах, от которых его отделяли многие километры суши, таких, например, как распределение зон охоты на стрекоз, и становился на сторону того или иного из нас, исходя при этом из собственных представлений, — а они у него всегда были рыбьими:

— Да разве ты не знаешь, что охотиться у дна всегда выгоднее, чем на поверхности? Что же тебе еще надо?

— Позвольте, дядюшка, при чем же здесь поверхность и о каком дне вы толкуете? Я живу у подножия холма, а он вот — недалеко от воды… Видите ли, дядюшка, холмы…

— У подножия скал всегда водятся самые лучшие раки!

Он принимал в расчет только то, что его окружало, и не было возможности втолковать ему,

что мы живем совсем в других условиях.

И однако, мнение старика оставалось для нас законом: как бы там ни было, в конечном счете мы просили его совета в делах, в которых он ровно ничего не смыслил, хоть и знали наперед, что можем услышать от него невесть какую чепуху. Должно быть, его авторитет объяснялся тем, что дядя был осколком прошлого — даже речь его изобиловала допотопными оборотами, такими, что мы и смысла-то их толком не понимали, например: «А ты, удалец, не ершись!»

Попыток переманить его на сушу мы предприняли немало и не оставляли их никогда; в чем, в чем, а в этом между отдельными ветвями нашей семьи никогда не прекращалось соперничество, ибо тот, кому посчастливилось бы заполучить дядю к себе, возвысился бы, так сказать, в глазах родни. Увы, соперничество это ни к чему не приводило: расставаться с лагуной старик и в мыслях не имел. Мы подступались к нему:

— Дядюшка, если б вы только знали, как тяжело нам каждый раз оставлять вас одного в этой сырости, ведь в ваши годы… Знаете, мы решили…

— Знаю, всегда знал, что вы одумаетесь, — перебивал нас дядюшка-рыба. — Каково плескаться в лужах на суше, вы испытали на собственной

чешуе, вот и пора вам возвращаться восвояси и жить как нормальные твари. Воды здесь на всех хватает, а что до пропитания, то такого урожая на червей в этих краях еще не бывало. Решили, так за чем же дело стало? Прыгайте в воду, вот и весь сказ!

— Да нет, дядюшка Нба Нга, вы нас не так поняли! Мы хотели взять вас с собой на широкий луг… Увидите, до чего там хорошо, мы выроем вам канавку, сырую, прохладную: в ней вы сможете делать что вам заблагорассудится, все равно как здесь, а со временем попробуете походить вокруг, вот увидите — у вас получится. Да и климат наш в вашем возрасте полезнее. Так что, дядюшка Нба Нга, не заставляйте себя уговаривать. Ведь вы согласны, правда?

— Нет, — сухо отвечал дядя, ныряя вниз носом, и пропадал из виду.

— Но почему же, дядюшка? Что вас тут не устраивает? При вашей широте взглядов это предвзятое отношение…

Всплеск на поверхности воды приносил последние слова, которыми старик удостаивал нас, прежде чем зарыться в песок, взмахнув не потерявшим былой гибкости хвостом:

— Пусть плавают брюхом в грязи те, у кого

блохи в чешуе!

В его времена, верно, было в ходу такое выражение (вроде нынешней куда более краткой пословицы: «У кого свербит, почешись!»); слово же «грязь» дядя употреблял во всех случаях, когда мы говорим «земля».

В ту пору я влюбился. Я проводил целые дни с L11, бегая с ней наперегонки. Такого проворного создания, как она, никто еще отродясь не видывал: на верхушки папоротников — а они были тогда высокими, вроде нынешних деревьев, — она взлетала одним махом, и папоротники склонялись почти до самой земли, а она спрыгивала с них и мчалась дальше; медлительный и неуклюжий по сравнению с L11, я как мог старался не отставать от нее. Мы забирались с ней в глубь материка, где до нас никто не оставлял следов на сухой, схваченной коркой почве; случалось, я останавливался — мне делалось страшно, что я очутился в такой дали от зеркала лагун.

Но, глядя на L11, я тут же забывал все свои страхи: песчаные и каменистые пустыни, широкие луга, лесные заросли, скалы, кварцевые горы — все это было ее миром, миром, будто специально созданным для того, чтобы она всматривалась в него взглядом продолговатых глаз и, извиваясь,

скользила по нему на своих быстрых лапах. Глядя на ее гладкую кожу, можно было подумать, что на свете никогда не существовало чешуи.

Что меня несколько смущало, так это родственники L11; она принадлежала к одной из тех семей, которые обосновались на земле в более далекие времена и в конце концов внушили себе, будто они испокон веков жили здесь, и только здесь; к одной из тех семей, где дамы даже яйца теперь уже откладывали на суше и яйца эти были защищены прочной скорлупой. Все в L11 — ее порывистость, ее молниеносные движения, — все говорило о том, что она родилась в точности такой, какой я ее видел сейчас, вылупилась из яйца, нагретого песком и солнцем, и не знала стадии плавающей личинки, никогда не была головастиком, а ведь этого до сих пор не минует никто в наших менее развитых семьях.

Пришло время познакомить L11 с моей родней, и так как самым старшим и уважаемым в нашей семье был дядя Нба Нга, я не мог не нанести ему визита и не представить свою невесту. Но всякий раз, как для этого представлялся случай, я колебался и откладывал важную встречу со стариком; зная, в духе каких предрассудков воспитывалась L11, я все еще не осмеливался признаться ей, что

у меня есть дядя-рыба.

Как-то раз мы забрели на один из выдающихся в лагуну сырых мысков, где почва состояла не столько из песка, сколько из спутанных корней и сгнивших растений. L11 по обыкновению бросила мне вызов, предложив помериться ловкостью:

— Qfwfq, посмотрим, как ты умеешь держать равновесие! А ну, кто дальше пробежит по самой кромке воды?

И она устремилась вперед; но для нее это был непривычный грунт, и первое же ее движение оказалось менее уверенным, нежели обычно.

На сей раз я чувствовал, что сумею не только не отстать от нее, но и одержать верх — для моих лап не было лучшей опоры, чем сырой грунт.

— Пока мы у самой кромки, сколько угодно! — воскликнул я. — Как, впрочем, и за кромкой!

— Не болтай глупостей! — одернула она меня. — Как можно бегать по ту сторону кромки? Ведь там вода!

Видимо, случай был вполне подходящий, чтобы завести разговор о моем двоюродном дяде.

— Ну и что? — спросил я. — Одни бегают по ту сторону кромки, другие — по эту.

— Скажешь тоже!

— А вот и скажу! Мой собственный дядюшка Нба Нга чувствует себя в воде не хуже, чем мы с тобой — на земле, и вообще с водой никогда не расставался!

— Вот как? А нельзя ли поглядеть на этого самого Нба Нга?

Не успела она произнести дядино имя, как на мутной поверхности лагуны булькнули пузырьки, потом появилась небольшая воронка, и из воды высунулась голова, покрытая колючей чешуей.

— Ну вот я! В чем дело? — спросил дядя, уставившись на L11 круглыми и невыразительными, как камни, глазами и раздувая жабры на массивной шее.

Никогда прежде он не казался мне таким непохожим на нас: ни дать ни взять чудовище.

— Дядюшка, если вы не возражаете, это… я хотел бы… я имею честь представить вам… мою невесту L11. — И я указал на нее, а она тем временем для чего-то села на задние лапы и вся приосанилась, приняв одну из самых изысканных своих поз, которую наверняка меньше всего мог оценить этот старый невежа.

— Здесь так хорошо, синьорина! Вы, верно, пришли ополоснуть хвостик? — ляпнул старик.

Возможно, в его времена подобная фраза и была верхом любезности, но для нашего слуха она звучала просто непристойно.

Я посмотрел на L11, уверенный, что она немедленно повернется и бросится прочь, оскорбленно повизгивая. Но я не учел, сколь сильна в ней привитая воспитанием привычка не обращать внимания на грубость окружающих.

— Простите, меня интересуют эти растеньица, — начала она непринужденно и указала на огромные камыши посреди лагуны. — Не скажете ли вы, где скрываются их корни?

Вопрос из тех, какие задают обычно, чтобы как-то поддержать разговор: еще бы, можно себе представить, до чего интересовали ее всякие там камыши! Но старик, казалось, только и ждал случая: он пустился подробно объяснять все, что касается корней торчащих из воды деревьев, и разглагольствовать о том, как плавать между этими корнями; послушать его, так лучшие места для охоты — именно там, под водой.

И пошел, и пошел! Я только пыхтел и все пытался перебить его. А что делает тем временем моя дурочка? Думаете, она молчит, отказывается поддерживать беседу?

— Ах вот как, вы охотитесь среди плавучих

корней? До чего интересно!

Я готов был провалиться со стыда.

А он:

— Не подумайте, будто я сочиняю. Червяки там — прямо объедение!

И, недолго думая, ныряет, да с такой ловкостью, какой я за ним никогда прежде не замечал. И не просто ныряет, а высоко выпрыгивает из воды, вытянувшись во всю длину, покрытый с головы до хвоста пятнистой чешуей, колючие плавники оттопырены веерами; описав в воздухе красивый полукруг, старик входит в воду вниз головой и мгновенно исчезает, орудуя серповидным хвостом, точно винтом.

При виде всего этого слова, которые я приготовил, чтобы тут же начать оправдываться перед L11, воспользовавшись его исчезновением, застряли у меня в горле. А оправдываться я собирался примерно так:

— Знаешь, дорогая, его можно понять, со своей навязчивой идеей жить по-рыбьи он дошел до того, что в конце концов стал похож на рыбу…

Откровенно говоря, я и сам никогда не отдавал себе отчета в том, насколько был рыбой брат моей бабушки.

Едва я произнес: «L11, уже поздно, пойдем…» —

как старик снова всплыл, держа в губах гирлянду червяков и грязных водорослей.

Когда мы наконец ушли, мне не верилось, что все это происходило наяву. Молча труся за L11, я не сомневался, что сейчас она начнет прохаживаться по дядиному адресу, то есть что худшее для меня впереди. И вот L11, не останавливаясь, поворачивает голову в мою сторону:

— А он симпатичный, твой дядюшка!

И все, ни слова больше.

Перед ее иронией я уже не раз оказывался безоружным, но от этой реплики меня пронизал такой холод, что я скорее предпочел бы потерять L11, чем возвращаться с ней к разговору о моем родственнике.

Однако мы встречались, как раньше, вместе гуляли и больше не говорили о том, что произошло на лагуне. Правда, я по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке и изо всех сил старался внушить себе, что она все забыла; иногда во мне шевелилось подозрение, что она молчит нарочно, выжидая случая выставить меня на всеобщее посмешище, осрамить в присутствии своих родственников, или — и это было для меня хуже всего — что лишь из жалости она старается говорить о другом. Так продолжалось до тех пор, пока в одно

прекрасное утро она в упор не спросила:

— Послушай, а почему ты больше не водишь меня к своему дяде?

— Ты шутишь? — пролепетал я еле слышно.

Как бы не так: она говорила вполне серьезно, она дождаться не могла случая снова поболтать со старым Нба Нга! Я ничего не понимал.

На этот раз наш визит был более продолжительным. Мы улеглись все втроем на покатом берегу: дядюшка — чуть ниже, но и мы с L11 наполовину в воде, так что, глядя издали, невозможно было наверное сказать, кто из нас подводный житель, а кто земной.

Дядюшка завел одну из любимых песен — о превосходстве дыхания под водой над воздушным дыханием. «Ну, теперь-то уж L11 не удержится и поставит его на место», — подумал я. Ничуть не бывало, в тот день L11 избрала иную тактику: она горячо спорила, отстаивая нашу точку зрения, но делала это так, будто принимала всерьез бредни старого Нба Нга.

Земли, поднявшиеся из воды, — это, по мнению дяди, явление временное, им предстояло исчезнуть также, как они появились, ибо — уж это наверняка! — ничего хорошего их не ждало: старик предрекал им извержения вулканов, оле-

денения, землетрясения, образование складок, изменение климата и растительности. И наша жизнь под воздействием всех этих переворотов должна была подвергаться постоянным изменениям — в результате целые племена, по дядиным словам, обречены на вымирание и выживут лишь твари, способные в корне перестроить свое существование до такой степени, что и радоваться жизни они разучатся, потому что все приятное тоже станет совсем другим.

Дядя нарисовал перспективу, решительно несовместимую с оптимизмом, в духе которого мы, дети суши, воспитывались; и я, возмущенный, никак не мог с ним согласиться. Подлинным, живым опровержением дядиной теории для меня была L11: я видел в ней совершенную, окончательную форму, результат освоения выступивших из воды земель, свидетельство новых неограниченных возможностей, открывшихся перед живыми существами. Как мог, как смел этот старый хрыч отрицать реальность того, что воплощала в себе L11? Я пылал полемической страстью, и мне казалось, что моя подруга слишком либеральна, терпима к носителю чуждых нам воззрений.

Разумеется, для меня, прежде не слышавшего

от дяди ничего, кроме брюзжания и грубостей, эти тонкие рассуждения были полной неожиданностью, — пусть даже они, по обыкновению, изобиловали странными, высокопарными оборотами речи и звучали смешно из-за характерного дядиного выговора. Поразительно было и то, что старик выказывал изрядную осведомленность — пусть даже осведомленность стороннего наблюдателя — в отношении материка.

Но L11, как это явствовало из ее вопросов, хотелось побольше услышать от него о жизни под водой, и тут дядюшкина речь становилась более сжатой, а подчас и вдохновенной. В отличие от земли и воздуха, которым грозили разного рода неожиданности, за будущее лагун, морей и океанов можно было не беспокоиться. Здесь перемены будут минимальными, жизненное пространство и запасы пищи тут неограниченные, опасные колебания температуры не предвидятся; одним словом, жизнь будет такой же, какой была доныне, сохранит свои окончательные и совершенные формы — без изменений, без сомнительных новшеств, и каждый сможет совершенствовать свою природу, познать самого себя и все окружающее. Старик говорил о будущем обитателей вод, ничего не приукрашивая и

не впадая в иллюзии, не скрывая проблем, в том числе и серьезных, которые могут возникнуть со временем (наибольшую тревогу вызывала у него проблема повышения солености). Но при этом ценности, в какие он верил, и соотношение вещей должны были, по его мнению, оставаться неизменными.

— Но ведь мы теперь носимся по долинам и горам, дядюшка, — возразил я от своего имени и в первую очередь от имени L11, которая почему-то молчала.

— Эх ты, головастик, да плюнь ты на все это, ведь, вернувшись в воду, ты вернешься домой! — отрезал дядя, снова взяв тон, каким всегда разговаривал с родными.

— А вы не думаете, дядюшка, что нам уже поздно учиться дышать под водой, даже если бы мы и захотели? — серьезно спросила L11, и я не знал, считать ли себя польщенным тем, что она назвала моего почтенного родственника дядюшкой, или недоумевать, ибо некоторые вопросы (по крайней мере я привык так считать) даже и задавать не к чему.

— Если хочешь, солнышко, — отвечал дядя-рыба, — я тебя мигом обучу!

L11 как-то странно засмеялась и вдруг броси-

лась бежать, да так, что за ней было не угнаться.

Я искал ее на равнинах и холмах, забрался на вершину базальтовой скалы, царившей над пустынями и лесами, окруженными водой. L11 оказалась там. Конечно же, она, и когда слушала Нба Нга и когда убежала и спряталась наверху, хотела сказать мне — я-то ее понял! — что не следует держаться за наш мир так же упорно, как старая рыба держалась за свой.

— Мое место здесь, на земле, как дядино место там, в воде! — провозгласил я несколько театрально и тут же поправился: — Наше место, наше с тобой! — потому что, по правде говоря, без нее мне было плохо.

И что же ответила мне L11? Я до сих пор краснею, вспоминая ее ответ, а ведь прошло уже столько геологических эпох. Она сказала:

— Эх, головастик, ничего-то ты не понимаешь. — И я не знал, вспомнила ли она дядины слова, чтобы высмеять одновременно и его и меня, или же в самом деле усвоила манеру обращения этого старого хрыча с внучатым племянником. Оба предположения были в равной степени удручающими, ибо и то и другое означало, что в ее представлении я застрял где-то на полпути и не принадлежал ни к ее миру, ни к

какому-либо другому.

Неужели я потерял L11? Охваченный сомнениями, я старался вновь завоевать ее сердце. Я совершал чудеса — в охоте на насекомых, в прыжках, в рытье подземных нор, в схватках с сильнейшими. Я гордился собой, но, увы, всякий раз, как я совершал очередной подвиг, L11 меня не видела: она то и дело исчезала неизвестно куда.

В один прекрасный день меня осенило; ну конечно же, она ходила на лагуну, где мой почтенный дядюшка обучает ее подводному плаванию!

Я увидел, как они всплыли вместе; они скользили с одинаковой скоростью, и их можно было принять за брата и сестру.

— А знаешь, — весело сообщила она, заметив меня, — лапы прекрасно действуют как плавники!

— Поздравляю, вот это я понимаю — шаг вперед! — не удержался и съязвил я.

Разумеется, для нее это была игра. Но мне эта игра не нравилась. Я обязан был вернуть L11 к действительности, напомнить о нашем будущем.

Как-то я ждал ее на крутом берегу, в зарослях высоких папоротников, спускавшихся к воде.

— L11, мне нужно поговорить с тобой, — сказал я, едва увидел ее. — Ну, порезвилась немного, и хватит. У нас с тобой есть дела поважнее. Я обнаружил проход в горной цепи: по ту сторону лежит необъятная каменистая равнина, еще совсем недавно покрытая водой. Мы первыми обоснуемся там, заселим безграничные просторы — мы и наши дети.

— Безгранично только море! — изрекла L11.

— Да перестань ты повторять бредни этого старого рамолика! Мир принадлежит тем, у кого есть ноги, а не рыбам, ты же прекрасно знаешь!

— Я знаю, что он — это он.

— А я?

— Ноги ногами, но ни одному из тех, кто имеет ноги, с ним не сравниться.

— А твои родственники?

— Я с ними поссорилась. Они ничего не понимают.

— Да ты с ума сошла! Нельзя же возвращаться вспять!

— А вот я вернусь.

— И что же ты собираешься делать вдвоем со стариком из рыбьего племени?

— Выйти за него замуж. Снова стать рыбой с его помощью и давать жизнь другим рыбам.

Прощай!

И ловко, как она одна умела, L11 в последний раз вскарабкалась на верхушку папоротника, наклонила ее к поверхности лагуны и бултыхнулась в воду. Всплыла она уже не одна: массивный серповидный хвост дядюшки Нба Нга и ее хвост дружно рассекали воду.

Это был жестокий удар. Но что поделаешь? Я продолжал идти своим путем. Менялся мир, менялся я сам. Время от времени среди множества живых существ я встречал кого-нибудь, о ком больше, чем обо мне, можно было сказать, что «он» — это «он», кого-нибудь, кто предвещал будущее, — орниторинхуса[3], кормящего молоком младенца, вылупившегося из яйца, тощую жирафу в еще невысоких зарослях; или же кого-либо из тех, кто свидетельствовал о безвозвратном прошлом, — динозавра, уцелевшего после начала кайнозойской эры, или, например, крокодила, — о прошлом, которое сумело пройти неизменным сквозь века. Всем этим существам было свойственно нечто такое, я уверен, что делало их в чем-то выше меня и что делало меня по сравнению с ними посредственностью. И все

---

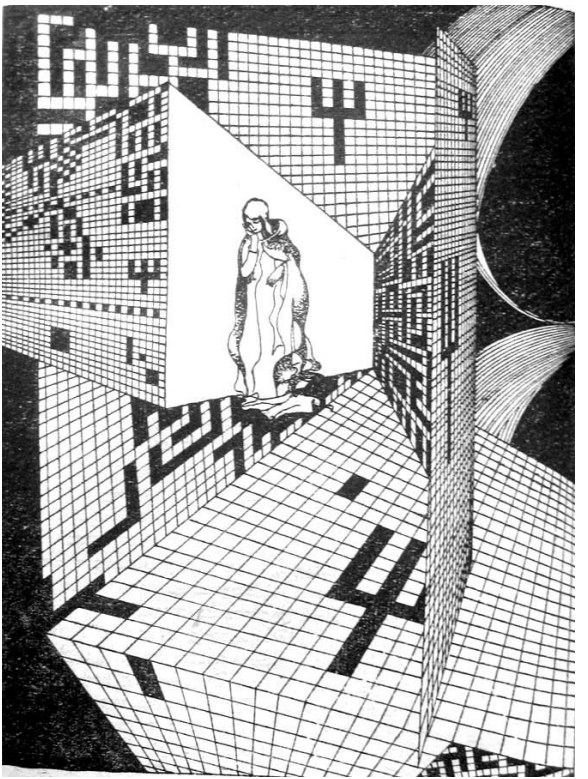
[3] Примечания: 10

Орниторинхус — утконос, австралийское однопроходное (клоачное) яйцекладущее млекопитающее. *(Примечание компилятора.)*

равно я бы не поменялся ни с кем из них.

На сколько спорим?*

*** Примечания: ***
Quanto scommettiamo.
© Перевод. Л. Вершинин, 2010



Кибернетическая логика применительно к истории вселенной позволяет сделать вывод, что галактики, солнечная система, Земля, клетка не могли не возникнуть. Согласно кибернетике вселенная образуется в результате ряда позитивных и негативных ретрореакций: сначала под действием силы тяготения, которая концентрирует массу водорода в плотное первичное скопление, а затем под действием ядерной энергии и центробежной силы, уравновешивающей силу тяготения. С той минуты, как этот процесс начался, он не может не подчиняться логике последовательных цепных реакций.

— Да, но вначале это не было известно, — уточнил старый Qfwfq, — вернее, кое-кто мог это предугадать, но случайно, прежде всего по наитию. Не стану хвастать, но я сразу рискнул заключить пари, что вселенная непременно должна возникнуть, и, представьте себе, попал в точку, да и потом я выиграл не одно пари у Декана (К)уК, с которым мы спорили насчет того, как эта вселенная будет развиваться.

Когда мы впервые держали пари, не было ничего, что позволило бы предугадать хоть что-нибудь, за исключением, правда, нескольких

блуждающих частиц — электронов, рассыпанных там и сям, и протонов, двигавшихся совершенно хаотически. Но я каким-то непонятным образом уловил, что погода меняется (и в самом деле начало холодать), и говорю Декану:

— Давай поспорим, что настал черед атомов.

— Не смеши меня, дорогой! Атомы! Спорю на что угодно, их не будет! — отвечает Декан (К)уК.

— Даже на «Х» споришь? — подзадориваю я.

— Даже на «Х» в степени «n»!

Не успел он закончить фразу, как вокруг каждого протона с гудением закружился электрон, и в пространстве сгустилось огромное водородное облако.

— Ну, что я говорил?! Видишь, везде полно атомов!

— Какие же это атомы! — воскликнул (К)уК, который имел скверную привычку препираться, вместо того чтобы честно признать, что проиграл пари.

Мы с Деканом все время держали пари, потому что больше вообще нечем было заняться, да и единственным доказательством моего существования были пари с ним, так же как единственным доказательством его существования были пари со мной. Мы держали пари, произойдут или не

произойдут те или иные события. Перед нами открывались практически неограниченные возможности, так как вплоть до той минуты не произошло абсолютно ничего. Но поскольку немыслимо было даже вообразить, как может произойти какое-либо событие, мы решили условно обозначать каждое: событие «А», событие «В», событие «С» и так далее. Или, вернее, поскольку тогда не существовало ни алфавита, ни другого вида условных знаков, мы вначале держали пари на то, какими могут быть эти условные знаки, а затем обозначили этими возможными знаками возможные события так, чтобы хоть с минимальной точностью определить то, что должно произойти и о чем мы ровным счетом ничего не знали.

Не знали мы и на что спорить, ведь не было ничего, что могло бы служить ставкой. Поэтому спорили мы на слово: каждый подсчитывал, сколько пари он выиграл, а затем подводился итог. Впрочем, и это нелегко было сделать, ибо тогда не только не было цифр, но и не существовало само понятие числа, так что мы даже не могли вести счет и все было спутано.

Положение несколько изменилось, когда в протогалактиках стали конденсироваться прото-

звезды; едва температура начала подниматься, как я мгновенно догадался, чем все это должно кончиться.

— Теперь они зажгутся! — сказал я.

— Ерунда! — воскликнул Декан.

— Держим пари? — предложил я.

— На сколько угодно, — ответил Декан.

И в тот же миг тьму прорезал блеск сверкающих, непрерывно расширяющихся шаров.

— Э, но это вовсе не значит зажечься… — начал было (К)уК, стремясь, как всегда, свести все к спору о словах.

Но у меня был свой способ заставить его молчать.

— Ах так?! Что же, по-твоему, означает «зажечься»?

Он сразу умолк. Воображение у него было убогое, и едва слово приобретало определенное значение, он уже не допускал, что оно может означать и нечто другое.

Вообще не надо было долго пробыть с Деканом (К)уК, чтобы убедиться, что человек он скучный, примитивный, не способный рассказать что-либо путное. Впрочем, и мне особенно нечего было рассказывать, потому что событий, достойных упоминания, к тому времени еще не случилось;

по крайней мере нам так казалось.

Нам оставалось лишь строить гипотезы — точнее, строить гипотезы о том, какие гипотезы можно построить. И в этом мое воображение оказалось куда богаче, чем у Декана, оно было моим преимуществом и одновременно моим слабым местом, потому что вовлекало меня в самые рискованные споры, из-за чего вероятность выигрыша у нас в конечном счете была примерно одинаковой.

Обычно я ставил на то, что событие может произойти, а Декан почти всегда на то, что оно не произойдет. У него было статичное восприятие действительности, если можно так выразиться, — ведь тогда не различали, как сейчас, разницу между статикой и динамикой, или, во всяком случае, нужно было напрячь все внимание, чтобы различить их.

К примеру, звезды начинали расширяться, и я сразу же спрашивал у Декана:

— Отвечай, на сколько?

При этом я старался перевести спор в сферу чисел, чтобы ему потом было труднее отыскать повод для препирательств. В те времена цифровых значений было всего два: число «эта» и число «пи». Декан прикидывал на глазок и говорил:

— До «эта» в степени «пи»!

Тоже мне хитрец выискался! Такой расчет мог сделать каждый. Но я-то знаю, что дело обстояло куда сложнее.

— Давай поспорим, что рост звезд в какой-то момент прекратится.

— Идет. Ну и на чем он остановится, по-твоему?

Тут я решил играть ва-банк и выпалил:

— На «пи»!

Так оно и вышло. Декан даже застыл от изумления.

Вот с того момента мы и стали держать пари на числа «эта» и «пи».

— Пи! — кричал Декан, впиваясь взглядом во тьму, которую изредка разрывал свет новых звезд. А звезды вдруг останавливались в своем росте на «эта».

Понятно, спорили мы лишь ради развлечения, потому что выгоды от этих пари ни один из нас получить не мог. Когда начали образовываться элементы, мы стали заключать пари на атомы самых редких элементов, и тут я допустил промах. Заметив, что самым редким элементом был технеций, я стал постоянно спорить на технеций и все время выигрывал. Вскоре у меня скопился

целый капитал из технеция. Но я не предусмотрел, что технеций — элемент радиоактивный и что он быстро распадается. Пришлось мне начинать все сызнова.

Что и говорить, я тоже проигрывал, но потом неизменно брал реванш. И это позволяло мне делать подчас весьма рискованные прогнозы.

— Вот сейчас появится изотоп висмута! — объявил я однажды, наблюдая, как брызжут расплавленные элементы из пылающей сверхновой звезды. — Хочешь держать пари?

Смех, да и только, ведь в итоге возник чистейший атом полония!

В таких случаях (К)уК преехидно ухмылялся, словно он благодаря собственным заслугам выиграл пари, хотя на самом деле только мой слишком рискованный прогноз принес ему победу.

Но чем больше мы спорили, тем яснее становились мне законы образования вселенной, и после одной-двух ставок наугад я уже мог основывать свои прогнозы на точных расчетах. Причины, по которым одна галактика с полной закономерностью возникала на расстоянии именно стольких-то миллионов световых лет от другой, всегда становились мне понятными значительно раньше, чем Декану.

Вскоре предугадывать такие явления мне стало так легко, что я даже утратил вкус к спорам.

На основании уже известных данных я пытался вывести другие, из этих новых данных — последующие, и так до тех пор, пока не удавалось сформулировать гипотезу, которая на первый взгляд не имела ничего общего с предметом нашего спора. И я смело ее выкладывал.

К примеру, мы однажды строили предположения о кривизне галактических спиралей, и вдруг я задал вопрос:

— Скажи-ка, (К)уК, как, по-твоему, вторгнутся ассирийцы в Месопотамию?

Он совсем растерялся.

— Кто? Когда вторгнется?

Я молниеносно подсчитал в уме и назвал дату, но, понятно, не год и не век — тогда вообще не существовало такой меры времени, и, чтобы указать точную дату, нам приходилось прибегать к таким сложным формулам, что, вздумай я их записать, они заняли бы всю классную доску.

— А как же мы потом узнаем?

— Перестань выкручиваться, (К)уК, отвечай: вторгнутся или нет? По-моему, вторгнутся, по-твоему — нет. Ну так держим пари? Идет?

Вокруг нас все еще была беспредельная пустота,

прорезанная кое-где полосками водорода у самых кипящих клубков первых созвездий. Конечно, нужны были очень сложные логические построения, чтобы провидеть долины Месопотамии, в которых черным-черно от пеших воинов, всадников, копий и труб; но когда нет других занятий, можно и этого добиться.

Между тем Декан всегда отрицал любую возможность, и не потому, что он не верил, скажем, в агрессивные намерения ассирийцев, — просто он считал, что ассирийцы, Месопотамия, Земля и род человеческий вообще никогда не возникнут.

Само собой разумеется, такого рода пари заключались на более долгие сроки, чем другие, когда результат можно было определить сразу.

— Видишь, там, в высоте, образуется Солнце, и вокруг него эллипсоиды? Ну-ка, Декан, назови тут же, до того, как возникнут планеты: на каком расстоянии одна от другой будут их орбиты?

Не успел я задать вопрос, как за каких-нибудь восемьдесят… нет, даже за шесть-семь сотен миллионов лет появлялись планеты и начинали вращаться: каждая по своей орбите, абсолютно точно предсказанной мною.

Но куда большее удовлетворение я получал от таких пари, когда приходилось миллиарды и

миллиарды лет помнить, о чем и на что шел спор; одновременно надо было помнить о спорах на более короткие сроки, о количестве пари (настало время чисел, и это несколько осложнило дело), выигранных одним и другим, и о сумме ставок. Надо заметить, что мой выигрыш непрерывно возрастал, и Декан по уши залез в долги. В довершение всего мне беспрестанно приходилось придумывать все новые темы для спора, двигаясь все дальше от дедукции к дедукции.

— Восьмого февраля 1926 года в городе Сантии, в провинции Верчелли, на улице Гарибальди, восемнадцать (ты успеваешь следить, Декан?), синьорина Джузеппина Пенсотти, двадцати двух лет от роду, выйдет из дому без четверти шесть. Куда она свернет — направо или налево?

— Но-о-о… — начинал мямлить (К)уК.

— Не тяни, отвечай. Я утверждаю, что она пойдет направо…

И сквозь облако космической пыли, в которой прочертили свои орбиты созвездия, я увидел, как на улицы города Сантии опустилась мгла, как зажегся фонарь, с трудом освещавший полоску заснеженного тротуара, как свет фонаря на миг выхватил из темноты стройную фигурку Джузеппины Пенсотти, которая возле старой башни

свернула направо и сразу исчезла.

Что же до небесных тел, то у меня не было больше нужды заключать пари: я мог спокойно ждать, когда мои предсказания сбудутся, и класть денежки Декана в карман. Но страсть к спорам заставляла меня предсказывать не просто события, но и бесконечную цепь вытекающих из них последствий, подчас совершенно случайных и весьма гадательных. Вскоре я даже научился сочетать прогнозы ближайших, легко поддающихся расчетам событий с другими, требующими крайне сложных вычислений.

— Видишь, как сгущаются планеты? Определи, на какой из них появится атмосфера? На Меркурии? Венере? Земле? Марсе? Ну, живее, Декан, живее! Отвечай же!.. Отлично, ну а теперь высчитай средний процент роста населения на Индостанском полуострове в период английского господства. Что это ты так долго думаешь? Шевели мозгами.

Я нашел для себя неиссякаемый источник, в котором события так и кипели, и мне оставалось лишь черпать их горстями и бросать в лицо моему противнику, который даже не подозревал о самом их существовании. В тот раз, когда я почти машинально спросил: «Арсенал» встречается

с «Реаль-Мадридом» в полуфинале, «Арсенал» играет на своем поле. Кто победит?» — мне сразу же стало ясно, что этот, казалось бы, случайный набор слов таит в себе неисчерпаемые возможности новых комбинаций знаков, которыми тусклая и однообразная действительность пытается завуалировать свою монотонность; а может быть, полет в будущее, полет через время и пространство, который я предвосхитил и предсказал, должен был в конце концов привести лишь к таким вот мелочным альтернативам, сойти на нет в невидимых геометрических узорах из треугольников и зигзагов, прочерчиваемых мячом среди белых линий футбольного поля, линий, которые я пытался увидеть мысленным взором на дне сверкающей бездны мирового пространства, стараясь разобрать при этом на футболках игроков номера, трудноразличимые в далекой ночной мгле?

Отныне я все время обращался к этому источнику новых возможностей, держа пари на все деньги, выигранные мною прежде.

Кто мог теперь меня остановить? Постоянный скептицизм Декана лишь подзадоривал меня, побуждая рисковать еще отчаяннее. Когда я обнаружил, что попал в ловушку, было уже поздно.

Правда, я получил удовлетворение, весьма слабое, от того, что сам первым это заметил: (К)уК, видимо, не догадывался, что фортуна повернулась к нему лицом, но я-то вел счет его ехидным ухмылкам, прежде весьма редким, а теперь все более и более частым.

— Qfwfq, а ведь у фараона Аменхотепа Четвертого так и не родилось сыновей! Видишь, я выиграл.

— Qfwfq, вот видишь, Помпей не разбил Юлия Цезаря! Ну, что я говорил?

Между тем я все высчитал с абсолютной точностью, не упустив из виду ни единого фактора. Если бы мне даже пришлось начать все сначала, я бы, не задумываясь, согласился вновь держать пари.

— Qfwfq, при императоре Юстиниане в Константинополь был завезен из Китая не порох, а шелковичный червь. Или, быть может, опять я ошибся?

— Нет, нет, ты выиграл, Декан.

Конечно, я отважился предугадывать мимолетные, не поддающиеся точной оценке события, и притом делал это многократно, так что теперь у меня не было пути назад; я не в силах был ничего исправить, хотя, собственно, что я должен был

исправлять? И на каком основании?

— Так вот, Qfwfq, в конце «Утраченных иллюзий» Бальзака Люсьен де Рюбампре не покончит с собой. Его спасет Карлос Эррера, он же Вотрен, — говорил мне Декан торжествующим тоном, который появился у него с недавних пор.

— Кстати, этот Вотрен фигурирует уже в романе «Отец Горио». Ну, каков теперь дебет-кредит, Qfwfq?

Мой выигрыш постепенно таял. Я обратил свои капиталы в твердую валюту и поместил их в надежное место — в один из швейцарских банков, но теперь мне то и дело приходилось снимать крупные суммы, чтобы выплачивать очередной проигрыш. Правда, я не каждый раз проигрывал. Иногда мне случалось и выигрывать, и подчас крупно. Но теперь мы с Деканом как бы поменялись ролями: даже одержав верх, я не был уверен, что не обязан своей победой случайности и что в следующий раз мои расчеты не будут вновь опровергнуты.

Для наших целей нужна была целая библиотека справочных изданий и книг, подписка на специальные журналы и, кроме того, сложнейшие счетно-вычислительные машины. Все это, как известно, было нам предоставлено научным

фондом, к которому мы, поселившись на Земле, обратились с просьбой оказать финансовую помощь нашим исследованиям. Само собой разумеется, наши споры мы изобразили эдакой невинной забавой, и никто даже не подозревал, на какие крупные суммы заключались пари.

Официально мы жили на скромное месячное жалованье работников исследовательского центра электронных прогнозов плюс дополнительный оклад, выплачиваемый (К)уК за почетную должность Декана, которую он умудрился получить благодаря своей олимпийской невозмутимости и умению даже пальцем не пошевелить. Пристрастие (К)уК к созерцательной неподвижности возросло до такой степени, что на факультет он прикатил в кресле на колесиках, точно самый настоящий паралитик. Кстати, в интересах истины должен заметить, что титул Декана не имеет ничего общего со званием заслуженного ученого, в противном случае я имел бы на него не меньше прав, чем (К)уК; впрочем, меня это мало волнует.

Так постепенно мы пришли к следующему положению: Декан с лоджии своего уютного домика, сидя в кресле на колесиках, кричит мне, да так громко, что его слышно на другом конце

поселка:

— Qfwfq, договор об атомном оружии между Турцией и Японией не был подписан. Даже и переговоры еще не начались. Понятно тебе? — При этом ноги его буквально утопают в ворохе газет и журналов, прибывших из разных стран с утренней почтой.

— Qfwfq, женоубийца из Термини Имерезе был приговорен не к пожизненному заключению, а к трем годам тюрьмы! А я что говорил?!

Декан победоносно размахивает еженедельниками, чьи бело-черные страницы похожи на пространство в период образования галактик, и так же, как оно, полны отдельных черных корпускул, и сами по себе эти корпускулы, вокруг которых пустота, лишены смысла и цели. А я думаю о том, как чудесно было прежде вычерчивать в этой пустоте прямые линии и параболы, точно определять точку пересечения времени и пространства, в которой произойдет событие, что потом неоспоримо подтверждалось яркой вспышкой во тьме. Теперь же одно событие катится за другим неудержимо, словно серая лавина; события эти, на первый взгляд как будто бы и понятные, но лишенные всякого внутреннего смысла, располагаются рядом, длинными

колонками, вклиниваются одно в другое, разделенные лишь черными нелепыми заголовками. Эта бесформенная лава событий течет без направления, затапливая, опрокидывая и сметая всякую логику.

— Знаешь, Qfwfq, акции на Уолл-стрит перед закрытием биржи упали на два пункта, а не на шесть! Здание, незаконно построенное на виа Кассия, не девяти-, а двенадцатиэтажное. Вот так-то! И «Неарх Четвертый» выиграл заезд в Лоншане, опередив ближайшего соперника ровно на два корпуса. Ну, каков теперь дебет-кредит, Qfwfq?

Динозавры*

*** Примечания: ***
I Dinosauri.
© Перевод. Е. Солонович, 2010.



Таинственными остаются причины быстрого вымирания Динозавров, которые развивались и увеличивались в размерах на протяжении всего триасового и юрского периодов и в течение 150 миллионов лет были безраздельными властителями материков. Возможно, они не сумели приспособиться к резким изменениям климата и растительности, происшедшим в меловой период. В конце этого периода все они вымерли.

— Все, кроме меня, — уточнил старый Qfwfq, — ведь я тоже какое-то время был Динозавром, так примерно с полсотни миллионов лет, и нисколько об этом не жалею: в ту пору быть Динозавром — значило стоять на правильном пути, и мы умели заставить уважать себя.

Потом положение изменилось; не вдаваясь в подробности, скажу только, что начались всякого рода неприятности, поражения, ошибки, сомнения, предательства, эпидемии. На Земле росло новое население, враждебное нам. На нас нападали со всех сторон, мы ничего не могли поделать. Теперь вот говорят, будто упадочное настроение, жажда гибели еще раньше были свойственны нам, Динозаврам; лично я ничего подобного никогда не испытывал: а если это можно сказать о

других, то лишь потому, что они уже давно чувствовали всю безнадежность своего положения.

Я не люблю вспоминать времена великого мора. Сам я никогда бы не поверил, что останусь в живых. Путь долгих скитаний, которым я обязан своим спасением, проходил через кладбище скелетов, где только какой-нибудь гребень, рог, пластинка панциря или обрывок чешуйчатой шкуры свидетельствовали о былом великолепии тех, кому все это принадлежало при жизни. И над этими останками трудились клювы, клыки, присоски новых хозяев планеты. Когда мне перестали попадаться следы не только мертвых, но и живых, я остановился.

На этих пустынных плоскогорьях я провел многие годы. И уцелевший, несмотря на засады, голод, стужу, эпидемии, я остался один. Но вечно отсиживаться там, наверху, я не мог. И тогда я направился вниз.

Мир изменился: я не узнавал больше ни гор, ни рек, ни растений. Когда я впервые увидел живые существа, я спрятался. Это было стадо Новых — существ некрупных, но сильных.

— Эй ты!

Мне не удалось остаться незамеченным, и первое, что меня поразило, была их фамильярная

манера обращения. Я бросился наутек, они за мной. Тысячелетиями я привык наводить ужас на все живое и боялся лишь неожиданных реакций тех, на кого наводил страх. А тут хоть бы что:

— Эй ты!

Они преспокойно приближались ко мне, нисколечко не испуганные, настроенные вполне миролюбиво.

— Ты чего убегаешь? Что с тобой?

Они хотели спросить у меня дорогу куда-то, только и всего. Я пробормотал, что сам нездешний.

— А все же, что это тебе вздумалось убегать от нас? — не отставал от меня один из них. — Можно было подумать, что ты увидел… Динозавра!

И остальные засмеялись. Но в этом смехе я впервые уловил тревожные нотки. Что-то горькое слышалось в нем, в этом смехе. А один из них вдруг стал серьезным и сказал:

— Не говори так даже в шутку. Ты ведь даже не знаешь, что это такое — Динозавры.

Выходило, что Новые не избавились еще от панического страха перед Динозаврами, но, очевидно, вот уже несколько поколений Новых не видели моих сородичей и не знали, как они выглядят. Я продолжал путь, и мне не терпелось

проверить, насколько справедливо это мое заключение. У какого-то ручья я увидел юную особу из Новых. Девушка была одна. Я медленно подошел, устроился рядышком, вытянул шею и тоже стал пить. Я уже представлял себе ее отчаянный крик при виде меня, ее стремительное бегство. Разумеется, она поднимет тревогу, нагрянут в несметном количестве Новые и устроят облаву. На мгновение я пожалел о своем неосторожном поступке: если я хотел спасти шкуру, мне следовало, не раздумывая, прикончить незнакомку и по-прежнему…

Девушка повернулась ко мне и спросила:

— Ну как, хороша водичка?

И она завела со мной любезный разговор, состоявший из приличествующих случаю, ни к чему не обязывающих фраз, как бывает, когда беседуют с чужеземцем: поинтересовалась, издалека ли я, застал ли меня дождь в дороге, благоприятствовала ли вообще погода моему путешествию. Я никогда не думал, что можно вот так запросто болтать с не-Динозаврами, и потому все время держал ухо востро и почти ничего не говорил. Она сказала:

— Я всегда хожу пить сюда, к Динозавру.

Я вздрогнул, широко раскрыл глаза.

— Да, да, мы так его и называем — ручей Динозавра. С давних времен. Говорят, как-то здесь спрятался Динозавр — один из последних, — он набрасывался на каждого, кто приходил на водопой, и разрывал на куски. Какой ужас!

Мне хотелось исчезнуть. «Сейчас она сообразит что к чему, — думал я, — вот только получше приглядится и увидит, кто я такой!» — и как всякий, кто не желает, чтобы его рассматривали, я потупился и попытался спрятать предательский хвост. Нервы мои были до того напряжены, что когда она, приветливо улыбаясь, распрощалась со мной и отправилась своей дорогой, я почувствовал себя смертельно усталым, будто только что выдержал одну из былых схваток, в которых оружием служили когти и зубы. Я вспомнил, что даже не соизволил в ответ сказать ей «до свиданья».

Я вышел к берегу большой реки и увидел норы Новых. Новые жили рыбной ловлей, и я застал их за работой: они строили запруду из веток, создавая искусственный затон, где более медленное течение задерживало бы рыбу. Заметив незнакомца, они разом подняли головы, прекратили работу, посмотрели на меня и переглянулись между собой, как бы о чем-то спрашивая друг дру-

га, — и все это молча. «Плохи мои дела, — решил я про себя, — остается только подороже продать свою шкуру», — и приготовился к прыжку.

К счастью, я вовремя остановился. Эти рыбаки ничего против меня не имели: просто, увидев такого верзилу, они решили предложить мне остаться у них и работать на доставке леса.

— Место здесь надежное, — убеждали они, по-своему истолковав мою озабоченность. — Динозавров в этих краях не видно со времени дедов наших дедов…

Никому и в голову не приходило, кто я такой. Я остался. Климат там был хороший, питание, разумеется, не по нашим вкусам, но приличное, да и работа не такая уж тяжелая, если учитывать мою силу. Они дали мне прозвище — Урод, оттого что я был не таким, как они, а вовсе не почему-то там еще. Эти Новые, не знаю уж, как вы их называете: пантотерии[4] или как-нибудь по-другому (тут сам черт ногу сломит!), принадлежали к виду, до конца не определившемуся, нечеткому, и действительно, из него потом выделились все остальные виды; уже в то время между отдельными особями наблюдались самые

---

[4] Примечания: 13

Пантотерии (Pantotheria), отряд ископаемых млекопитающих. (*Прим. комп.)*

невероятные сходства и различия, так что мне, хоть я и не имел к ним никакого отношения, пришлось убедить себя, что в общем-то я не так уж бросаюсь в глаза.

Нельзя сказать, чтобы я окончательно привык к этой мысли; я постоянно чувствовал себя Динозавром, оказавшимся в стане врагов, и каждый вечер, когда они принимались рассказывать истории о Динозаврах, истории, передаваемые из поколения в поколение, я отступал в тень, и нервы у меня были напряжены до предела.

Страшные это были рассказы. Слушатели, бледные, то и дело прерывая их криками ужаса, смотрели в рот рассказчику, голос которого выдавал не меньшее волнение. Вскоре мне стало ясно, что эти истории были уже всем известны (несмотря на то что составляли весьма обширный репертуар), однако внимали им каждый раз с неизменным ужасом. Динозавры представали в них скопищем чудовищ, расписанных в таких подробностях, что после этих россказней настоящего Динозавра никак нельзя было узнать. Выходило, что мы, Динозавры, только о том и помышляли, чем бы это навредить Новым, будто главнее Новых с самого начала никого не было на Земле, а мы не ведали других забот, кроме

как гоняться за ними с утра до вечера. Мне же, когда я думал о нас, Динозаврах, представлялась длинная цепь мытарств, сомнений, потерь; истории, которые рассказывали Новые, были до того далеки от пережитого мной, что казалось, я должен был относиться к ним равнодушно, как если бы речь шла о посторонних, о ком-то незнакомом. Однако, слушая их, я ловил себя на мысли, что никогда не задумывался над тем, как мы выглядели в глазах других, и понимал, что при всем вздоре, которого в этих рассказах было предостаточно, в чем-то они, пусть даже однобоко, отражали истину. В моем сознании рассказы о том, какой ужас мы нагоняли на всех, соединялись с воспоминаниями о пережитых ужасах: чем больше я узнавал, как мы заставляли дрожать других, тем сильнее дрожал сам.

Каждый рассказывал одну историю, по кругу, и вдруг мне говорят:

— Ну-ка, Урод, а что мы услышим от тебя? Неужели тебе нечего рассказать, а? Разве в твоем роду никому не случалось сталкиваться с Динозаврами?

— Конечно, но… — бормотал я, — прошло столько времени… Ах, если б вы только знали…

Кто приходил мне на помощь в подобных

случаях, так это Цветок Папоротника, девушка, которую я повстречал у ручья.

— Да оставьте его в покое… Он чужеземец, еще не освоился здесь, плохо говорит по-нашему…

И от меня отставали. Я с облегчением вздыхал…

Между Цветком Папоротника и мной установились добрые отношения. Ничего интимного: я ни разу не осмелился даже прикоснуться к ней. Но мы подолгу разговаривали. Вернее, это она много рассказывала мне о своей жизни. Я же из страха выдать себя, вызвать у нее подозрения, которые разоблачили бы меня, отделывался общими фразами. Цветок Папоротника поверяла мне свои сны:

— Сегодня ночью я видела огромного страшного Динозавра, у него из ноздрей вырывалось пламя. Он подходит, хватает меня за голову и тащит, хочет съесть живьем. Это был жуткий сон, но я — даже странно — нисколько не испугалась, мне — как бы это объяснить? — было даже приятно…

После этого сна я должен был бы многое понять и прежде всего самое главное: Цветок Папоротника только о том и мечтала, чтобы на нее напали. Мне следовало обнять ее. Но Динозавр, живший в воображении Новых, был слишком не похож

на настоящего, на того Динозавра, каким был я, и эта мысль делала меня еще больше непохожим на их Динозавра и увеличивала мою робость. Одним словом, я упустил подходящий случай. А потом с равнины, где кончался сезон рыбной ловли, вернулся брат девушки, она оказалась под бдительным присмотром, и наши беседы стали редкими.

Этот ее брат, Цан, с первой же минуты, как увидел меня, проникся ко мне недоверием.

— Это еще кто такой? Откуда взялся? — спросил он, указывая на меня.

— Да это же Урод, чужеземец, работающий у нас на лесозаготовках, — объяснили ему. — А что? По-твоему, в нем есть что-то странное?

— Этот вопрос я хотел бы задать ему самому, — грозно произнес Цан. — Эй ты, что в тебе странного?

Как я должен был ответить ему?

— Во мне? Ничего…

— Ага, выходит, по-твоему, ты не странный. — И он засмеялся. В тот раз дело дальше не пошло, но ничего хорошего для себя я уже не ждал.

Цан был одним из самых отчаянных типов в поселке. Он пространствовал по свету и щеголял тем, что знал больше других. Стоило ему услышать

разговоры о нашем брате — Динозаврах, как он всем видом показывал, что они ему несносны.

— Сказки, — заявил он однажды. — Все это пустые сказки. Поглядел бы я на вас, если бы здесь появился настоящий Динозавр!

— Да ведь они уже давным-давно перевелись, — заметил один из рыбаков.

— Положим, не так уж давно… — ухмыльнулся Цан, — и неизвестно еще, не бродят ли их стада где-нибудь неподалеку… На равнине наши по очереди стоят в дозоре днем и ночью. Но там они хоть могут положиться друг на друга, потому что не подпускают к себе всяких бродяг, которых никто не знает… — И он намеренно задержал взгляд на мне.

Бессмысленно было затягивать эту историю: такому лучше сразу показать, что ты не намерен проглатывать оскорбления.

Я сделал шаг вперед.

— У тебя на меня зуб? — спросил я.

— У меня зуб на всех проходимцев без роду без племени, которые неведомо откуда являются, а потом объедают нас и волочатся за нашими сестрами…

Кто-то из рыбаков вступился за меня:

— Так ведь Урод зарабатывает себе на жизнь,

он трудится на совесть…

— Таскать бревна на горбу он, наверное, горазд, не отрицаю, — отпарировал Цан, — но в минуту опасности, когда нам придется защищаться когтями и зубами, кто поручится, что он поведет себя как должно?

Все заспорили. Странно, но никому даже в голову не приходило, что я могу быть Динозавром, обвинение против меня по-прежнему сводилось к одному: я был не таким, как они, был чужеземцем, а потому — неблагонадежным, и спор шел о том, в какой мере мое присутствие увеличивало опасность возвращения Динозавров.

— Хотел бы я поглядеть на него в бою, на этого молодчика с пастью ящерицы… — презрительно продолжал Цан с явным намерением довести меня до белого каления.

Я решительно подошел к нему вплотную, нос к носу.

— Можешь поглядеть хоть сейчас, если не убежишь без оглядки.

Этого он не ожидал. Он посмотрел на своих. Они стали в круг. Теперь оставалось только драться.

Я бросился вперед, увернулся, выгнув шею, от его зубов, тут же нанес ему лапой удар, перевернувший его на спину, и подмял его под себя. То

был ошибочный прием — мне ли этого не знать, я ли не видел, как умирали Динозавры от когтей и зубов, впившихся в грудь и в живот, когда сами они уже не сомневались, что обезвредили врага? Но я умел еще действовать хвостом, чтобы сохранить устойчивость, — мне не хотелось давать противнику возможности вот так же уложить меня, я напряг все силы, но чувствовал, что начинаю сдавать…

И тогда кто-то из зрителей крикнул:

— Давай, Динозавр, держись!

Поняв, что меня разоблачили, я в тот же миг снова стал самим собою, стал таким же, как прежде: терять мне было нечего, а на них, раз уж на то пошло, следовало нагнать былого страху. И я ударил Цана раз, другой, третий…

Нас разняли.

— Цан, мы же тебя предупреждали, что сил у Урода хватает. С Уродом шутки плохи!

И они смеялись, поздравляя меня, хлопая лапами по спине. Я был уверен, что меня разоблачили, и потому ничего не понимал: только позже я сообразил, что словом «Динозавр» они обычно подбадривали участников состязаний и означало оно не что иное, как: «А ну-ка, покажи ему, ведь ты сильный!», и неизвестно было даже, к кому

это относилось в данном случае — ко мне или к Цану.

С того дня меня уважали, как никого, все, в том числе и Цан, который приходил смотреть, как я работаю, чтобы лишний раз убедиться в моей силе. Должен сказать, что обычные разговоры Новых о Динозаврах со временем приобрели несколько иной оттенок, как бывает, когда надоест вечно мерить все одной и той же меркой и мода начнет меняться. Теперь у них вошло в привычку говорить, обсуждая происшествия в поселке, что между Динозаврами того-то и того-то никогда бы не случилось, что с Динозавров во многом следует брать пример, что о поведении Динозавров в той или иной ситуации (например, в личной жизни) и говорить не приходится и тому подобное. Одним словом, казалось, наступает полоса чуть ли не посмертного возвеличивания Динозавров, о которых ничего толком не знали. Однажды я не удержался:

— Не стоит преувеличивать. Ну как, по-вашему, что такое Динозавр, если уж на то пошло?

Они в один голос зашикали:

— Молчи, что ты понимаешь, если сам их никогда не видел?!

Минута была подходящая, чтобы назвать вещи

своими именами.

— А вот и видел! — воскликнул я. — И если хотите, могу вам показать, как они выглядели!

Мне не поверили, думали, что я хочу посмеяться над ними. Для меня эта их новая манера толковать о Динозаврах была столь же невыносима, как и прежняя. Потому что, уж не говоря о скорби, которую я испытывал при мысли о жестокой участи, выпавшей на нашу долю, — кто, как не я, знал жизнь Динозавров, помнил, как вредила нам ограниченность, сколько в нас было предрассудков, как все это мешало идти в ногу со временем, приспосабливаться к новым обстоятельствам! И теперь я вынужден был смотреть, как Новые берут за образец наш узкий мирок, столь отсталый, столь — скажем прямо — скучный! И они, именно они, еще навязывали мне нечто вроде священного уважения к Динозаврам, уважения, которого я никогда не испытывал! Но, в сущности, так оно и должно быть: эти Новые, разве они так уж отличаются от Динозавров золотых времен? Уверенно чувствуя себя в своем поселке с запрудами и рыбными садками, они тоже зачванились, стали самонадеянными… Порой они становились для меня так же несносны, как некогда мои собственные сородичи, и чем

больше Новые восторгались Динозаврами, тем сильнее я ненавидел и Динозавров и их.

— Знаешь, сегодня ночью мне приснилось, будто мимо нашего дома должен пройти Динозавр, — как-то сказала Цветок Папоротника, — великолепный Динозавр, принц или король Динозавров. Я прихорошилась, обвила ленту вокруг головы и подошла к окну. Я старалась привлечь внимание Динозавра, сделала ему реверанс, но он не обратил на меня внимания, даже взглядом не удостоил.

Этот сон по-новому раскрыл передо мной душу девушки, и я понял, что она думала обо мне: должно быть, приняла мою робость за презрительное высокомерие. Сейчас, воскрешая в памяти прошлое, я вижу, что мне достаточно было не разубеждать ее в этом еще какое-то время, сохраняя видимость гордой неприступности, и я бы ее окончательно завоевал. Но рассказанный сон до того растрогал меня, что я со слезами на глазах бросился к ее ногам:

— Нет, нет, о Цветок Папоротника, все не так, как тебе представляется, ты достойнее любого Динозавра, в сто раз достойнее, я чувствую, что я настолько ниже тебя…

Цветок Папоротника опешила, отступила на

шаг.

— Да ты понимаешь, что говоришь?

Нет, не этого она ждала: она растерялась, сцена показалась ей неприятной. Я понял это слишком поздно, и хоть и поспешил сделать вид, будто ничего не случилось, но все равно между нами что-то уже нарушилось, появилось чувство взаимной неловкости.

То, что произошло вскоре, заставило нас забыть это недоразумение. В поселке появились выбившиеся из сил гонцы.

— Динозавры возвращаются!

На равнине было обнаружено обезумевшее от стремительного бега стадо неведомых чудовищ. Если оно будет продвигаться с той же скоростью, завтра на рассвете поселок окажется в осаде.

Можете себе представить, какие чувства всколыхнуло в моей душе известие: вид, к которому я принадлежал, не вымер, я мог воссоединиться со своими братьями, снова зажить былой жизнью! Но в воспоминаниях об этой жизни, проснувшихся в моем сознании, я видел бесконечную цепь поражений, отступлений, опасностей — и только; быть может, начать все заново значило лишь продлить ненадолго эту агонию, вернуться к этапу, который, хотелось верить, пройден раз

и навсегда? А ведь к этому времени я наконец достиг здесь, в поселке, некоего душевного равновесия, и мне жаль было терять его.

Новых тоже обуревали противоречивые чувства. В их душах панический страх сменялся желанием восторжествовать над давним врагом, и в то же время они считали, что, коль скоро Динозавры выжили и теперь наступают, мечтая о реванше, значит, никто не может их остановить, и не исключено, что победа Динозавров, как бы жестоки ни были победители, послужит ко всеобщему благу. Иначе говоря, Новые хотели и защищаться, и спасаться бегством, и уничтожить врага, и оказаться побежденными; и неуверенность эта сказывалась в той неорганизованности, с какой они готовились к обороне.

— Стойте! — крикнул Цан. — Среди нас лишь один способен взять на себя командование! Самый сильный из нас, Урод!

— Правильно! Нами должен командовать Урод! — хором откликнулись остальные. — Да, да, пусть Урод принимает командование! — И они вытянулись передо мной по стойке «смирно».

— Да нет, неужели вы хотите, чтобы я, чужеземец… Я недостоин! — возражал я. Но переубедить их было невозможно.

Что оставалось делать? В ту ночь я не сомкнул глаз. Голос крови повелевал мне дезертировать и присоединиться к братьям, тогда как чувство долга по отношению к Новым, которые приняли меня и приютили, подсказывало, что я должен оставаться на их стороне. Но в то же время я прекрасно знал, что ни Динозавры, ни Новые не заслуживали того, чтобы пальцем ради них шевельнуть! Если Динозавры стремились восстановить свое господство путем нашествий и кровопролитий, значит, опыт ничему их не научил, значит, они выжили лишь по ошибке. А Новые — это было очевидно, — возложив на меня командование, нашли наиболее удобный выход из положения: всю ответственность взвалили на чужеземца, и этот чужеземец мог стать или их спасителем, или в случае поражения — козлом отпущения, которого не жалко выдать неприятелю, чтобы задобрить его; наконец, он мог стать изменником, который, предав Новых врагу, осуществил бы их тайную мечту оказаться под властью Динозавров. Одним словом, я не желал знать ни тех, ни других, мне было на них на всех наплевать — пусть себе перебьют друг друга до последнего. Я должен был, пока не поздно, бежать, оставить их вариться в собственном соку,

не вмешиваться в эти старые дрязги.

В ту же ночь, крадучись в темноте, я выбрался из поселка. Первым моим побуждением было убраться подальше от поля боя, вернуться в мои тайные убежища; но любопытство оказалось сильнее: мне хотелось увидеть себе подобных, знать, кто окажется победителем. Я укрылся на вершине скалистых гор, высящихся над излучиной реки, и стал ждать рассвета.

Когда занялось утро, на горизонте показались какие-то фигуры. Они стремительно приближались. Еще раньше, чем мне удалось их как следует разглядеть, я мог поручиться, что передо мной не Динозавры: чтобы хоть один Динозавр бежал так неуклюже, это для меня исключалось. Когда же я узнал Носорогов, я не ведал — смеяться мне или плакать. Да, то было стадо первых Носорогов, крупных, нескладных, покрытых роговыми наростами, но совершенно безобидных — им бы только пощипать травки. Так вот кого Новые приняли за древних царей Земли!

Стадо Носорогов пронеслось с шумом, подобным грому, остановилось подкрепиться кустарником и вновь устремилось к горизонту, даже не заметив укреплений рыбаков.

Я бегом вернулся в поселок.

— Вы ничего не поняли! Это не Динозавры! — возвестил я. — Носороги, вот это кто! Они уже ушли! Опасность миновала! — И добавил, желая оправдать свое дезертирство: — Я ходил в разведку! Чтобы все выяснить и сообщить вам!

— Мы могли, конечно, не понять, что это были не Динозавры, — спокойно заметил Цан, — зато мы поняли, что ты не герой. — И он показал мне спину.

Разумеется, они разочаровались и в Динозаврах и во мне. Теперь их рассказы о Динозаврах уступили место анекдотам, где страшные чудовища выглядели комическими персонажами. Но меня больше не трогало это убожество Новых, я оценил наконец величие духа, заставившее нас предпочесть исчезнуть с лица земли, чем жить в мире, который нам больше не принадлежал. Если я еще жил, то лишь потому, что Динозавр продолжал чувствовать себя Динозавром среди этого народишка, прикрывавшего банальными шуточками царивший в нем страх. Впрочем, что еще оставалось им делать?

И у Цветка Папоротника отношение к Динозаврам изменилось; об этом ясно свидетельствовал ее очередной сон.

— Там был Динозавр, неуклюжий, зеленый-

презеленый, и все издевались над ним, дергали его за хвост. Тогда я вышла вперед и заступилась за него, увела, приласкала. И я поняла: при всем том, что он был такой смешной, это было самое грустное создание на свете, и из его красновато-желтых глаз ручьями лились слезы…

Что испытал я при этих словах? Было ли мне унизительно отождествлять себя с героем сна? Отвергал ли я чувство, которое, казалось, с некоторых пор основывалось на жалости? Возмущало ли меня то пренебрежение, с каким все они стали относиться к Динозаврам?

Я почувствовал прилив гордости. С видом превосходства я презрительно бросил ей в лицо:

— Вечно ты пристаешь ко мне со своими детскими снами! Тебе и присниться-то ничего путного не может, одни глупости!

Цветок Папоротника расплакалась. Я повернулся и ушел, пожав плечами. Это случилось на плотине, мы были не одни; рыбаки, правда, не слышали разговора, но заметили, что я был вне себя, заметили ее слезы. Цан счел своим долгом вмешаться.

— Ты кем это себя возомнил, — спросил он резко, — что позволяешь себе невежливо обращаться с моей сестрой?

Я остановился, но отвечать не стал. Если он собирается драться — пожалуйста, я готов. Но в последнее время в поселке появилась новая мода — они все обращали в шутку. Из толпы рыбаков кто-то крикнул фальцетом:

— Валяй, валяй, Динозавр!

Я знал, что это шутливое выражение, недавно вошедшее в обиход и означавшее: «Не петушись, не ерепенься», или что-нибудь в том же духе. Но меня оно только распалило.

— А я и есть Динозавр, если хотите знать! — вскричал я. — Да, да, именно! Если вы никогда в жизни не видели Динозавров, то вот один из них перед вами, полюбуйтесь!

Раздался дружный хохот.

— Я вчера видел одного, — сказал кто-то из стариков, — он вылез из-под снега.

Все тут же замолчали. Этот старик недавно вернулся с гор. Оттепель растопила старый ледник, скрывавший скелет Динозавра.

Весть разнеслась по поселку.

— Пошли смотреть Динозавра!

Все устремились на гору, и я тоже.

Миновав морену, покрытую поваленными стволами, скелетами птиц, я увидел широкую котловину. Первый лишайник покрыл прозеле-

нью валуны, освобожденные ото льда. Посреди котловины, вытянувшись будто во сне, покоился скелет гигантского Динозавра; просветы между позвонками удлиняли его шею, огромный хвост извивался змеей. Грудная клетка вздымалась дугой, как парус, и, когда ветер ударял в гладкие полукружия ребер, казалось, что под ними все еще бьется невидимое сердце. Череп был повернут назад, пасть разинута, словно в последнем крике.

По дороге Новые радостно горланили, но вот они увидели череп, сверливший их взглядом пустых глазниц, и, умолкнув, остановились поодаль; потом отвернулись, охваченные новым приступом неуместного веселья. Достаточно было кому-нибудь из них перевести взгляд со скелета на меня, неподвижно стоявшего рядом, и ему стало бы ясно — это скелет моего двойника. Но никто этого не сделал. История этих костей, этих зубов, этих смертоносных клыков звучала на языке, уже не поддававшемся расшифровке, и никому больше не напоминала ничего, кроме красивого имени, не связанного с реальностью сегодняшнего дня.

Я продолжал рассматривать скелет — скелет Отца, Брата, Себе Подобного, Самого Себя, я видел

как бы свои собственные обнаженные кости, узнавал свои очертания, отпечатавшиеся на камне, все то, чем мы были когда-то и чем перестали быть, наше величие, наши грехи, нашу гибель.

Теперь этим останкам суждено было сделаться составной частью пейзажа для тех, кто возомнил себя новыми завоевателями планеты, разделить участь имени «Динозавр», превратившегося в пустой, бессмысленный звук. Все, что имело отношение к истинной природе Динозавров, должно было остаться втайне. Ночью, пока Новые спали вокруг украшенного флагами скелета, я перенес и похоронил — косточка за косточкой — моего покойного сородича.

Наутро Новые не обнаружили скелета. Они недолго ломали себе голову над причинами его бесследного исчезновения. К тайнам Динозавров прибавилась еще одна. Вскоре все забыли, как он выглядел.

Но зрелище скелета оставило след в сознании Новых, отныне представление о Динозаврах они связывали с представлением о горьком, бесславном конце, и теперь в их рассказах преобладал оттенок сострадания, боли за нас, мучеников. Я не знал, куда деваться от этой жалости. Кого

они жалели? Если когда-нибудь хоть один вид достиг полного развития, если хоть один вид долго и счастливо властвовал на Земле, то это были мы. Наша смерть явилась величественным эпилогом, достойным славного прошлого. Что они понимали, эти глупцы? Меня так и подмывало зло посмеяться над ними, рассказывать им небылицы всякий раз, как я слышал их сюсюканье о бедных Динозаврах. Все равно теперь уже никто не понял бы правды о Динозаврах, она была тайной, которую мне суждено хранить лишь для самого себя.

Как-то в поселке остановилась ватага бродяг. Среди них была юная особа. Увидев ее, я вздрогнул. Если зрение меня не обманывало, в ней текла не только кровь Новых: это была Мулатка, и без Динозавра тут не обошлось. Знала ли она об этом? Нет, конечно, судя по тому, как непринужденно она держалась. Быть может, не один из ее родителей, а кто-то из дедов, прадедов или даже прапрадедов был Динозавром, и от него она унаследовала свойственные нашей породе манеры, движения, давно ни о чем не напоминавшие никому, в том числе и ей самой. Это было прелестное веселое создание, у нее тотчас появились поклонники, и самым ретивым и влюбленным

из них был Цан.

Начиналось лето. Молодежь устраивала праздник у реки.

— Пойдем с нами, — пригласил меня Цан, который после стольких ссор старался показать, что по-прежнему остается моим другом, и тут же снова пристроился рядом с Мулаткой.

Я приблизился к Цветку Папоротника. Кажется, пришло время выяснить отношения, помириться.

— Что тебе снилось сегодня ночью? — спросил я, чтобы завязать разговор.

Она не подняла головы.

— Я видела раненого Динозавра, который корчился в агонии. Он уронил благородную усталую голову, он так страдал… Я смотрела на беднягу, не могла оторвать от него глаз и вдруг почувствовала, что мне приятно видеть его страдания…

Губы Цветка Папоротника были растянуты в недоброй улыбке, которой прежде я у нее не замечал. Мне хотелось показать ей, что к этой мрачной игре двойственных чувств лично я не имею никакого отношения, только и всего: я был существом, наслаждающимся жизнью, наследником счастливого племени. Я стал приплясывать вокруг нее, обдал ее брызгами, ударив хвостом

по воде.

— Ты только и умеешь, что ныть, — бросил я. — Хватит, давай лучше потанцуем.

Она меня не поняла и промолчала, недовольно скривившись.

— Ну что ж, раз ты со мной не танцуешь, приглашу другую! — воскликнул я и, взяв за лапу Мулатку, увел ее из-под носа у Цана, который сначала не сообразил, что произошло, провожая Мулатку влюбленными глазами, а когда рассвирепел от ревности, было уже слишком поздно: мы плыли к противоположному берегу, чтобы укрыться там в кустарнике.

Может быть, мне хотелось только показать Цветку Папоротника, что она все-таки имеет дело с мужчиной, опровергнуть ее представление обо мне, как всегда неверное. А возможно, на этот шаг меня толкнула старая обида на Цана, который снова навязывался мне в друзья. Или же виной всему послужила внешность Мулатки: ее формы, чем-то родные и в то же время необычайные, возбуждали во мне желание, вселяли в меня уверенность, что с ней все будет просто, без недомолвок и тягостных воспоминаний…

Наутро бродяги собирались в путь. Мулатка согласилась провести ночь в зарослях. Я ласкал

ее до рассвета.

Это были лишь эпизоды в целом спокойной и бедной событиями жизни. Я похоронил в молчании правду о себе и об эпохе нашего господства. О Динозаврах уже почти никто не говорил; возможно, никто больше не верил, что они вообще когда-либо существовали. Даже Цветку Папоротника они перестали сниться.

Но однажды она вдруг говорит мне:

— Я видела сон, будто в пещере живет последний представитель рода, название которого всеми забыто, и я пошла туда, чтобы спросить его имя. Там было темно, я знала, кто он, но не видела его, я прекрасно знала, кто он и как выглядит, но не могла бы описать его, и я не понимала, я ли отвечала на его вопросы или он на мои…

Для меня это было признаком того, что мы наконец начинаем понимать друг друга, что она тоже ищет близости со мной, о чем я мечтал с тех самых пор, когда впервые подошел к ручью, когда не знал еще, суждено ли мне остаться в живых.

С того дня я многое понял, и прежде всего — как побеждают Динозавры. Раньше я считал, что исчезновение было для моих сородичей благородным признанием поражения; теперь же я знал: чем больше вымирает Динозавров,

тем шире простирается их господство, причем в чащах куда более бесконечных, нежели те, что покрывают материки: в дебрях мыслей у тех, кто выжил. Из сумрака страхов и колебаний теперь уже безвестных поколений они продолжали вытягивать шеи, вздымать когтистые лапы, и, когда последняя тень их образа стерлась, имя их по-прежнему продолжало перерастать все значения, увековечивая присутствие Динозавров в отношениях между живыми существами. Теперь, когда стерлось даже имя, им суждено было затеряться среди безмолвных и безымянных штампов мысли, в которых представления обретают форму и содержание, — представления Новых и тех, кто должен был прийти им на смену, и тех, кому суждено явиться еще позже.

Я посмотрел вокруг. Поселок, где некогда я появился чужеземцем, я мог теперь с полным правом называть своим и своей мог назвать девушку по имени Цветок Папоротника — настолько, насколько это может сделать Динозавр. Вот почему, молча кивнув девушке на прощание, я расстался с ней, покинул поселок, ушел навсегда.

По дороге я глядел на деревья, реки и горы и не мог больше отличить те из них, что были еще во

времена Динозавров, от тех, которые появились позже.

Вокруг нор расположились бродяги. Я издали узнал Мулатку, по-прежнему привлекательную, чуть-чуть располневшую. Избегая встречи, я укрылся в лесу и оттуда смотрел на нее. За ней следовал сынишка, который едва перебирал ногами, виляя хвостом. Сколько времени я не видел маленького Динозавра, Динозавра до мозга костей, столь совершенного и настолько не ведающего, что означает имя «Динозавр»?

Я подождал его на лесной поляне, мне хотелось поглядеть, как он играет, гоняется за бабочками, ударяет кедровой шишкой о камень, выбивая из нее орехи. Я подошел к нему. Да, это был мой сын.

Он посмотрел на меня с любопытством.

— Ты кто? — спросил он.

— Никто, — ответил я. — А ты знаешь, кто ты?

— Вот сказал! Да это все знают: я Новый! — заявил он.

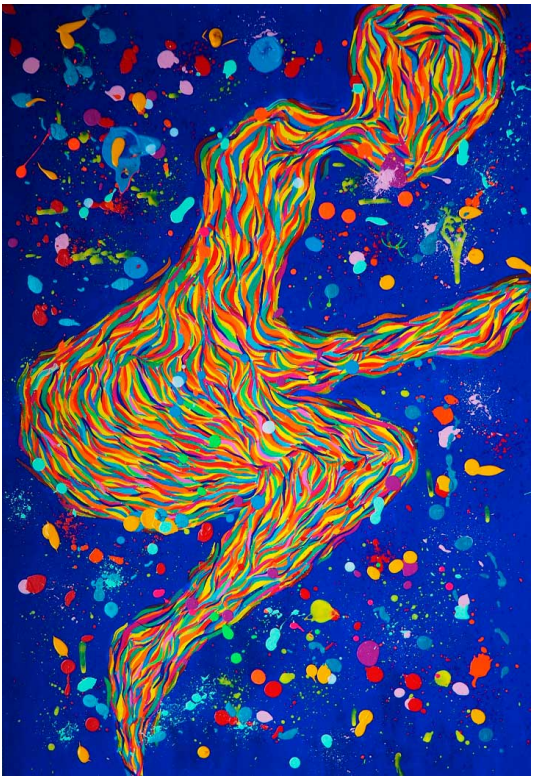
Именно это я и ожидал услышать. Я погладил его по головке, сказал ему: «Молодец!» — и ушел.

Я пересек горы и равнины. Вышел к станции, сел в поезд, затерялся в толпе.

Форма пространства*

Полина Уэлчер. Бытовой космос. 2020

*** Примечания: ***
La forma dello spazio.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



Уравнения гравитационного поля, устанавливающие связь между искривлением пространства и распределением материи, подсказаны элементарным здравым смыслом.

Что значит падать в полной пустоте, как падал я, никто из вас не знает. Для вас ведь падать — это кувыркаться вниз с двадцатого, к примеру, этажа или там с самолета, развалившегося на лету: ну, выпал вверх тормашками, немного в воздухе подергал членами — и хрясь об землю! Я же говорю о временах, когда внизу не имелось никакой земли или чего-нибудь другого твердого, как не имелось ни единого небесного тела где-нибудь вдали, которое могло бы притянуть нас на свою орбиту. Вот так вот, в полной неопределенности, и падали мы неопределенно долго. Я низвергался к крайнему, как я воображал, пределу, но, долетев до него, видел, что предел, должно быть, куда ниже, еще очень далеко и до него еще падать и падать. Не существовало никаких ориентиров, и поэтому неясно было, быстро падаю я или медленно. А если вникнуть, не было и доказательств того, что я и в самом деле падал. Может, я висел в одной и той же точке или возносился вверх, но так как не было верха и низа и вообще это вопрос

названий, отчего бы мне было и далее не думать, что я падал, как само собой и думалось.

Итак, если считать это падением, то падали мы все с одной и той же скоростью и без каких-либо рывков, и все — я, Урсула Н'х и Лейтенант Фенимор — все время находились примерно на одной и той же высоте. Я не отводил глаз от Урсулы Н'х, которая была чертовски хороша собою и в падении сохраняла непринужденную, расслабленную позу, в надежде нет-нет да и поймать ее взгляд, но она сосредоточенно подпиливала и полировала свои ногти или причесывала длинные прямые волосы, не глядя в мою сторону. Должен заметить — и на Фенимора тоже, хотя тот из кожи лез, чтобы привлечь ее внимание.

Однажды я застал его — он думал, я не вижу, — в момент, когда он делал Урсуле Н'х какие-то знаки: сперва постукивал одним указательным пальцем о другой, потом вращал кистью руки, потом указывал куда-то вниз. Похоже, пробовал договориться о свидании где-то там внизу. Но я прекрасно знал, что это вздор: любые встречи исключались, так как падали мы параллельно и расстояние между нами не менялось. Но то, что Лейтенанту пришли в голову такие мысли и что он пытался их внушить Урсуле Н'х, действовало

мне на нервы, хоть она не соглашалась, даже чуть заметно фыркала — по-моему, явно в адрес Фенимора. (Дело в том, что, падая, Урсула Н'х лениво поворачивалась вокруг своей оси, словно нежась в собственной постели, так что было не вполне понятно, адресуется она к кому-нибудь конкретно или, как обычно, просто забавляется.)

Я и сам, конечно, бредил встречей с ней, но, двигаясь по прямой, которая была строго параллельна линии ее падения, не видел смысла обнаруживать свое несбыточное желание. Само собой, если смотреть на вещи с оптимизмом, оставалась вероятность, что при продолжении наших параллельных линий до бесконечности они когда-нибудь пересекутся. Это оставляло мне какую-то надежду, более того, держало в постоянном возбуждении. По правде говоря, я так мечтал о встрече наших параллелей, так подробно представлял ее, что ощущал это как часть своего опыта, как будто бы я пережил это на самом деле. Все могло произойти с минуты на минуту, просто и естественно: после столь долгого раздельного движения, не позволявшего приблизиться друг к другу ни на пядь, после того, как столько времени Урсула Н'х была для меня посторонней, пленницей сторонней — параллельной моей — трассы,

неощутимое до той поры пространство станет наконец и более напряженным, и одновременно более расслабленным, сгущение пустоты, произошедшее под действием не внешних, а заключенных в нас самих причин, соединит меня с Урсулой Н'х (я закрывал глаза и видел, как она приближается в уже знакомой мне, хотя и не вполне обычной для нее, Урсулы, позе: руки прижаты к бедрам, а запястья выгнуты, словно она потягивается и в то же время извивается, точно ползущая змея), и две невидимые линии — ее движения и моего — сольются в одну линию, по которой устремится уже объединение нас двоих после того, как потаенная мягкая часть ее, Урсулы, примет, чтобы не сказать — охватит, чуть ли не втягивая, ту — гораздо более напряженную — часть меня, которая так жаждала попасть туда, страдая от одиночества, от изоляции и сухости.

Но даже самые прекрасные грезы, случается, вдруг превращаются в кошмары, и мне сейчас пришло на ум, что наши параллели могут пересечься в точке, где пересекаются все параллельные линии, какие только есть в пространстве, и тогда Урсула в этой точке встретится не только со мной, но и — о ужас! — с Лейтенантом Фенимором! В тот же самый миг, когда Урсула перестанет

быть мне посторонней, этот — вот уж в самом деле посторонний! — черноусый тип станет обязательным участником всех наших отношений! Едва я это осознал, как начали меня одолевать ужасные галлюцинации. Мне чудилось, что наши с Урсулой крики радости, дарованной сближением, сливаются в порывисто-ликующий унисон, и вдруг из этого созвучия — я прямо весь похолодел! — выделяются пронзительные вопли ее, Урсулы Н'х, насилуемой — представлялось мне, одолеваемому завистью и злобой, — сзади, и одновременно раздается пошло-торжествующий крик Лейтенанта. Но, возможно, — тут я просто стал сходить от ревности с ума, — их крики окажутся не столь различными и зазвучат не диссонансом, а сольются в единый вопль наслаждения, контрастирующий с тем безудержным криком отчаянья, в котором будет надрываться мое горло.

Так я падал, то надеясь, то страшась, и не переставал высматривать в пространстве признаки уже происходящих или только намечающихся изменений. Пару раз я различал по сторонам какие-то вселенные, но были они далеко и выглядели совсем маленькими. Еле успевал заметить несколько галактик — перекрывавшие друг друга

россыпи мерцающих точек, которые вращались, издавая еле слышное гудение, и так же неожиданно, как появились, исчезали где-то вверху или сбоку, так что впору было сомневаться, не привиделось ли мне.

— Вон, вон! Гляди! Вон там вселенная! Смотри туда! Там что-то есть! — кричал я, указуя в нужном направлении, Урсуле Н'х, пока та, прикусив язык, самозабвенно оглаживала свои ноги в поисках редчайших и почти невидимых на гладкой чистой коже волосков, которые она выдергивала, складывая ногти наподобие пинцета. Сделать вывод, что она услышала мои призывы, можно было лишь, когда она вытягивала ногу кверху, — видимо, желая использовать для методичного осмотра своих ножек отражаемый далекой твердью слабый свет.

Излишне говорить, какое пренебрежение демонстрировал в подобных случаях к, возможно, совершенным мной открытиям Фенимор: он пожимал плечами, — отчего на нем подскакивали портупея, погоны и зачем-то нацепленные им награды, — и, усмехаясь, отворачивался. Разумеется, иное дело было, если сам он (когда не сомневался в том, что я смотрю в другую сторону), с тем чтобы вызвать интерес Урсулы (тут

уж наступала моя очередь смеяться, видя, что в ответ она лишь, кувырнувшись, поворачивалась к нему задом: телодвижение, что и говорить, не самое почтительное, но красивое на вид, так что, порадовавшись унижению соперника, я обнаруживал, что и завидую ему, как удостоившемуся особой чести), указывал на зыбкую точку, мчавшуюся сквозь пространство, с криком:

— Вон, вон! Какой-то мир! Какой большой! Я видел! Это мир!

Я не хочу сказать, что он определенно врал: утверждения такого рода могли быть как истинными, так и ложными. Время от времени мы, безусловно, проносились на некотором расстоянии от какого-нибудь мира (или какой-нибудь мир проносился на некотором расстоянии от нас), но было непонятно, то ли это разные миры, рассеянные в пространстве, то ли, двигаясь по кругу, мы периодически встречаемся с одним и тем же, то ли никакого мира нет, а то, что вроде бы мы видели, — мираж, возможно, некогда существовавшего мира, образ какового переборки пространства так с тех пор и отражают друг друга наподобие эха. А может быть, миры всегда нас плотно окружали, и не думая куда-то двигаться, как никуда не двигались и мы, и все всегда пре-

бывало в неподвижности, вне времени, во тьме, которую лишь иногда пронзало быстрое мерцание, когда кому-то или же чему-то удавалось на мгновенье вырваться из этого оцепенелого безвременья и обозначить видимость движения.

Во всех этих гипотезах, равно заслуживающих внимания, мне было важно только то, что относилось к нашему падению, только — удастся ли мне прикоснуться к Урсуле Н'х. Никто на самом деле ничего не знал наверняка. Так почему же этот наглый Фенимор иной раз выражал всем своим видом превосходство, словно был уверен в своей правоте? Этот субъект заметил: самый верный способ разозлить меня — прикинуться, как будто он давно знаком с Урсулой Н'х. Она с какого-то момента начала в падении раскачиваться, сжав колени и смещая тяжесть тела из стороны в сторону, причем выписывала таким образом все более размашистый зигзаг, чтобы хоть как-нибудь разнообразить это бесконечное падение. Тогда раскачиваться стал и Лейтенант, стараясь делать это в том же ритме, словно двигаясь той же невидимой дорожкой, даже словно бы танцуя под слышимую только им двоим мелодию, которую он даже будто бы насвистывал, вкладывая в это некий угодный ему — только ему! — смысл,

намек на некую игру старых товарищей по развлечениям. Он блефовал, мне ли не знать, но этого хватило, чтобы я внушил себе, что встреча их, возможно, уже состоялась давным-давно, в начале их траекторий, и это показалось мне ужасно оскорбительным и совершенно мною не заслуженным. Но ежели Урсула Н'х и Лейтенант когда-то находились рядом, значит, траектории их падения в дальнейшем разошлись и, вероятно, продолжают расходиться и сейчас. Тогда, вполне возможно, медленно, но неуклонно отдаляясь от Лейтенанта, Урсула приближается ко мне, и Фенимору нечего гордиться тем, что было, ибо будущее — за мной.

Придя к такому выводу, я все равно не чувствовал себя спокойно: одна мысль о возможной встрече Урсулы Н'х и Лейтенанта наносила мне незаживающую рану. Добавлю к этому, что прошлое и будущее были для меня расплывчатыми и неразличимыми понятиями; моя память ограничивалась бесконечным настоящим, в котором совершалось наше параллельное падение, а то, что, может быть, имело место в прошлом, относилось к тому же призрачному миру, что и будущее, и сливалось с ним. Поэтому я также мог предположить, что если некогда из некой точки вышли

две, как позже выяснилось, параллельные линии, то это были параллели, по которым двигались Урсула Н'х и я (и в этом случае мое нетерпеливое стремление к встрече с ней подпитывалось и тоскою по утраченному единству). Поверить в это я был не готов — не только потому, что это значило бы, что Урсула от меня все больше отдаляется, рискуя угодить в торчащие из рукавов мундира лапы Лейтенанта, но и, главным образом, по той причине, что, пытаясь выбраться за рамки настоящего, я попадал в какое-то другое настоящее, не в состоянии представить себе ничего иного.

Секрет, возможно, заключался вот в чем: нужно вжиться в собственное состояние падения настолько, чтоб суметь понять, что траектория его на самом деле не такая, как кажется, то есть суметь ее так изменить, как только изменить ее и можно, — чтобы эта траектория стала такой, какой она на самом деле и была. Но эта мысль пришла мне в голову не в результате самоуглубления, а в тот момент, когда, окидывая влюбленным взглядом Урсулу Н'х и думая, какая же она красивая и сзади, я отметил, что при прохождении вдали некой системы созвездий у Урсулы выгнулась спина и дрогнул зад, то есть отметил я не столько эту дрожь как тако-

вую, сколько то, как нечто рядом отклонилось и скользнуло по нему, доставив этим ее заду, судя по его реакции, определенную приятность. Это мгновенное впечатление заставило меня взглянуть на ситуацию иначе: ежели пространство, что-то содержащее, действительно отлично от пустого в связи с тем, что всякий материал вызывает его искривление или растяжение, вынуждающее и все заключенные в нем линии растягиваться или искривляться, тогда линии движения каждого из нас прямы тем единственным манером, каким только прямая и может быть прямой, и искажаются в той мере, в какой ясная гармония тотальной пустоты искажена бывает сгустком материи при огибании этой пустотой той шишки, бородавки или опухоли, каковую представляет собой мир в пространстве.

Я продолжал ориентироваться по Урсуле Н'х, кругообразное движение которой позволяло думать, что падали мы, будто ввинчиваясь в пространство или из него вывинчиваясь, как бы по спирали, то сжимавшейся, то расширявшейся. Но если присмотреться, было видно, что Урсула отклонялась то в одну, то в другую сторону и, стало быть, рисунок нашего падения на самом деле был сложнее. То есть мир скорее представлял собой

не грубое вздутие, торчащее как репа из земли, а угловатую остроконечную фигуру, граням, выступам и впадинам которой соответствовали углубления, выпуклости и зубцы пространства и линий нашего движения. Но этот схематичный образ годился бы, имей мы дело с твердым гладким телом, комбинацией многогранников или скоплением кристаллов, в то время как пространство, сквозь которое мы двигались, было фигурным и ажурным, со шпилями и гребнями крыш, расходившимися во все стороны, с куполами, балюстрадами и перистилями, с двух- и трехарочными окнами и окнами, похожими на розы, и, думая, что падаем отвесно, на самом деле мы скользили по краям невидимых карнизов и лепнины, словно муравьи, бегущие в городе не по брусчатке мостовых, а по стенам, потолкам, карнизам, люстрам. При слове «город» представляешь правильные формы, прямые углы, симметричные пропорции, однако нужно постоянно помнить, как изрезано пространство вокруг каждого вишневого дерева и каждого листика на каждой ветке, колышущейся на ветру, и каждого из зубчиков каждого листика, и как оно сообразуется с любой прожилкой на любом листке и с каждым из невидимых отверстий, которые

все время пробивают в листьях стрелы света, со всеми, так сказать, отливочными формами для пустоты, так что на самом деле нету ничего, что в пустоте не оставляло бы следа, она полна всех мыслимых следов всех мыслимых явлений и следов всех превращений всех этих следов, так что вскочивший на носу халифа прыщ и опустившийся прачке на грудь мыльный пузырь меняют общую форму пространства во всех измерениях.

Поняв, как устроено пространство, я обнаружил, что в нем таятся полости, мягкие и уютные, как гамаки, куда могли б забраться мы с Урсулой и покачиваться там, покусывая друг друга. Ведь пространство соединяет параллели, находящиеся от него по сторонам, и если я, к примеру, попаду в извилистую пещеру, а Урсулу в то же время втянет в сообщающуюся с этой пещерой галерею, то мы сможем с ней кататься по ковру из водорослей, покрывающему нечто вроде субпространственного островка, сплетаясь в разных позах, пока наши траектории не выпрямятся вновь, не устремятся каждая своей дорогой, будто ничего подобного и не было.

Пространство было пористое, с расселинами и наносами. При желании можно было выследить, когда путь Лейтенанта Фенимора будет прохо-

дить по дну извилистого каньона, и, засев в засаде наверху, в нужный миг обрушить на него всю свою тяжесть, постаравшись угодить по шейным позвонкам. Дно этих бездн было каменистым, словно высохшее русло горного потока, так что, когда Фенимор свалился, голова его застряла между каменными выступами.

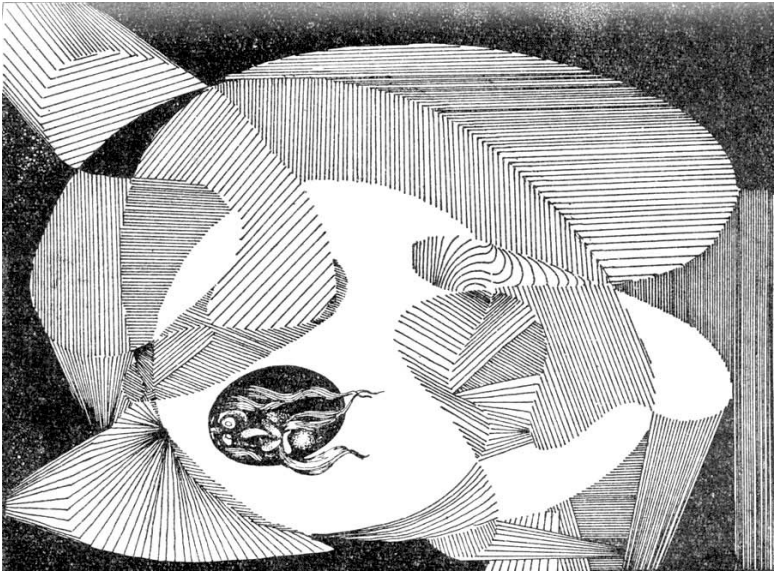
Подскочив, я надавил ему коленом на живот, но он прижал костяшки моих пальцев к кактусу, — а может, к иглам дикобраза? — в любом случае, к колючкам, соответствующим острым выемкам в пространстве, — чтобы я не смог взять пистолет, который выбил у него ногой, — и миг спустя я уже задыхался, погруженный головой в пескообразную, зыбучую часть пространства. Пока я — ослепленный, ошарашенный — отплевывался, Лейтенант смог подобрать свой пистолет, и у меня над ухом просвистела пуля, отклоненная разрастанием пустоты в форме термитника. Когда же я уже чуть было не схватил его за горло, чтобы удавить, руки мои столкнулись в пустоте: маршруты наши снова стали параллельны, и мы с Фенимором снова падали на прежнем расстоянии друг от друга, нарочито повернувшись в разные стороны, как будто мы друг с другом незнакомы.

На самом деле траектории нашего движения, которые можно счесть прямыми линиями, скорее все-таки напоминали строчки со вставками и сносками, набросанные на листке пером кем-то, спешившим поскорее закончить изложение, состоящее из череды неточностей. Так что и я, и Лейтенант, преследуя друг друга, пользовались «домиками» буквы «**л**», прежде всего в слове «параллели», для стрельбы и в качестве укрытия от пуль, а также чтобы, притворяясь мертвым, там дождаться, когда этот Фенимор будет проноситься мимо, подставить ему ножку и поволочь его, мерзавца, за ноги, чтобы он бился подбородком о низушки почти неразличимых в рукописном варианте «**н**», «**м**», «**и**», похожие на углубления в булыжной мостовой, — к примеру, в словосочетании «одномерный мир», — и бросить его распростертым там, где все исчеркано настолько, что ничего не разобрать. Потом подняться, с головы до ног в чернилах, и кинуться к Урсуле Н'х, которая, хитрюга, норовит забраться в петли «**ф**», сужающиеся почти до полного исчезновения просветов, но я ее, схватив за волосы, заваливаю на «**б**» или на «**в**», какими я сейчас пишу их второпях, — с таким наклоном, что на них можно лежать, — после чего мы обустраиваем себе нишу

внизу «**у**» в слове «внизу», — подземную нору, которую можно подогнать к нашим размерам, сделать более уютной и почти что незаметной, разместить горизонтально и улечься поудобнее. Хотя, конечно, черные ниточки самих линеек более, чем буквы и слова, подходят для того, чтоб превратить их в бесконечные параллельные прямые, не значащие ничего, кроме самих себя, в пространстве не пересекающихся, так, как в нашем нескончаемом падении не встречаемся и мы — я, Урсула Н’х, Лейтенант Фенимор и остальные.

Световые годы*

*** Примечания: ***
Gli anni-luce.
© Перевод. С. Ошеров, 2010.



Чем больше расстояние, которое отделяет от нас какую-нибудь галактику, тем выше скорость, с которой она удаляется. На расстоянии десяти миллиардов световых лет галактика должна достигнуть скорости света, то есть 300 000 километров в секунду. «Мнимые звезды», открытые недавно, приближаются к этому пределу.

— Однажды ночью, — рассказывал старый Qfwfq, — я, по обыкновению, глядел на небо в телескоп. Вдруг я заметил, что на галактике, отстоящей на сто миллионов световых лет, торчит плакат. На нем было написано: «Я тебя видел». Я быстро подсчитал: свету этой галактики нужно сто миллионов лет, чтобы дойти до меня, и они там тоже видят все, что происходит у нас, с опозданием на сто миллионов лет, значит, тот момент, когда они меня видели, был двести миллионов лет назад.

Еще прежде, чем я успел проверить по своей записной книжке, что я делал в тот день, меня охватило тяжелое предчувствие: именно двести миллионов лет назад, день в день, со мной случилась одна история, которую я всегда старался скрыть. Я надеялся, что со временем этот эпизод будет совершенно позабыт; он никак не согла-

совывался — так по крайней мере казалось мне — со всем моим поведением до и после того, и я был уверен, что, если бы кто-нибудь попытался вытащить его на свет, я мог бы совершенно спокойно все опровергнуть, не только потому, что никто уже не в силах был бы представить доказательства, но и потому, что случай, вызванный такими исключительными обстоятельствами, даже если бы его удалось установить доподлинно, выглядел бы столь неправдоподобно, что и я сам с чистой совестью имел бы право считать его небывшим. И вот оказалось, что с какого-то отдаленного небесного тела меня видели, и теперь вся история снова выплыла наружу.

Разумеется, я мог объяснить, как все произошло и как такое вообще могло произойти, и сделать мое поведение если и не простительным, то, во всяком случае, понятным. Я подумал, что мне тоже нужно немедленно выставить в ответ плакат и написать на нем что-нибудь в свое оправдание: «Дайте мне все объяснить», или: «Хотел бы я посмотреть, что бы вы делали на моем месте», однако этого было явно недостаточно, а если писать все как есть, то надпись выйдет слишком длинной и ее никак нельзя будет прочесть на таком расстоянии. Но прежде всего мне не следовало

поступать опрометчиво и своим полным признанием подчеркивать то, на что плакат «Я тебя видел» только намекал. Короче, мне надо было, прежде чем отвечать им, точно узнать, что они там, на этой галактике, видели и чего не видели; а для этого достаточно было выставить плакат и написать на нем что-нибудь вроде: «Ты все видел или только немножко?» или же: «Посмотрим, правду ли ты говоришь. Что я делал?», — а потом выждать столько лет, сколько нужно для того, чтобы оттуда увидели мою надпись, и еще столько же, пока я увижу их ответ, — и тогда уже подумать о необходимом оправдании. На все это понадобится еще двести миллионов лет — или даже двести с лишком, потому что пока зрительные образы шли туда-сюда со скоростью света, наши галактики по-прежнему удалялись друг от друга, и сейчас то созвездие находилось уже не там, где я его видел, а намного дальше, так что зрительному образу моего плаката придется догонять его. Одним словом, это была долгая процедура, из-за нее мне пришлось бы спустя четыреста миллионов лет обсуждать событие, которое я хотел как можно скорее предать забвению.

Самым лучшим для меня было сделать вид, будто ничего не случилось, и насколько возможно

приглушить резонанс того, что выплыло наружу. Поэтому я поспешил выставить на самом видном месте плакат, на котором написал просто-напросто: «Ну и что!» Если они там, на этой галактике, рассчитывали смутить меня своим «Я тебя видел», то мое спокойствие собьет их с толку и они решат, что на этот эпизод незачем и внимание обращать. Если же у них не так много данных против меня, то неопределенное выражение «Ну и что!» поможет мне осторожно прощупать, что, собственно, они имели в виду, написав: «Я тебя видел». На таком удалении (со своего места на расстоянии ста миллионов световых лет эта галактика убежала уже миллион веков назад) они там легко могли упустить из виду, что мое «Ну и что!» служило ответом на их «Я тебя видел», выставленное на двести миллионов лет раньше; но я не счел нужным вдаваться в объяснения: если память о том дне по прошествии трех миллионов веков потускнеет, то не мне напоминать о нем заново.

В сущности, меня не должно было так уж волновать, какое мнение обо мне составили на основании одного-единственного случая. Все обстоятельства моей последующей жизни в течение многих лет, веков и тысячелетий после того

дня говорили — по крайней мере в подавляющем большинстве — в мою пользу; поэтому мне надо было только предоставить слово фактам. Если с далекого небесного тела видели, что я делал однажды двести миллионов лет назад, то они могли видеть меня и на следующий день, и через день, и два и три дня спустя, и постепенно изменить свое отрицательное мнение, которое они слишком поспешно составили себе, увидев всего-навсего один эпизод. Больше того, мне достаточно было вспомнить, сколько лет назад они выставили свой плакат, чтобы убедиться, что дурное впечатление уже стерто временем и, может быть, даже уступило место более положительной или, во всяком случае, более трезвой оценке. Но хотя умом я был в этом уверен, облегчения я не испытывал; пока я не получу подтверждений, что мнение обо мне изменилось к лучшему, в моей душе останется досада на то, что меня неожиданно застали в неприятной ситуации и окончательно отождествили с ней, пригвоздили к ней.

По-вашему, я мог спокойно наплевать на все, что думают обо мне неведомые обитатели какого-то созвездия? И в самом деле, меня волновало не то, как смотрят на меня те или иные круги общества на том или ином небесном теле, —

нет, я подозревал, что если они меня увидели однажды, то это может иметь бесконечные последствия. Вокруг этой галактики было много других галактик, некоторые из них отстояли от нее меньше чем на сто миллионов световых лет, и наблюдатели на них глядели в оба: плакат «Я тебя видел» еще прежде, чем я его разглядел, был наверняка прочитан обитателями других небесных тел, да и после меня его читали на все более и более отдаленных созвездиях. Пусть даже никто не мог точно узнать, к какому именно случаю он относится, все равно такая неопределенность была не в мою пользу, а если учесть, что люди всегда склонны думать о других плохо, то все, что действительно видели с расстояния в сто миллионов световых лет, было пустяком по сравнению с тем, что могли вообразить насчет увиденного в разных местах. Минутная неосмотрительность, допущенная мною миллионы веков назад, преломлялась по-своему на всех галактиках вселенной, дурное мнение обо мне приобретало неслыханные размеры, а я не мог ничего опровергнуть, не ухудшив дела, так как не знал, до каких пределов клеветы могли дойти те, что не видели меня, и потому не представлял себе, что, собственно, я должен опровергать.

В таком состоянии духа я каждую ночь смотрел в телескоп то туда, то сюда. Две ночи спустя я заметил, что еще на одной галактике, отстоявшей на сто миллионов световых лет и один световой день, выставили плакат «Я тебя видел». Сомневаться не приходилось: он относился к тому же случаю; значит, то, что я всегда старался скрыть, увидели еще с одного небесного тела, расположенного совсем в другом районе мирового пространства, — и не только оттуда; с тех пор я каждую ночь видел, как появляются все новые и новые плакаты с надписью «Я тебя видел» на все новых и новых созвездиях. Расчет световых лет убеждал меня, что видели они все тот же случай. На каждый из плакатов я отвечал плакатом, полным пренебрежительного равнодушия: «Ах так? Я очень рад» или же: «А мне велика важность!»; иногда я с вызывающей наглостью писал что-нибудь вроде «Tant pis»[5] или же «Ку-ку, это я», — но ни разу не отступился от своей системы.

Хотя логика обстоятельств заставляла меня смотреть в будущее с разумным оптимизмом, однако мне не давал покоя тот факт, что все эти «Я тебя видел» относятся к одному и тому же мгнове-

---

[5] Примечания: 16
Тем хуже *(фр.)*.

нию моей жизни (лишь на одном небесном теле появился указывающий все на ту же дату плакат «Ничего особенного не видно»), пусть даже такое совпадение было случайным, вызванным особыми условиями межзвездной видимости.

Выходило так, словно в пространстве, заключающем в себе все галактики, зрительный образ моего поступка распространялся внутри сферы, которая непрерывно расширялась со скоростью света: наблюдатели на небесных телах, которые одно за другим оказались в пределах этой сферы, могли видеть все, что произошло. Каждого из этих наблюдателей, в свою очередь, можно было рассматривать как центр еще одной сферы, также распространявшейся со скоростью света: в ней распространялся зрительный образ его плаката. В то же время все эти небесные тела являлись частями галактик, которые удалялись друг от друга со скоростью, пропорциональной расстоянию, и каждый наблюдатель, который отвечал сигналом на полученную информацию, прежде чем он получал следующую, успевал отлететь еще дальше в пространство, и скорость его все возрастала. В какой-то момент самые далекие из тех галактик, с которых меня видели (или видели плакат «Я тебя видел», выставленный на более

близкой к нам галактике, или даже плакат «Я видел твое «Я тебя видел», торчащий на чуть более дальней галактике), окажутся на предельном расстоянии в десять миллиардов световых лет; за этим порогом они будут удаляться со скоростью триста тысяч километров в секунду, то есть быстрее света, и уже ни один зрительный образ не сможет их догнать. Значит, я мог опасаться, что там так и останутся при своем первоначальном мнении обо мне, которое с этого момента станет окончательным и неисправимым и потому в известном смысле справедливым.

Итак, мне нужно было как можно скорее положить конец недоразумению. Тут у меня осталась одна надежда — на то, что меня после этого случая видели, и не один раз, в такие минуты, когда я производил совсем другое впечатление — то самое (я в этом не сомневался), какое и должно быть у людей обо мне. За последние двести миллионов лет было немало благоприятных для меня случаев, хотя, чтобы устранить все кривотолки, хватило бы и одного, достаточно наглядного. Вспомнить хотя бы тот день, когда я действительно был самим собой — таким, каким я хотел всем казаться. Этот день — в два счета вычислил я, — был ровно сто миллионов лет назад. Значит, с галак-

тики, отстоящей на сто миллионов световых лет, как раз сейчас и видят этот эпизод, столь лестный для моей репутации, и их мнение обо мне, безусловно, меняется к лучшему (по сравнению с первоначальным беглым впечатлением). Это происходит сейчас или, вернее, произойдет очень скоро, потому что разделяющее нас расстояние за это время возросло и составляет уже не сто, а по меньшей мере сто один миллион световых лет; как бы то ни было, мне остается только выждать столько же лет (я очень быстро вычислил точную дату, учтя даже «постоянную Губбля»[6]), — и я узнаю, как они реагируют теперь.

Вероятнее всего, в момент «У» на меня будут смотреть именно те, кому уже довелось видеть меня в момент «Х», и если учесть, что в момент «Y» я выглядел куда более внушительно, чем в момент «Х» (я сказал бы даже, более впечатляюще: кто хоть раз увидит такое, тот уже этого не забудет!), то, значит, меня и запомнят таким, каким я был в момент «Y», а виденное в момент «Х» сразу же забудут, выбросят из памяти; и разве что

---

[6] Примечания: 17

...учтя даже «постоянную Губбля» — **Постоянная Ха́ббла** — коэффициент, входящий в закон Хаббла, который связывает расстояние до внегалактического объекта (галактики, квазара) со скоростью его удаления. (*Прим. комп.)*

на миг вспомнят об этом случае, да и то лишь для того, чтобы сказать: «Подумайте, каким может иногда показаться такой «Y»! Мы-то думали, что он «X», а он на самом деле «Y»!»

Теперь я даже радовался, что вокруг появляется так много плакатов: видимо, я все шире привлекаю внимание, и, следовательно, самый лучезарный день в моей жизни не ускользнет от глаз наблюдателей. Он получит или, вернее, уже получил без моего ведома куда более широкий резонанс, чем я мог рассчитывать по своей скромности, и станет известен уже не только в узких кругах и к тому же лишь на периферии вселенной.

Следовало принять в расчет и те небесные тела, с которых из-за неудобного местоположения видели не меня самого, а только плакат где-нибудь по соседству и выставили в ответ свои плакаты с надписями: «Кажется, мы тебя видели», или же: «Уж отсюда-то тебя видели» (я отчетливо ощущал в этих надписях то любопытство, то насмешку); выходит, и оттуда на меня глядят во все глаза, хотя бы потому, что один раз уже упустили возможность увидеть меня и ни за что не упустят ее вторично; а имея о случае «X» только весьма туманные сведения из вторых рук, там

тем более склонны будут рассматривать случай «Y» как единственный, дающий обо мне верное представление.

Таким образом, момент «Y» вызовет резонанс, который распространится через пространство и время, достигнет самых отдаленных, самых быстрых галактик — тех, что, летя со скоростью света, уже не смогут воспринять мой более поздний зрительный образ и унесут с собой этот мой образ как окончательный, независимый от пространства и времени и старший истиной для сферы с бесконечным радиусом, включающей в себя все сферы, где мнения обо мне неполны и противоречивы.

Что такое сотня миллионов лет по сравнению с вечностью? Однако для меня она тянулась бесконечно. Наконец пришла долгожданная ночь. Я уже давно направил свой телескоп на ту, первую галактику. Опустив веко, я подношу к окуляру правый глаз, потом широко открываю его: созвездие сияет в самой середине объектива. Вот и плакат, надпись на нем неразборчива, я подвожу фокус. На плакате написано: «Тра-ля-ля-ля-ля!» Просто-напросто «Тра-ля-ля-ля-ля!». В тот миг, когда сама сущность моего «я» была видна как на ладони, так что никакие кривотолки были

бы невозможны, в тот миг, когда я дал ключ к истолкованию всей моей жизни, прошедшей и будущей, когда стало возможно судить обо мне всесторонне и беспристрастно, — тот, кто имел возможность… нет, тот, кому моральный долг велел неукоснительно наблюдать за всеми моими поступками, не увидел ровно ничего, не заметил ничего особенного. Я был совершенно убит тем, что моя репутация отдана на откуп такому ненадежному типу. У меня был случай доказать, кто я такой, случай, благодаря стечению многих благоприятных обстоятельств неповторимый, и он остался незамеченным, погиб для огромного района вселенной только потому, что этот господин позволил себе на пять минут отвлечься, отдохнуть и считал ворон с благодушием человека, пропустившего лишний стаканчик. И не мог он написать ничего лучшего, чем эти лишенные смысла знаки, или, может быть, это был пошленький мотивчик, который он насвистывал, забыв о своих обязанностях?

Одна только мысль немного поддерживала меня: уж на других-то галактиках найдутся более прилежные наблюдатели. Теперь меня, как никогда, радовало то, что первая досадная история имела столько зрителей, которые ни за что не

преминут отметить новизну ситуации. Я снова стал каждую ночь смотреть в телескоп. Несколько ночей спустя появилась во всем своем блеске галактика, находившаяся как раз на нужном расстоянии. И плакат на ней был. А на нем стояли следующие слова: «На тебе шерстяная фуфайка».

Со слезами на глазах я ломал себе голову, стараясь найти объяснение. Может быть, они там со временем настолько усовершенствовали телескопы, что им доставляет удовольствие рассматривать ничтожные детали, — например, какая на ком надета фуфайка, шерстяная или бумажная, — а все остальное их не интересует, не привлекает их внимания. Они проглядели мой благородный поступок, можно даже сказать, великодушный и возвышенный поступок, а заметили только шерстяную фуфайку. Что и говорить, фуфайка была самого лучшего качества, в другое время мне было бы приятно, что ее заметили, но не теперь, не теперь!

Впрочем, впереди меня ожидало еще множество откликов, и ничего удивительного, если некоторые из них окажутся не такими, как я рассчитывал. Я не из тех, кто расстраивается из-за подобных пустяков. И действительно, с одной более дальней галактики я получил нако-

нец подтверждение, что кто-то по-настоящему рассмотрел мое благородство и оценил его по достоинству, то есть восторженно. На плакате было написано: «Там кто-то держит себя молодцом». Я читал это с чувством удовлетворения. Поймите меня правильно: я ожидал, я даже был уверен, что меня оценят по заслугам, и вот мои ожидания не обманули меня; именно это и давало мне удовлетворение. Но тут меня остановили слова: «Там кто-то...» Почему они пишут «кто-то», если уже раньше видели меня, пусть даже только однажды и в неблагоприятной ситуации, если, короче говоря, они не могли меня не знать? Я лучше отфокусировал мой телескоп и обнаружил внизу плаката еще одну строчку, написанную помельче: «Кто бы это мог быть, а?» Можете вы себе представить большее невезение? Те, у кого были все возможности по-настоящему понять, кто я такой, не узнали меня. Они не связали этого похвального поступка с тем предосудительным, совершенным двести миллионов лет назад, и поэтому предосудительный поступок по-прежнему тяготел надо мной, а поступок похвальный так и остался историей без героя, не вошел ни в чью биографию.

Первым моим побуждением было выставить

плакат: «Ведь это же я!» Однако я отказался от этой мысли: что даст мне такой плакат? Они увидят его через сто с лишним миллионов лет, а вместе с теми тремястами с небольшим миллионами лет, которые прошли с момента «Х», это составит примерно полмиллиарда лет; чтобы они наверняка поняли меня, мне придется все уточнять, вытаскивать на свет ту старую историю и, значит, делать то, чего я больше всего хотел избежать.

Теперь я уже не был так уверен в себе. Я боялся, что и другие галактики принесут мне не больше радости. Все наблюдатели видели меня лишь с одной стороны, были невнимательны, не понимали происходящего до конца, не улавливали его сущности и не могли проанализировать, какие черты моего характера проявляются в том или другом случае.

Только на одном плакате я прочел то, чего действительно ожидал: «А ты и в самом деле молодец!» Я кинулся перелистывать мою тетрадь, чтобы посмотреть, как реагировала эта галактика на момент «Х». Как назло, именно на ней тогда появился плакат: «Ничего особенного не видно». Да что и говорить, в этой зоне вселенной я пользовался превосходной репутацией, мне

было чему порадоваться, однако я не испытывал никакого удовлетворения. Я обнаружил, что мне нет дела до тамошних моих почитателей, раз они не принадлежали к числу тех, кто прежде судил обо мне превратно. Они не могли дать мне подтверждение, что момент «Y» стер в памяти момент «X», и моя досада продолжала расти оттого, что я так долго не знал, устранена ли и будет ли устранена ее причина.

Разумеется, наблюдатели, рассеянные по всей вселенной, могли видеть не только случай «X» и случай «Y», но и бесчисленное множество других; и действительно, каждую ночь на более близких или более далеких созвездиях появлялись плакаты, указывающие то на один, то на другой эпизод, плакаты с надписями: «Раз начал — продолжай», или: «А, это опять ты», или же: «Смотри-ка, что он делает!», либо: «А я что говорил!» Для каждого из них я мог сделать расчеты: столько-то световых лет туда, столько-то световых лет обратно, — и установить, к какому эпизоду они относятся; каждый поступок в моей жизни — поковырял ли я пальцем в носу, спрыгнул ли удачно с трамвая на ходу — все еще путешествовал от галактики к галактике, и там мои действия принимались во внимание, обсуждались, оценивались. Правда,

отклики на них иногда были совсем невпопад; сочувственное «Ц-ц-ц!» относилось к тому случаю, когда я пожертвовал треть своего жалованья на благотворительные цели, а надпись «Вот сейчас ты мне нравишься» — к тому разу, когда я забыл в поезде рукопись трактата, стоившего мне многих лет труда; а моя знаменитая лекция в Геттингенском университете вызвала такой отклик: «Берегись сквозняков».

В одном отношении я мог быть спокоен: ни один из моих поступков, хороших или дурных, не пропадал бесследно. Хоть какой-нибудь отклик он вызывал, и даже не один отклик, а множество разных откликов в разных концах вселенной, внутри постоянно расширяющейся сферы, которая сама порождала другие сферы; но повсюду имелись только разрозненные, несогласованные, второстепенные сведения обо мне, они не помогали понять связь между моими поступками, и новый поступок не мог ни объяснить, ни исправить прежние, так что они лишь прибавлялись друг к другу со знаком плюс или минус, составляя как бы длинный-длинный многочлен, который невозможно привести к более простому выражению.

Что я мог с этим поделать? По-прежнему за-

ниматься прошлым было бесполезно; все как было, так было, а мне следовало заботиться только о том, чтобы впредь все шло лучше. Самое главное заключалось вот в чем: нужно, чтобы во всем моем поведении было ясно, что главное, что следует выделить, что надо замечать и чего не надо. Я раздобыл огромный дорожный щит, указывавший направление, на нем была нарисована рука с вытянутым указательным пальцем, и мне оставалось только, делая что-нибудь такое, к чему я хотел бы привлечь внимание, поднять этот щит таким образом, чтобы указательный палец был обращен на самую важную деталь сцены. А для тех случаев, когда я предпочел бы остаться незамеченным, я сделал другой плакат, нарисовав на нем руку, указывающую большим пальцем направление, противоположное тому, куда я шел сам: так я рассчитывал отвести глаза наблюдателям.

Теперь мне оставалось только повсюду носить с собой эти два щита и поднимать, смотря по обстоятельствам, то один, то другой. Разумеется, результаты появятся не сразу: наблюдатели, удаленные на сотни тысяч световых тысячелетий, увидят то, что я делаю сейчас, с опозданием в сотни миллионов веков, а я лишь еще на сотни

миллионов веков позже смогу прочесть, как они реагируют. Но такая задержка неизбежна. К сожалению, тут было и другое неудобство, о котором я прежде не подумал: как быть, если я вдруг подниму не тот плакат?

Например, однажды я был убежден, что мне предстоит совершить поступок, который наверняка поднимет мой престиж; я поспешил поднять плакат с направленным на меня указательным пальцем и в эту самую минуту попал впросак, ударил лицом в грязь, обнаружив все человеческое ничтожество до такой степени, что впору было сквозь землю провалиться от стыда. Но дело было сделано: мой образ, да еще с поднятым вверх плакатом, уже плыл в мировом пространстве, пожирая один световой год за другим, его уже нельзя было остановить; много миллионов веков он будет двигаться от галактики к галактике, заставляя их обитателей смеяться, судачить и морщить нос, и вернется ко мне из глубины тысячелетий, вынуждая меня еще более неуклюже отпираться и искать оправданий.

В другой раз меня, напротив, ожидала неприятная ситуация, один из тех случаев жизни, через которые приходится пройти, заранее зная, что как бы ни пошло дело, из него не удастся выпутаться

с честью. Я заслонился плакатом, на котором большой палец указывал в противоположную сторону, и ринулся очертя голову… Неожиданно в этой сложной и щекотливой ситуации я обнаружил присутствие духа, уравновешенность, такт и решительность, каких никто и не предполагал во мне, и меньше всех я сам; оказалось, что я в изобилии наделен такими качествами, свидетельствующими о полной зрелости характера, а между тем проклятый плакат отвлекал взгляды наблюдателей, указывая им на стоящую рядом вазу с пионами.

Подобные случаи, которые сперва казались мне лишь исключительными и вызванными моей неопытностью, повторялись все чаще. Я слишком поздно замечал, что утаивал то, на что нужно указать, или указывал на то, что лучше было бы скрыть. И нельзя было обогнать мой собственный зрительный образ и предупредить, что на плакат не нужно обращать внимания.

Я попробовал было сделать третий щит с надписью «Тот плакат не в счет» и поднимать его тогда, когда хотел, чтобы на предыдущий плакат не обращали внимания. Но с любой галактики его невозможно было заметить раньше, чем первый щит, выставленный по ошибке; дело уже нельзя

было поправить, я оказался бы только в смешном положении, и помочь мне мог лишь четвертый плакат: «Это «не в счет» — не в счет»; впрочем, выставлять его было столь же бесполезно.

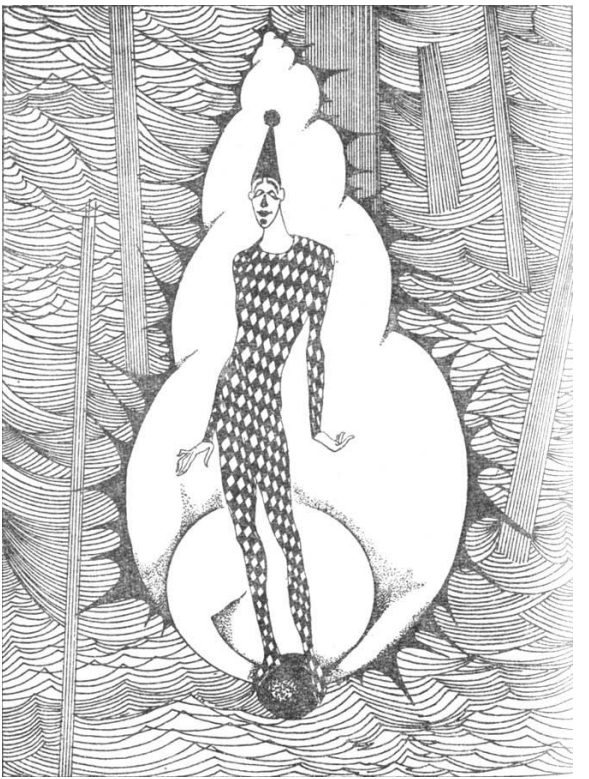
Я по-прежнему жил в ожидании той далекой минуты, когда с галактик придут отклики на новые досадные и неприятные случаи из моей жизни, и я смогу ответить посланиями, которые уже теперь готовил в соответствии с каждым эпизодом. А между тем галактики, на которых я был больше всего скомпрометирован, удалялись уже на миллиарды световых лет с такой скоростью, что моим посланиям пришлось бы, чтобы догнать их, мчаться в пространстве с большим, чем у самих галактик, ускорением. Тем временем эти галактики будут одна за другой исчезать за горизонтом, отстоящим от нас на десять миллиардов световых лет, из-за которого нельзя увидеть ни одного видимого предмета, и унесут с собою теперь уже окончательное суждение обо мне.

И при мысли о том, что этого суждения мне не изменить, я вдруг испытал облегчение, как будто не мог успокоиться прежде, чем в этом нелепом списке недоразумений уже ничего нельзя будет ни убавить, ни прибавить! И мне казалось, что галактики, которые, приближаясь к пределу

моего взгляда, становятся все меньше и меньше, а потом исчезают в бесконечной тьме, уносят с собой единственно возможную истину обо мне, и отныне я не мог дождаться часа, когда все они последуют тем же путем.

Спираль*

*** Примечания: ***
La spirale.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



В жизни большинства моллюсков внешний облик не играет особой роли, так как представители каждого вида друг друга вообще не видят или смутно представляют других особей и окружающую среду. Что не мешает им иметь яркую полосатую раскраску и прекрасные, на наш взгляд, формы, отличающие раковины многих брюхоногих.

I

— Вы имеете в виду такую жизнь, какую вел я, когда был прикреплен к этой скале, — подал голос Qfwfq, — когда волны набегали и отступали, а я, неподвижный, сплющенный в лепешку, сосал, что было можно, и раздумывал о времени вообще? Если вас интересуют именно те времена, то рассказать могу немногое. Формой я не обладал, то есть не знал, что обладаю, или не знал, что ею можно обладать. Рос исподволь со всех сторон, как придется, — если вы называете такое лучевой симметрией, то, значит, мне была присуща лучевая симметрия, хотя, по правде говоря, значения этому я никогда не придавал. С чего бы мне расти с одной стороны больше, чем с другой? У меня не было ни глаз, ни головы, ни какой-либо еще части

тела, не похожей на все прочие, а теперь вот мне внушают, будто из моих двух дыр одна являлась ртом, другая — задним проходом, то есть что уже тогда симметрия у меня была двусторонняя, не больше и не меньше, чем у трилобитов и у всех вас. Но я не помню никаких различий между дырками, я пропускал добро внутрь и наружу, где хотел, мне было все равно, — различия и брезгливость появились куда позже. Да, мною иногда овладевали разные фантазии, к примеру, почесать под мышками или закинуть ногу на ногу, один раз даже — отпустить усы щеточкой. Но это я сейчас так формулирую, чтоб точно выразить то, что имею в виду, тогда же многих частностей предвидеть я не мог: все мои клетки, почти одинаковые, все время понемногу делали одно и то же дело. Но, хотя сам я формы не имел, я чувствовал в себе все вероятные формы, все гримасы, жесты, звуки — даже неприличные. В общем, в своих мыслях я не знал никаких границ, хотя какие мысли, если мозга у меня в ту пору не было и каждая клетка размышляла обо всем, о чем только возможно, сама за себя, — и не посредством образов, которых у нас в распоряжении не было, а просто ощущая неким не вполне определенным способом свое наличие, что не мешало

ощущать его каким-нибудь иным.

Вопреки тому, что вы могли подумать, положение мое тогда было выигрышным и вольготным и совершенно меня удовлетворяло. Я был холост (тогдашний способ размножения не требовал и временного спаривания), здоров и не амбициозен. Когда ты молод, впереди у тебя целая эволюция, перед тобой открыты все пути, и в то же время ты можешь наслаждаться своим положением на скале — блаженным состоянием мякоти моллюска, расплющенной и влажной. Если сравнить с ограничениями, возникшими потом, если задуматься о том, что обладание определенной формой исключает обладание другими, о житейских буднях, где нет места неожиданностям и от этого ты рано или поздно чувствуешь себя в ловушке, — что ж, могу сказать, что жизнь тогда была прекрасна.

Я, конечно, был тогда сосредоточен на самом себе, и в этом смысле ту жизнь с нынешней, наполненной общением, не сравнить; признаюсь также, что тогда — отчасти в силу возраста, отчасти под влиянием среды — я несколько грешил тем, что ныне именуют нарциссизмом; в общем, я все время оглядывал себя, видел все свои достоинства и недостатки и нравился себе и с теми, и с

другими; правда, сравнивать мне было не с чем.

Но я был не таким отсталым, чтоб не знать: кроме меня есть и другое, — само собой, скала, к которой я был прикреплен, вода, добиравшаяся до меня с каждым приливом, а еще дальше — мир. Вода являлась достоверным и точным средством информации, она доставляла мне питание, которое я поглощал всей своей поверхностью, и другие вещества несъедобные, однако позволявшие составить представление о том, что совершается вокруг. Происходило это так: когда приливная волна накатывала, я, не отцепляясь от скалы, слегка приподнимался, — совсем неуловимо, просто чуть-чуть ослаблял давление, — и — злафф! — снизу меня омывала вода, полная веществ, ощущений, импульсов. От чего зависело, каких именно, неясно: иногда это была щекотка, от которой лопнешь со смеху, а иногда дрожь, жжение или зуд, так что хватало и эмоций, и забав. Только не думайте, что я пассивно принимал, разинув рот, все, что ни появлялось, — вскоре поднабравшись опыта, я научился быстро делать выводы о том, что двигалось ко мне, и принимал решение, как себя вести, чтобы наилучшим образом воспользоваться этим или избежать худших последствий, — сокращал какие-то из своих

клеток или в нужный момент расслаблялся. Это позволяло выбирать и отвергать, приманивать, даже выплевывать.

Так узнал я о существовании других, следами коих окружавшая меня стихия изобиловала, — как враждебных мне своей несхожестью, так и, напротив, отвратительно похожих. Вы, наверно, уже думаете, что характер у меня не сахар, и напрасно. Каждый, безусловно, занимался своим делом, но присутствие других меня как-то ободряло, служило указанием на обитаемость пространства, избавляло от подозрения, что я — тревожное исключение, единственный, кому на долю выпало существовать, как будто отбывая ссылку.

Не все другие были одинаковы. Часть их распространяла через воду некую особую вибрацию, нечто вроде «фрин-фрин-фрин»; я помню, как заметил это в первый раз, то есть не в первый, — помню, как заметил, что всегда воспринимал это как нечто самоочевидное. Когда я сделал для себя это открытие, мне стало очень любопытно не столько их увидеть и не столько, чтоб они меня увидели, так как, во-первых, мы не обладали зрением, а во-вторых, различие между полами еще не обозначилось, и особи все были совершенно

одинаковы, поэтому от наблюдения за другим или другой я получил бы то же удовольствие, что и от созерцания самого себя, — так вот, мне стало любопытно, а произойдет ли что-нибудь такое между мной и этими. Я страстно возжелал сделать что-нибудь особенное — это было невозможно, как и не особенное тоже, — но каким-то образом ответить на эту особую вибрацию соответственной, то есть моей личной вибрацией, поскольку тут действительно улавливалось некоторое различие, — теперь вы объясняете это гормонами, но мне это казалось поистине прекрасным.

В общем, одна из этих — зфлиф, зфлиф, зфлиф! — метала яйца, а я — зфлуф, зфлуф, зфлуф! — их оплодотворял, причем все это — в море, в морской воде, нагретой солнцем, — да, я не сказал еще, что чувствовал, как солнце согревало море и скалу.

Итак, одна из этих. Так как из множества женских посланий, которые мне доставляло море, — сперва как недифференцированную мешанину, где мне было хорошо и где резвился я, не различая, какова одна и какова другая, — я в какой-то момент выбрал то, что больше отвечало моим вкусам, о которых я, конечно, до того момента ничего не знал. В общем, я влюбился.

То есть начал узнавать и отличать знаки одной из них от знаков остальных, более того, ждал встречи с ними, искал их, да еще и отвечал на эти знаки другими, собственными, даже провоцировал ее, — короче говоря, я был влюблен в нее, она — в меня, а разве можно ждать чего-то большего от жизни?

Ныне нравы изменились, и вам кажется уже немыслимым вот так влюбиться неизвестно в кого, в ту, с кем ты совершенно не знаком. Но через те неповторимые толики ее, что оказались растворенными в морской воде и были предоставлены в мое распоряжение волнами, я получал о ней вы и не представляете сколько информации, — и не поверхностной, не общего характера, не той, какую можно получить сейчас, увидев, принюхавшись, коснувшись и услышав голос, — нет, узнавал о ней я самое существенное, что потом долго служило пищей моему воображению. Я мог воображать ее во всех подробностях, притом не столько то, как она сложена, — это так пошло и вульгарно, — сколько как она, бесформенная, изменилась бы, прими она одну из множества возможных форм и при этом не переставая быть собой. То есть воображал я не те формы, которые она могла принять, а то

особое качество, которое, приняв эти формы, она придала бы им.

В общем, знал я ее хорошо. И не был в ней уверен. Временами мной овладевали опасения, смятение, тоска. Я виду не показывал, — вы мой характер знаете, — но маска невозмутимости скрывала такие домыслы, в которых я даже сейчас признаться не могу. Не раз подозревал я, что она мне изменяет, посылает свои сообщения и другим, не раз я думал, что перехватил подобное послание, а в тех, которые она предназначала явно мне, мне чудились неискренние нотки. Я ревновал — теперь могу признаться — не столько из-за недоверия к ней, сколько потому, что не уверен был в самом себе: ведь где гарантия того, что она правильно поймет, кто я такой, и даже вообще поймет, что я тут есть? Наша связь через морскую воду, — столь исчерпывающе насыщенная, что большего нельзя и пожелать, — для меня являлась абсолютно личной связью между двумя уникальными, единственными в своем роде индивидуальностями, а вот для нее? Кто гарантирует, что то, что есть во мне, она не может найти и в другом или еще в двух, трех, десятке, сотне таких, как я? Кто мне поручится, что так же непринужденно, как она вступает в связь со

мной, она не забавляется, бездумно и небрежно, с кем придется?

Что эти подозрения не соответствовали истине, мне подтверждала ее еле ощутимая личная вибрация, порой окрашенная той стыдливостью, которая была присуща нашей связи. Но что, если она как раз от своей робости и от неопытности обращала недостаточно внимания на мои свойства и другие пользовались этим, чтобы подкатиться к ней? Вдруг она, неискушенная, считала, что все это я, не различала, кто с ней, и в итоге к нашим самым что ни на есть интимным играм приобщилось неизвестно сколько незнакомцев?..

Именно тогда я начал выделять из себя известковое вещество. Хотелось сделать что-нибудь, что однозначно засвидетельствовало бы мое присутствие, что охранило бы присутствие меня как индивидуальности от зыбкой мешанины всего прочего. Теперь уже нет смысла громоздить слова, пытаясь объяснить, в чем заключалась новизна этого, моего намерения, вполне довольно сказанного мною слова сделать, мне хотелось сделать, и, учитывая, что я никогда и ничего не делал и не думал, что такое возможно, одно это уже было знаменательным событием. Так я и начал делать первое, что задалось, и получилась рако-

вина. С краю своей мясистой мантии я с помощью определенных желёз стал извергать порции субстанции, которые принимали закругленную форму, так что я в итоге весь покрылся твердым разноцветным щитом — с наружной стороны шероховатым, изнутри блестящим. Следить за его формой я, конечно, не имел возможности, так как все время, свернутый в клубочек, молча выделял и выделял из себя вещество. Я не остановился и тогда, когда уже весь окружен был раковиной, и пошел на следующий виток. Моя раковина оказалась из числа закрученных спиралью, при виде каковых вам кажется, что это дело очень трудоемкое, хотя на самом деле просто нужно быть настойчивым и потихоньку непрерывно извергать один и тот же материал, наращивая за витком виток.

Возникнув, раковина стала для меня необходимым, неизбежным местом пребывания, защитой, позволявшей выжить, без которой было бы несдобровать. Но делал я ее не потому, что она так была нужна мне, а наоборот, как тот, кто испускает возглас, без которого прекрасно мог бы обойтись, но тем не менее восклицает: «Ой!» или «Ого!» — так делал раковину я, то есть лишь для того, чтоб выразить себя. И в это самовыражение

я вкладывал все свои помыслы о ней, свою досаду, свою влюбленность и желание жить для нее, желание быть самим собою для нее, такой как она есть, любовь к себе, которую я вкладывал в любовь к ней, — все, что можно было выразить лишь этим панцирем, закрученным спиралью.

Через равные промежутки известковая субстанция оказывалась у меня цветной, и в результате получилось множество красивых полос, пересекающих витки. Эта раковина была чем-то от меня отличным и одновременно самой истинной частью меня, объясняющей, кто я такой, моим портретом, претворенным в ритмичную систему объемов, полос, цветов и твердого вещества, но в то же время и ее портретом, претворенным в эту же систему, в точности отображающим ее, поскольку в это время она строила себе точь-в-точь такую же раковину, и я, сам того не зная, подражал ей, а она, не зная, подражала мне, и прочие все тоже занимались подражанием друг другу, сотворяя одинаковые раковины, так что вроде бы наметился порочный круг, но в этих раковинах, одинаковых на первый взгляд, присматриваясь, замечаешь множество мелких различий, которые позднее могут стать огромными.

В общем, я могу сказать, что моя раковина

делалась сама собой, я не старался сделать ее именно такой, а не сякой. Это не значит, что тем временем я был рассеян, так сказать, в отключке, — нет же, я прилежно занимался выделением субстанции, не отвлекаясь ни на миг на мысли ни о чем другом, точнее, о другом я думал постоянно, так как о раковине — не умел, как, впрочем, и о чем-либо еще, но усилия по сотворению раковины я сопровождал стремлением думать, что я делаю нечто такое, или что-то вообще, или что делаю все, что когда-нибудь возможно будет сделать. Поэтому сказать, что это было монотонное занятие, нельзя, так как сопутствовавшее ему стремление думать открывало возможности для самых разных мыслей, каждая из каковых могла бы привести к самым различным действиям, и эти действия могли бы послужить осуществлению множества вещей, и каждая из них была заключена вот в этих прирастающих витках…

II

(Так что теперь, когда прошло пятьсот миллионов лет, я, оглядевшись, вижу среди гор железную дорогу; проходящий по ней поезд, где выглядывают из окошка несколько голландских девушек, а одинокий пассажир последнего купе

читает двуязычное издание Геродота, исчезает в туннеле, над которым пролегает шоссе с рекламным стендом «Летайте самолетами компании «Египтэйр»», украшенным изображением пирамиды, и по этому шоссе фургон с мороженым пытается объехать грузовик, везущий экземпляры нового выпуска энциклопедии Rh-Stijl, но тормозит и дальше следует за ним, поскольку обозрение ухудшила летящая через дорогу туча пчел, которые вырвались из череды стоящих в поле ульев, — за пчелиной маткой, увлекающей их в направлении, противоположном дыму паровоза, вынырнувшего вдруг из туннеля, — так что из-за тучи пчел и угольного дыма ничего не видно, лишь крестьянина, который, разбивая ударами мотыги землю, и не замечает, как откапывает и закапывает вновь осколок мотыги же эпохи неолита, мало отличающейся от его орудия, и происходит это в огороде, окружающем астрономическую обсерваторию с телескопами, направленными в небо, на пороге здания которой сидит дочка сторожа, читающая гороскопы в еженедельнике, обложку какового украшает лицо главной героини фильма «Клеопатра», и я, видя все это, ничуть не удивлен, так как создание раковины предопределило и сбор меда в восковые

соты, и угольное топливо, и телескопы, и пирамиды, и царство Клеопатры, и зодиакальный план астрологов-халдеев, и войны и империи, о которых повествует Геродот, и все слова, написанные Геродотом, и все произведения на всех языках, включая сочинения Спинозы на голландском, и четырнадцатистрочное резюме его трудов и биографии в энциклопедии Rh-Stije, везет которую грузовик, идущий впереди фургончика с мороженым, так что мне кажется, что, сделав свою раковину, создал я все остальное.

Кого, оглядываясь, я ищу? Да ту, в кого влюблен уже полтыщи миллионов лет, и вижу на песчаном пляже голландскую купальщицу, которую парень с золотой цепочкой, убирающий в купальнях, пугает пролетающим пчелиным роем, и я узнаю ее, это она, никто другой не поднимает так плечо, касаясь им щеки, почти уверен, что она, сказал бы даже — абсолютно убежден, если б не видел некоторого сходства с ней и в дочке сторожа обсерватории, и в фотографии актрисы, загримированной под Клеопатру, и, может быть, в самой этой царице, какой она действительно была, судя по той малости, которую доносит каждый образ Клеопатры, и в пчелиной матке — в непреклонности, с которой она увлекает

рой вперед, и в той бумажной женщине, которая прикреплена на пластиковом ветровом стекле фургончика с мороженым, — в купальнике как у купальщицы, что слушает сейчас на пляже звучащий из приемничка поющий женский голос — тот же, что звучит по радио и у водителя грузовика, везущего энциклопедии, тот самый, который я — теперь уж нет сомнений — слушал полмиллиарда лет, и, безусловно, это ее пение слышу я сейчас, ее ищу вокруг, но вижу только чаек, что парят над морем, где посверкивает стая килек, и я как будто бы с уверенностью узнаю ее в одной из чаек, а мгновение спустя уже объят сомнениями, а не килька ли она, хотя она могла бы также быть любой из королев или рабынь, которых Геродот упоминает или только подразумевает на страницах книги, с помощью которой обозначил свое место в купе поезда читатель, задумав выйти в коридор, чтобы заговорить с голландскими туристками или с какой-нибудь из них, этих туристок, в каждую из которых, следует признаться, я влюблен, при этом будучи уверен, что по-прежнему влюблен в нее одну.

Чем более схожу с ума я от любви к каждой из них, тем менее готов сказать им: «Это я!» — из страха ошибиться, но еще больше опасаюсь, что

ошибку совершит она, приняв за меня кого-нибудь другого, одного из тех, кого она с тех пор, как знает обо мне, могла со мною путать, например, уборщика купален с золотой цепочкой, или директора обсерватории, или самца чайки или кильки, или — решив, что я — читатель Геродота, или сам он, Геродот, или мороженщик-мотоциклист, спустившийся на пляж по пыльной тропке среди кактусов и окруженный голландскими туристками в купальниках, или Спиноза, или шофер грузовика, нагруженного двухтысячекратным изложением жизни и творчества Спинозы, или один из трутней — тех, что расстаются с жизнью на дне улья после выполнения своей функции продолжения рода.)

III

...что не мешает раковине быть прежде всего самой собой и обладать своей особой формой, которая иной быть не могла, поскольку я придал ей именно такую, то есть ту единственную, которую придать хотел и мог. И ее, раковины, форма сказалась и на форме мира, состоявшего теперь из формы мира без раковины и из формы раковины.

Что имело далеко идущие последствия, так как

волнообразные колебания света, достигая тел, рождают специфические эффекты, прежде всего цвет, — то самое, что применял я, делая полоски, и что вибрирует иначе, чем все прочее, плюс каждый из объемов особым образом взаимодействует с другими, каковых явлений я в ту пору не осознавал, однако же они имели место.

И позволяли раковине порождать ее зрительные образы, которые очень похожи, как известно, на нее саму, но только сами раковины здесь, а образы их возникают в другом месте — на сетчатке. То есть образ предполагал наличие сетчатки, та же, в свою очередь, — существование сложной системы, завершающейся мозгом. То есть, создавая раковину, я одновременно создавал и ее образ, — даже не один, а множество, поскольку у одной раковины может быть сколько угодно образов, только потенциальных, так как для возникновения образа нужны, как я уже сказал, мозг со зрительными центрами и зрительный же нерв, переносящий колебания снаружи внутрь, для чего снаружи он должен начинаться чем-то, существующим специально для того, чтоб видеть, что же там, снаружи, — глазом. Теперь смешно представить, что некий обладатель мозга ответвляет от него один из нервов и забрасывает

его как леску в темноту, и до тех пор, пока у него не появятся глаза, не знает, есть ли там снаружи что увидеть или нет. Я не был оснащен ничем таким, поэтому не мог судить, но у меня на сей счет было мнение, что главное — создать зрительные образы, а уж потом, как следствие, появятся глаза. И потому сосредоточился на том, чтобы наружная часть меня (вместе с внутренней, ее определявшей), дала начало образу, притом такому, который позже назовут прекрасным (при сравнении с другими, каковые будут сочтены не столь красивыми, страшненькими или отвратительными).

Если тело способно испускать само или отражать чужие световые колебания в отчетливом и узнаваемом порядке, — думал я, — то как оно ими распоряжается? Кладет себе в карман? Нет, скидывает на того, кто подвернется. А как поступит получатель таких колебаний, если он не знает, что с ними делать и они его немного раздражают? Спрячет голову в какую-нибудь дыру? Да нет, будет вытягивать ее в ту сторону, откуда они поступают, пока место, наиболее подвергавшееся действию зрительной вибрации, не отреагирует и не создаст приспособление, позволяющее пользоваться ею в виде образов. Короче, связь глаза и

мозга представлялась мне туннелем, вырытым больше извне, усилиями того, что готово было превратиться в образ, чем изнутри, то есть благодаря намерению некий образ воспринять.

И я не ошибался, без сомнения, проект был в целом верным. Но обольщался, полагая, будто зрением наделены будем мы с ней — она и я. И потому работал над выразительным и гармоничным своим образом, который должен был войти в зону ее зрительного восприятия, достичь центра этой зоны и обосноваться там, чтобы она могла все время наслаждаться мной не только наяву, но и во сне, в воспоминаниях и в мыслях. И я чувствовал: тем временем она излучает свой настолько совершенный образ, что он обязательно пробьется к моим мглистым запоздалым чувствам, сформирует во мне внутреннее поле зрения, где и воссияет навсегда.

Так, не жалея сил, готовились мы стать совершенными объектами тогда еще, по сути, нам неведомого чувства, которое стало позже совершенным потому, что совершенным был его объект, — мы с ней. Я говорю о зрении, о глазах, вот только не предвидел, что глаза, которые в конце концов открылись и увидели друг друга, окажутся не наши, а других.

Бесцветные бесформенные существа, мешки, набитые потрохами, населяли окружающую среду и не задумывались, что с собою делать, как выразить себя и как себя представить в законченной стабильной форме, обогащающей зрение любого, кто будет на них смотреть. Они перемещались туда-сюда, чуть вверх — чуть вниз, из воды в воздух и обратно, не отдаляясь от скалы, рассеянно блуждали, поворачивались, а тем временем мы с ней и все, трудившиеся над своею формой, ишачили что было мочи. Нашими стараниями невнятное пространство превратилось в поле зрения. И кто же этим пользуется? Эти чужаки, которые о зрении никогда не помышляли (будучи настолько безобразными, что лицезрение друг друга не доставило бы им особой радости), те, кто был наиболее глух к призыву формы. Тогда как мы в поте лица выполняли основную часть работы, прилагая усилия к тому, чтоб было что увидеть, эти втихомолку взяли себе самое удобное — стали приспосабливать свои ленивые зачаточные органы восприятия к тому, что можно было воспринять, то есть к нашим образам. Только не надо говорить, что и они проделали серьезную работу, — из киселя, который наполнял их головы, могло бы выйти что угодно,

для того, чтобы создать светочувствительное устройство, многого не надо. А вот чтоб усовершенствовать его, тут я на вас бы посмотрел! Как это сделать, если нет объектов видения, притом заметных, бросающихся в глаза? Короче, эти самые глаза достались им фактически за наш счет.

Так зрение, ***наше*** зрение, которое мы предощущали, оказалось взглядом других на нас. Как бы то ни было, произошла великая революция; внезапно вокруг нас открылись глаза — роговицы, радужки, зрачки: выпученные водянистые гляделки спрутов и каракатиц, остолбенелые студенистые зенки золотых рыбок и султанок, глаза на ножках — раков и лангустов, фасеточные глазищи мух и муравьев. Вот движется блестящий черный тюлень, мигая глазками с булавочные головки. Вот улитка выдвигает глаза-шары на кончиках длинных антенн. Невыразительные глаза чайки вглядываются в водную поверхность. Исследуют через стеклянную маску дно сощуренные глаза подводного охотника. Закрытые стеклами бинокля глаза капитана дальнего плавания и защищенные большими черными очками глаза купальщицы сходятся на моей раковине, а потом встречаются и забывают обо мне. Я ощущаю на себе взгляд обрамленных линзами

для дальнозорких глаз зоолога, который ловит меня в глазок «Роллефлекса». В этот миг мимо проплывает стайка крошечных, только что выведшихся килек — таких маленьких, что кажется: в каждой из этих белых рыбок есть место лишь для черной точки глаза, так что по морю плывет огромная стая глаз.

И все эти глаза были мои. Это я создал возможность для их появления, я играл активную роль, я поставлял им сырье — образ. С появлением глаз возникло и все остальное, а значит, все то, чем другие, обладая зрением, стали — во всех их функциях и формах, — и все, что, обладая зрением, они во всех этих их функциях и формах смогли сделать, происходит от того, что сделал я. Не зря сказал: все это множество вещей уже было заключено в моем существовании на скале, в моих отношениях с другими обоего пола и т. д., в создании мною раковины и т. д. Короче, я действительно предвидел все.

И вот теперь я — или один из моих образов — жил в глубине каждого глаза и встречался с ее образом, точнейшим образом ее в том мире, который открывается за полужидкой сферой радужек, за тьмой зрачков и за зеркальным дворцом сетчаток, в нашей истинной стихии, не знающей

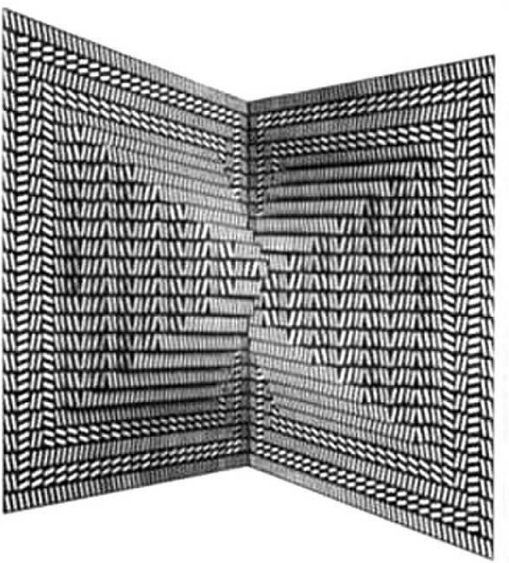
границ и берегов.

Т нулевое

Обложка первого издания сборника«Ti con zero» (Т нулевое). 1967 год

ITALO CALVINO

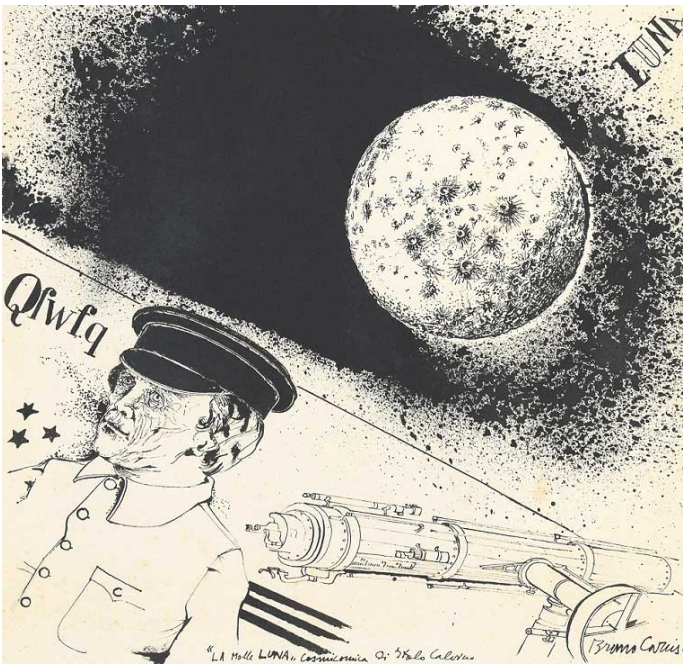
TI CON ZERO



Часть первая
Снова Qfwfq
Мягкая Луна*

Бруно Карузо. Мягкая Луна

*** Примечания: ***
La molle Luna.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



По расчетам Х. Герстенкорна, продолженным Х. Альфвеном, земные континенты — не что

иное, как части Луны, упавшие на нашу планету. Луна вначале и сама была планетой и вращалась вокруг Солнца, пока близость Земли не заставила ее сойти с околосолнечной орбиты. Попав в зону земного тяготения, Луна в своем вращении по околоземной орбите приближалась к нам все больше и больше. В какой-то миг взаимное притяжение стало деформировать поверхность обоих тел, вздымая высоченные волны, от которых отрывались куски, кружившиеся в пространстве между Землей и Луной, — по преимуществу фрагменты лунного вещества, падавшие в конце концов на Землю. Потом под действием земных приливов и отливов Луна стала снова отдаляться, пока не оказалась на своей нынешней орбите. Однако часть лунной массы — вероятно, половина, — оставшись на Земле, образовала континенты.

— Она делалась все ближе, — вспоминал Qfwfq, — я заметил это по дороге домой — скользнул взглядом снизу вверх по стенам из стекла и стали и увидел, что она уже не огонь, каких немало светит вечером, — и тех, что вспыхивают на Земле, когда в урочное время на электростанции опускают рубильник, и небесных, более далеких, но не столь уж и отличных, — во всяком случае,

они не выбиваются из общего стиля (я употребляю настоящее время, но речь веду о тех далеких временах), — так вот, я увидал, что она стала не такая, как все прочие небесные и дорожные огни, приобрела рельефность на вогнутой карте тьмы и выглядит уже не точкой — даже крупной вроде Марса и Венеры, — не дырой, откуда льется свет, а целой порцией пространства и приобретает форму, определить которую сразу было нелегко, так как глаза еще не пригляделись, да и очертания были недостаточно отчетливы для правильной фигуры; в общем, я увидел, что она во что-то превращается.

И это впечатляло. Так как это «что-то», хоть и состояло непонятно из чего — а может, именно поэтому, — было не похоже на все, что окружает нас, на все эти штуковины из пластика, нейлона, хромированной стали, хлопка, плексигласа, синтетических смол, алюминия, винилового клея, облицовочного пластика, асфальта, цинка, асбеста и цемента — всего того, среди чего мы родились и выросли. Это было нечто совершенно чуждое, нездешнее. Я смотрел, как она приближается, словно собираясь ударить с фланга по небоскребам Мэдисон-авеню (тогдашней, совершенно не похожей на теперешнюю), —

приближается по залитому светом коридору в темном небе, протянувшемуся по-над верхними карнизами, — как увеличивается, навязывая привычному для нас пейзажу не только свой неподобающего цвета свет, но также свой объем, свою тяжесть и свою несообразную субстанцию. И чувствовал: по всей поверхности Земли — по листам металла, по железной арматуре, по резиновым полам, хрустальным куполам, — по всему, что здесь у нас было обращено вовне, — проходит дрожь.

С максимальной скоростью, возможной при таком скоплении машин, я миновал туннель и направился к Обсерватории. Сибиллу я застал приникшей к телескопу. Обычно она не хотела, чтобы я к ней приходил в рабочие часы, и стоило мне появиться, на лице ее тотчас же отражалось недовольство; но в тот вечер — ничего подобного, она даже не взглянула в мою сторону, и было ясно, что ждала меня. Вопрос «Ты видела?» звучал бы глупо, но я сумел сдержаться только потому, что прикусил язык, — так не терпелось мне узнать, что она об этом думает.

— Да, планета Луна стала еще ближе, — произнесла Сибилла, прежде чем я успел ее о чем-либо спросить, — как и предполагалось.

Я почувствовал определенное облегчение.

— Предполагается, что потом она будет отдаляться? — осведомился я.

Сибилла, по-прежнему прикрыв один глаз, другим смотрела в телескоп.

— Нет, — отозвалась она, — Луна не будет отдаляться.

Я не понял.

— Ты хочешь сказать, что Земля и Луна теперь — парные планеты?

— Я хочу сказать, что Луна больше не планета и что у Земли теперь имеется луна.

Такими недомолвками Сибилла просто выводила меня из себя.

— Что за разговор? — возразил я. — Планета есть планета, все планеты равнозначны.

— У тебя поднимется язык назвать это планетой? Такой же планетой, как Земля? — Сибилла оторвалась от телескопа, подзывая меня. — Смотри! Куда там ей!

Я не слушал ее объяснений: увеличенная телескопом, Луна предстала предо мной во всех подробностях, то есть предо мной предстало сразу множество подробностей, перемешанных так, что чем больше я смотрел, тем меньше был уверен, что понимаю, как она устроена, и мог вы-

разить лишь впечатление, которое производила на меня эта картина: завораживая, она вызывала отвращение. Прежде всего можно было бы сказать о покрывавшей ее сети зеленых жилок — где погуще, где пореже, — хотя, по правде говоря, это была самая невыразительная, самая неяркая подробность, — но основные свойства Луны от взгляда ускользали, — вероятно, из-за скользковатого мерцания, которое как бы сочилось из многочисленных пор или клапанов, а также из видневшихся кое-где обширных вздутий наподобие нарывов или медицинских банок. Ну вот, опять я останавливаюсь на подробностях, хотя такое описание лишь на первый взгляд красноречиво, а в сущности, не так уж убедительно, рассматривать детали нужно в целом — как следствие неравномерного вздутия подлунной мякоти, где напрягавшей бледные наружные ткани Луны, где принуждавшей их, напротив, образовывать извилины и углубления, похожие на шрамы (так что Луна, казалось, состояла из кусков, приставленных друг к другу и не слишком основательно скрепленных), — так вот, отдельные детали следует рассматривать в их совокупности, как симптоматику заболевания какого-либо органа, — к примеру, густой лес

можно сравнить с торчащей из прорехи черной щетиной.

— Разве это справедливо, что она продолжает обращаться вокруг Солнца с нами наравне? — изрекла Сибилла. — Земля настолько мощней Луны, что в конце концов сместит ее с солнечной орбиты и заставит обращаться вокруг себя. Тогда у нас будет спутник.

Я постарался скрыть свою тревогу. Ведь я знал, как реагирует в подобных случаях Сибилла, — демонстрируя собственное превосходство, а то и цинизм, — мол, ее-то ничем не удивить. Думаю, она просто хотела спровоцировать меня (даже надеюсь, — мне ведь было бы еще тревожнее от мысли, что ей и в самом деле все равно).

— И… и… — начал я, пытаясь сформулировать вопрос так, чтобы в нем слышалось лишь объективное любопытство, но при этом мой вопрос заставил бы Сибиллу сказать в ответ мне что-нибудь успокоительное (значит, я еще рассчитывал на это, еще хотел, чтобы ее спокойствие передалось и мне!), — что ж, она отныне так и будет у нас все время на виду?

— Да это что! — отозвалась Сибилла. — Она еще приблизится. — И впервые улыбнулась. — Не нравится? Не знаю, мне лично нравится, глядя

на нее — такую необычную, такую далекую от всех известных форм, — знать, что она наша, что Земля захватила ее в плен и держит при себе.

Тут уж я не стал скрывать своего состояния:

— А нам это не угрожает?

Сибилла поджала губы с выражением, которое я не любил.

— Мы же на Земле, а Земля обладает такой мощью, что сама, как Солнце, может удерживать вокруг себя планеты. Разве Луна сравнится с ней своей массой, гравитационным полем, емкостью орбиты, плотностью? Луна такая мягкая, рыхлая, Земля твердая, прочная, Земля держится.

— И что будет с Луной, раз она не держится?

— О, у Земли достанет силы удерживать ее.

Я подождал, пока Сибилла завершит свое дежурство, и мы отправились домой. Сразу за городом расположена дорожная развязка со взлетающими друг над другом виадуками, которые местами закручиваются спиралью, опираясь на бетонные опоры разной высоты, и никогда не знаешь, в какую сторону ты поворачиваешь, следуя туда, куда указывают белые стрелы, нарисованные краской на асфальте: бывает, город, оставленный тобою за спиной, вдруг возникает впереди и надвигается на тебя светлыми квад-

ратиками, что проглядывают между опорами и оборотами спирали. Луна была как раз над нами, и город с его тончайшей филигранью света и звенящими витринами под этой шишкой, вспучивавшей небо, показался мне каким-то хрупким, висящим в воздухе как паутина.

Я сейчас воспользовался словом «шишка», имея в виду Луну, но должен тотчас же прибегнуть к нему для обозначения нового явления, которое я обнаружил в тот момент, — шишки, вздувшейся на шишке-Луне и торчавшей теперь в сторону Земли этаким свечным нагаром.

— Что это? Что происходит?! — воскликнул я, но очередной виток дороги устремил нашу машину в темноту.

— Это земное притяжение вызывает на поверхности Луны твердые приливы, — ответила Сибилла. — Я же говорю: вот это плотность!

Извивы автострады снова обратили нас лицом к Луне, и мы увидели: нагар еще больше вытянулся в сторону Земли, закручиваясь на конце как ус и утончаясь между основанием и этой завитушкой, так что в конце концов скорее стал похож на гриб.

Жили мы в коттедже на одном из множества бульваров бесконечного Зеленого Пояса. И, как

всегда по вечерам, расположились в креслах-качалках на веранде, выходившей в сад за домом, но на сей раз наши взгляды обращены были не на пол-акра стекловидных плиток, составлявших наш клочок зеленого пространства, а вверх — их притягивал нависший над нами осьминог. Ибо потеков на Луне стало уже столько, что они тянулись к Земле подобно клейким щупальцам, каждое из которых, казалось, вот-вот само извергнет потоки вещества, напоминавшего смесь студня, щетины, плесени и слюны.

— Ну может ли небесное тело вот так разваливаться? — гнула свою линию Сибилла. — Теперь-то ты поймешь, насколько превосходит Луну наша планета. Пусть, пусть падает — придет момент, когда она остановится. Гравитационное поле Земли обладает такой силой, что, притянув планету Луну почти вплотную к нам, сможет вдруг ее остановить, вернуть на должное расстояние и удерживать там, заставляя ее вращаться, сжимаясь в плотный шар. Пускай Луна благодарит нас за то, что не станет киселем!

Сибилла рассуждала, на мой взгляд, убедительно, — Луна и мне казалась чем-то низшим и отталкивающим, — но успокоить меня ей не удавалось. Я смотрел, как извивались в небе

ответвления Луны, словно пытаясь достать или обвить что-то земное: внизу был город, окруженный ореолом света, выраставшим из сумрачных зубцов домов на горизонте. Остановится ли вовремя Луна, как прогнозирует Сибилла, прежде чем одно из ее щупальцев обовьет шпиль небоскреба? А если еще раньше один из этих сталактитов, делавшихся все длинней и тоньше, оторвется и свалится на нас?

— Может, что-нибудь и свалится, — признала Сибилла, не дожидаясь моего вопроса, — ну и что? Вся Земля покрыта непромокаемыми, не подверженными деформации, моющимися материалами. Даже если на нас прольется эта лунная кашица, можно будет в два счета все почистить.

Заверения Сибиллы словно раскрыли мне глаза на то, что явно началось не вдруг, и я воскликнул:

— Вон, падает! — указывая на взвесь из некой тюри в воздухе. Но в это самое мгновение на Земле началась какая-то вибрация, какой-то звон, и навстречу секреторным выделениям Луны взвились мельчайшие твердые фрагменты — крупицы распадавшихся осколков земной брони: непробиваемых стекол, стальных пластин, изоляционных покрытий, всасываемых притяжением

Луны как вихрь песчинок.

— Повреждения минимальны, — изрекла Сибилла, — и исключительно поверхностны. Эти бреши мы заделаем быстро. Логично: захватывая спутник, мы несем потери, но дело стоит того, что и говорить!

И тут до нас донесся всплеск первого упавшего на Землю лунного метеорита — сильнейший «плюх!», оглушительный и в то же время противно-вялый шум, который оказался первым в череде похожих на щелчки кнута взрывных ударов, обрушивавшихся со всех сторон. То, что падало, глаза сумели различить не сразу — прошло какое-то время — еще и потому, наверное, что я сначала думал, будто и частицы Луны тоже излучают свет, а вот Сибилла уже видела такое прежде и теперь комментировала это зрелище, как всегда, пренебрежительно и одновременно чрезвычайно снисходительно:

— Где же это видано — мягкие метеориты? Одно слово — с Луны свалились. Но что-то в этом есть…

Один такой «метеорит» повис на заграждении из металлической сетки, прогнувшейся под его тяжестью, и понемногу стекал на землю, сразу смешиваясь с ней. Я стал осматриваться, чтобы

из отдельных впечатлений составить более или менее полную картину всего происходившего, и обнаружил, что все плиточное покрытие испещрено другими пятнами, помельче, — какой-то едкой слизью, просачивавшейся в земную толщу, или подобием растения-паразита, которое вбирало в свою клейкую мякоть все, к чему ни прикасалось, или сывороткой, содержавшей множество колоний быстрейших и прожорливейших микроорганизмов, или поджелудочной железой, разрезанной на части и стремившейся опять срастись, присасываясь срезом к срезу, или…

Я хотел закрыть глаза и не мог; но, услышав, как Сибилла произносит:

— Мне, конечно, и самой противно, но когда думаешь о том, что наконец-то стало очевидно: Земля — другая, высшая планета, а мы — земляне, то, пожалуй, можно даже получить от погружения во все это какое-то удовольствие, все равно потом… — я резко повернулся к ней. Ее рот был приоткрыт в улыбке, какой я никогда у нее не видел, — влажной, несколько животной…

Ощущение, которое я испытал, увидев ее такой, слилось с испугом, вызванным падением едва ли не в тот же миг изрядного куска Луны, который превратил в развалины не только наш коттедж,

но и весь бульвар, и все предместье, и значительную часть Графства, затопив их чем-то жарким, приторным, дурманящим. Нам пришлось раскапывать это лунное вещество всю ночь, чтобы вновь увидеть свет. Рассветало; метеоритный дождь закончился; Земля вокруг неузнаваемо переменилась, покрывшись высоченным слоем грязи, в которой можно было различить какие-то зеленые пролиферации и верткие организмы. Не было заметно и следа привычных нам земных материй. Луна в небе удалялась, бледная и тоже неузнаваемая: если присмотреться, оказывалось, что она покрыта плотным слоем всяческих осколков, обломков, оторвавшихся камней — блестящих, острых, гладких…

Дальнейшее известно. Сотни тысяч веков спустя мы силимся вернуть Земле ее прежний, натуральный облик, восстанавливаем первобытную земную оболочку из пластика, цемента, листового металла, стекла, эмали, дерматина. Но как мы далеки от цели! Кто знает, сколько еще времени обречены мы вязнуть в испражнениях Луны, сырых от хлорофилла, желудочных соков, росы, азотных удобрений, сливок, слез. Сколько еще ждать до той поры, когда мы скрепим правильные, гладкие пластины первозданного щита

Земли, устранив — или по крайней мере скрыв — чуждые, враждебные вкрапления! При том, что мы пытаемся сложить и кое-как скрепить теперешние материалы — продукцию испорченной Земли, тщетно силящуюся имитировать те первые несравненные субстанции.

Говорят, что настоящие — тогдашние — материалы теперь имеются лишь на Луне — невостребованные, валяются там как попало, и лишь ради этого имеет смысл отправиться туда — чтобы вернуть их вновь на Землю. Не хотел бы выглядеть брюзгой, но все мы знаем, в каком состоянии находится Луна — ничем не защищенная от космических бурь, дырявая, разрушенная, потрепанная. Отправившись туда, мы испытаем только разочарование, увидев, что и тогдашние земные материалы — главный довод в пользу превосходства Земли и основное его доказательство — на самом деле были низкосортны и недолговечны и их нельзя использовать даже как лом. Никогда я прежде не посмел бы высказать такие подозрения Сибилле. Но теперь, лохматая, ленивая, раздавшаяся от пирожных с кремом, что она может мне сказать?

Происхождение птиц[*]

07. Ирина Винник. 2014

*** Примечания: ***
L'origine degli Uccelli.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



В ходе эволюции птицы появились довольно

поздно, позже всех прочих классов животного царства. Прародитель Птиц — во всяком случае, древнейший из тех, чьи следы нашли палеонтологи, — Археоптерикс (все еще обладавший кое-какими свойствами Рептилий, от которых он произошел) возник в юрский период, на десятки миллионов лет позднее первых млекопитающих. Это единственное исключение из последовательного появления групп животных, занимавших все более высокие ступени эволюции.

— В те дни сюрпризов мы уже не ждали, — рассказывал Qfwfq, — к чему дело идет, вроде было уже ясно. Кто есть в наличии, тем и разбираться меж собой, кто из них там сможет пойти дальше, кто останется таким, как есть, кто просто не сумеет выжить. Выбор широтой не отличался.

Но однажды утром снаружи до меня донеслось пение, которого я никогда раньше не слышал. Точней (поскольку еще неизвестно было, что такое пение), я услышал звуки, каких никто до той поры не издавал. Выглядываю. Вижу неизвестное животное, которое сидит на ветке и поет. У него имелись крылья, лапы, хвост, когти, шпоры, перья, пух, плавники, колючки, клюв, зубы, зоб, рога, бородка, гребешок, звезда во лбу. Это была

птица — вы уже поняли, а я-то — нет, тогда таких никто еще не видел. Она пропела: «Коакспф… Коакспф… Коаааххх…», захлопала переливчатыми крыльями из разноцветных перьев, взлетела, опустилась чуть подальше и опять запела.

Сейчас рассказывать такие истории лучше не словами, а комиксами. Но чтоб нарисовать картину с птицей на ветке, выглядывающим наружу мной и всеми прочими, задравшими кверху носы, нужно помнить, каким было тогда многое теперь уже давно мной позабытое: во-первых, то, что я сейчас здесь называю птицей, во-вторых, то, что я подразумеваю под «я», в-третьих, ветку, в-четвертых, место, куда я выглянул, и наконец — все остальное. Но я помню лишь, что все это изрядно отличалось от того, как мы стали бы изображать это сейчас. Так что лучше сами попытайтесь представить череду картинок с персонажами на заштрихованном со знанием дела фоне, но слишком уж отчетливо воображать эти фигурки, да и фон вам ни к чему. Рядом с каждой из фигурок будет облачко с ее словами или издаваемыми ею звуками, но вчитываться вам не обязательно, достаточно на основании моего рассказа представить общую картину.

Вам сразу бросится в глаза масса восклицатель-

ных и вопросительных знаков, фонтанирующих у всех нас из голов: это значит, что мы глядим на птицу, полные изумления — радостного изумления и желания и самим запеть, подражая этой первой ее трели, и подпрыгнуть, видя, как она взлетает, — но одновременно и смятения, поскольку факт существования птиц подрывал привычные с детства представления.

На следующей ленте комиксов представлен мудрейший из нас — старый U(h). Отделившись от прочих, он взывает:

— Не смотреть! Это ошибка! — и расставляет руки, будто хочет закрыть всем остальным обзор. — Сейчас я зачеркну ее! — кричит он — или думает, — и можно отобразить это намерение чертой, пересекающей картинку наискось. Увернувшись от диагонали, птица перелетает в противоположный угол. U(h) доволен: благодаря этой косой черте ему теперь ее не видно. Однако птица переламывает черту клювом и налетает на старика. U(h) делает попытку провести поверх нее два перекрещенных штриха. В месте пересечения линий птица устраивается высиживать яйцо. Старый U(h) выхватывает его, яйцо падает, а птица улетает. Вся картинка перепачкана желтком.

Рассказывать посредством комиксов мне очень нравится, только вот, пожалуй, стоит чередовать изображения событий с раскрытием их смысла, к примеру, изложить причины, по которым U(h) так упорно не желает признавать существование птицы. Итак, вообразите прямоугольник, сплошь покрытый текстом, содержащим краткое изложение того, что предшествовало действию: *«После Птерозавров много миллионов лет не наблюдалось и следа животных с крыльями».* («Кроме насекомых», — можно уточнить внизу страницы.)

Считалось: стадия птиц миновала. Сколько твердили, будто все, что только от Рептилий могло произойти, уже произошло! Будто на протяжении миллионов лет все мыслимые формы живых существ имели возможность появиться, расселиться по земле, а потом — в девяноста девяти процентах случаев — прийти в упадок и исчезнуть. Мы сходились в том, что оставшиеся виды — единственно достойные рождать все более отборное и приспособленное к окружающей среде потомство. Нас долго мучили сомнения, кто — чудовище, а кто — нет, но мы уже давно их разрешили: не чудовища — все сущие, чудовища — все, кто мог быть, но их нет, так как

последовательность причин и следствий благоприятствовала, ясное дело, не им, а нам.

Но если вновь пошли такие странные животные, если эти допотопные Рептилии опять демонстрируют покровы и конечности, в коих прежде никогда не ощущалось надобности, в общем, если такое по определению невозможное создание, как птица, оказывается, может существовать (и к тому же быть такой красивой птицей, радовавшей глаз, планируя на листья папоротника, и слух — издавая трели), тогда рубеж между чудовищами и не-таковыми рушится и все становится возможным.

Птица улетела вдаль. (На картинке — черная тень на фоне облаков: не потому, что птица черная, а потому, что именно так принято изображать далеких птиц.) Я отправился за ней. (Вид со спины: я углубляюсь в беспредельный горно-лесной пейзаж.) Старый U(h) кричит мне вслед:

— Вернись, Qfwfq!

Я двигался по незнакомой местности. Не раз казалось, что я заблудился (в комиксах достаточно изобразить это однажды), но слышалось «Ко-акспф…», и, поднимая глаза, я видел птицу, сидевшую на каком-нибудь растении, словно поджидая меня.

Так я добрался до кустов, мешавших видеть, что там было дальше. Проложив сквозь них дорогу, я увидел под ногами пустоту. Земля кончалась, я стоял на самом краю бездны. (Вьющаяся над моей головой спираль означает головокружение.) Внизу виднелись только облака. А птица летела дальше, временами выгибая ко мне шею, словно приглашая за собой. Но куда, если там, дальше, — ничего?

И вот из белой мглы возникла тень, как бы туманный горизонт, который постепенно вырисовывался все отчетливей. Из пустоты приближался материк; взгляду открывались его побережья, долины и возвышенности, над которыми теперь летела птица. Но какая птица? Она была уже не одна, все небо полнилось теперь машущими крыльями всех цветов и форм.

Свесившись с окраины нашей земли, я наблюдал за приближением дрейфующего материка.

— Сейчас врежется в нас! — крикнул я, и в этот миг земля содрогнулась. (Аршинные буквы: «Бэнг!») Столкнувшиеся миры отскочили рикошетом друг от друга, чтобы сомкнуться вновь и снова разделиться. Во время одного из столкновений я оказался переброшен на другую сторону, и вновь разверзшаяся пропасть разлучила меня

с моим миром.

Я стал оглядываться — и не узнавал ничего вокруг. Деревья, кристаллы, звери, травы — все было иным. На ветвях сидели не только птицы, но и рыбы (надо же их как-нибудь назвать) с паучьими лапами и, скажем так, пернатые черви. Но что я буду вам расписывать тамошние формы жизни, можете вообразить какие вам угодно, более или менее странные — не важно. Важно, что вокруг я наблюдал те формы, которые мир в ходе своих превращений мог принять, однако же не принял в силу какой-нибудь случайности или глубинной несовместности, — забракованные, безвозвратно, навсегда утраченные формы.

(Для выражения этой идеи нужно картинки этой полосы дать как бы в негативе: пусть фигурки, выполненные в той же манере, что и прежде, будут белые на черном фоне или перевернутые — если допустить, что можно определить, где у каждой из них верх, где низ.)

Меня прошиб холодный пот (на рисунке от моего лица брызжут капли во все стороны) при виде образов, всякий раз напоминавших что-нибудь знакомое, но при этом — с искаженными пропорциями или в нелепых сочетаниях (моя маленькая белая фигурка на фоне черных теней, занявших

всю картинку), что не могло удержать меня от жадного исследования окрестностей. Мой взгляд не то что не избегал этих чудовищ, а, наоборот, искал их, словно для того, чтоб убедиться: не такие уж они чудовища, и чтобы ужас в конечном счете уступил место ощущению, не лишенному приятности (на рисунке его изображают лучи света, прорезающие черный фон): есть красота и там, нужно лишь суметь ее распознать.

Любознательность гнала меня от побережья вглубь меж ощетинившихся поросшею холмов, похожих на огромных морских ежей. Я заблудился в глубине неведомого континента. (Моя фигурка стала совсем крошечной.) Представлявшиеся мне еще совсем недавно самыми диковинными существами птицы уже казались старыми знакомыми. Их было столько, что они образовали вокруг меня подобие купола, одновременно поднимая и опуская крылья (птицы заполняют всю картинку, меня почти не видно). Другие пернатые сидели кто на земле, кто на кустах и по мере моего движения перемещались тоже. Взяли меня в плен? Я повернулся и хотел пуститься наутек, но окружавшие меня стеною птицы оставляли мне проход лишь в одну сторону. Они подталкивали меня туда, куда хотели,

все их движения вели в одном направлении. Что же там таилось, в глубине? Я не сумел увидеть ничего, кроме огромного яйца, которое медленно раскрывалось наподобие раковины.

Внезапно оно распахнулось. Я улыбнулся. От волнения глаза мои наполнились слезами. (Изображен один я, в профиль; то, что мне открылось, — за пределами картинки.) Предо мною было существо невиданной дотоле красоты. Красоты иной, не допускавшей возможности сравнения ни с одной из признанных у нас форм красоты (на рисунке ее по-прежнему не видно, то есть вижу ее только я, но не читатель), и в то же время нашей, самой что ни есть нашей, для нашего мира (пусть в комиксах ее символизирует женская ручка, ножка или грудь, выглядывающая из-под мантии из перьев), так что было ясно: без нее миру нашему всегда чего-то не хватало. Я чувствовал, что оказался там, где все сходилось (на картинке можно нарисовать, к примеру, глаз с длинными лучистыми ресницами — этакий глаз циклопа) и куда меня затягивало, как в воронку (или рот — приоткрывшиеся тонко очерченные губы шириной в мой рост, — втянутый которым я лечу к выплывающему из мрака языку).

Вокруг — пернатые: бьют клювами, хлопают

крыльями, тянут ко мне когти и кричат: «Коакспф… Коакспф… Коаааххх…»

— Кто ты? — произнес я.

Надпись *«Qfwfq перед прекрасной Орг-Онир-Ор-нит-Ор»* делает мой вопрос излишним; за содержащим его облачком следует другое, тоже выходящее из моих губ, со словами:

— Я люблю тебя! — На это утверждение, столь же пустое, наползает очередное облачко с еще одним вопросом:

— Ты у них в плену? — на который я не жду ответа и в четвертом, поместившемся над остальными, облаке добавляю: — Я спасу тебя. Сегодня ночью мы совершим побег.

Следующая полоска целиком посвящена подготовке к бегству, сну птиц и чудовищ в ночной тьме, озаренной слабым светом с незнакомого небосвода. Темный прямоугольник и мой голос:

— Ты не отстаешь?

И голос Ор:

— Я здесь.

Теперь можете представить несколько полосок, полных приключений: *«Qfwfq и Ор мчатся через Птичий Континент».* Волнения, погони, опасности — в меру вашего воображения. Чтобы рассказать о них, нужно объяснить, какая была

Ор, но я не в силах. Представьте, что ее фигура возвышалась надо мной, но я ее при этом заслонял и оберегал.

Мы добрались до края бездны. Рассветало. Неяркое солнце, восходя, позволило нам разглядеть вдали наш континент. Как добраться до него? Я повернулся к Ор. Она раскрыла крылья. (Вы не заметили, что у нее есть два крыла, обширных, как паруса?) Я уцепился за ее убранство. Она взлетела.

На следующих картинках Ор пролетает среди облаков, и кажется, будто голова моя высовывается из ее утробы. Дальше: в небе — треугольник, составленный из черных треугольничков, — стая птиц, преследующих нас. Мы над бездной, наш материк все ближе, но стая приближается быстрей. Это хищные птицы с горящими глазами и кривыми клювами.

Если Ор приложит все усилия, то мы окажемся среди своих прежде, чем они набросятся на нас. Ну, Ор, давай, еще несколько взмахов — и на следующей полоске мы будем в безопасности.

Какое там! Эта орава окружила нас. Ор летит посреди хищников (белый треугольничек, вписанный в другой, полный черных треугольничков). Мы пролетаем над моими краями; если

бы Ор сейчас сложила крылья и упала вниз, мы были бы свободны. Но она летит все так же высоко, вместе с птицами. Я крикнул:

— Ор, снижайся! — Она приоткрыла свое облачение и выронила меня («Слафф!»). Стая, с Ор посередине, разворачивается и летит назад, уменьшаясь на фоне горизонта. Я лежу простертый на земле, один.

(Надпись: *«Пока Qfwfq отсутствовал, произошло немало изменений».*) Обнаружение птиц привело к кризису представлений, управлявших нашим миром. Прежде, казалось бы, такой понятный, простой и правильный ход вещей, в силу которого все было так, как было, утратил свою значимость, теперь это была только одна из множества возможностей, теперь никто не исключал, что все могло бы идти совсем иначе. Отныне каждый словно бы стыдился того, что он такой, как ожидалось, и старался похвастаться какой-нибудь неправильностью, чем-то непредвиденным, и уж если нельзя выглядеть совсем как птицы, хотя бы предъявить какую-нибудь птичью черту, такую, чтобы не ударить лицом в грязь в сравнении с этими диковинными птицами. Я не узнавал своих соседей. Не то чтоб они очень изменились, но если раньше те, кто

обладал какими-то необъяснимыми особенностями, старались скрыть их, то теперь, напротив, выставляли. И у всех был вид, как будто бы они с минуты на минуту чего-то ждали: не аккуратного проистекания следствий из причин, как раньше, а чего-то неожиданного.

Я чувствовал себя не в своей тарелке. Другие полагали, будто я придерживаюсь прежних, «доптичьих» представлений, и не понимали, что меня их поползновения только потешают: я ведь повидал совсем иное, открыл мир ранее неведомых явлений и не мог его забыть. И в центре мира этого я видел пленную красоту, утраченную ныне для меня и для всех нас, и был в нее влюблен.

Я проводил дни на верху горы, вглядываясь в небо: не летит ли птица? А на верху другой горы, соседней, находился старый U(h), также глядевший в небо. Старый U(h) всегда считался среди нас мудрейшим, но отношение его к птицам изменилось. Теперь он полагал их не ошибкой, а истиной — единственной на свете. И начал истолковывать полеты птиц, стараясь угадать по ним, что ждет нас в будущем.

— Ты ничего не видел? — кричал он со своей горы.

— Нет, — отвечал я.

— Вон она! — выкрикивали время от времени то я, то он.

— Откуда она летела? Я не заметил, с какой стороны неба она появилась. Скажи, откуда? — спрашивал он беспокойно. По этим сведениям U(h) делал свои предвещания.

Или же я спрашивал:

— Куда она улетела? Я не видел! Она там скрылась или там? — поскольку я надеялся, что птицы укажут мне дорогу к Ор.

Ни к чему подробно живописать ту хитрость, с помощью которой удалось вернуться мне на Птичий Континент. В комиксах об этом можно рассказать при помощи рисованного трюка. (Прямоугольник пуст. Появляюсь я. Намазываю клеем правый верхний угол, а сам усаживаюсь в левом нижнем. В левый верхний влетает птица. Вылетая из прямоугольника, она приклеивается к нему хвостом и, летя дальше, тянет его за собой вместе со мной, сидящим в нем. Так я попадаю в Страну Птиц. Не нравится — представьте любую другую историю, главное — чтобы я там очутился.)

Едва это случилось, я почувствовал, как острые когти впились мне в руки и в ноги. Я оказался в окружении птиц, одна из которых села мне на

голову, другая стала клевать в шею.

— Qfwfq, ты арестован! Наконец-то мы тебя поймали! — и они заключили меня в одиночку.

— Меня убьют? — спросил я у пернатого тюремщика.

— Узнаешь завтра на суде, — ответил тот, сидя на решетке, словно на насесте.

— А кто будет меня судить?

— Царица Птиц.

На следующий день меня препроводили в тронный зал. И там было то самое огромное яйцо, раскрывавшееся словно раковина! Я невольно вздрогнул.

— Значит, ты не пленница! — воскликнул я.

Меня клюнули в шею:

— Поклонись царице Орг-Онир-Орнит-Ор!

Ор сделала знак. Все птицы замерли. (На рисунке видно, что из перьев появилась тонкая рука в кольцах.)

— Женись на мне — и ты спасен, — сказала Ор.

Сыграли свадьбу. О ней я тоже не могу поведать внятно: смутные картины мелькают в памяти взвихрившимися переливчатыми перьями. Может быть, я заплатил за счастье отказом понимать то, что со мной происходило.

Я спросил об этом Ор:

— Я хочу понять…

— Что?

— Все, все это. — Я указал вокруг.

— Поймешь, когда забудешь то, что раньше понимал.

Спустилась ночь. Яйцевидная раковина оказалась не только троном, но и брачным ложем.

— Ты забыл?

— Да. Что? Не знаю, я ничего не помню.

— Прямоугольник с мыслями Qfwfq: *«Нет, я еще помню, вот-вот забуду все, но стараюсь помнить!»*

— Иди сюда.

Мы легли на ложе.

(Прямоугольник с мыслями Qfwfq: *«Я не забываю… Как приятно забывать… Нет, я должен вспомнить… Я хону забыть и в то же время помнить… Я чувствую: еще секунда — и я все забуду… Подожди… Ой!» Вспышка, в ней — крупно: «Понял!» или «Эврика!»*)

В какой-то миг между утратой всего, что знал я раньше, и обретением всего, что я узнаю позже, мне удалось объять умом одновременно мир сущего и мир возможного, и обнаружилось, что это части одной системы. Мир птиц, чудовищ и прекрасной Ор был тем же миром, где я всегда и

жил, миром, который никто из нас до конца так и не понял.

— Ор! Все ясно! Ты! Как здорово! Ура! — воскликнул я, вскочив с постели.

Моя супруга испустила крик.

— Сейчас я объясню тебе! — воскликнул я, ликуя. — Сейчас я все всем объясню!

— Молчи! — вскричала Ор. — Сейчас же замолчи!

— Мир един, и тот, что есть, необъясним без… — возгласил я.

Налегая сверху, Ор пыталась заглушить меня (на рисунке: навалившаяся на меня грудь):

— Молчи! Молчи!

Сотни клювов и когтей раздирали балдахин над брачным ложем. Птицы опускались на меня, но за их крыльями я различал сливавшийся с чужим материком родной пейзаж.

— Нет разницы! Чудовища и не-чудовища всегда существовали рядом! Чего не было, то продолжает быть… — Я говорил это не только птицам и чудовищам, но и тем, кого знал с незапамятных времен, спешившим к нам со всех сторон.

— Qfwfq! Ты потерял меня! Давайте, птицы! — И царица оттолкнула меня от себя.

Слишком поздно я заметил, что птицы стара-

ются своими клювами разъединить два мира, в озарении моем соединившихся.

— Нет, Ор, постой, не покидай меня, мы должны быть вместе, где ты, Ор! — кричал я, летя кубарем в бездну среди перьев и клочков бумаги.

(Птицы разрывают клювами и лапами страницу с комиксами и разлетаются с клочками в клювах. Следующая страница тоже покрыта комиксами, представляющими мир, каким он был до появления птиц и предположительный дальнейший ход событий. Я там среди других, вид у меня растерянный. В небе продолжают кружить птицы, но внимания на них никто уже не обращает.)

Все понятое тогда мною я забыл. Рассказываю вам лишь то, что смог припомнить, там, где память изменяет, пользуюсь догадками. Я никогда не прекращал надеяться, что птицы когда-нибудь вновь отнесут меня к царице Ор. Но настоящие ли это птицы — те, которые остались среди нас? Чем больше я смотрю на них, тем меньше они напоминают мне о том, что я хотел бы вспомнить. (Последняя полоска комиксов вся состоит из фотографий: птица, та же птица крупным планом, увеличенная птичья голова, часть головы, глаз…)

Кристаллы*

*** Примечания: ***
I cristalli.
© Перевод. С. Ошеров, 2010.



Если бы раскаленные вещества, из которых некогда состоял земной шар, имели бы в своем распоряжении достаточно времени, чтобы остынуть постепенно, и могли двигаться достаточно свободно, то каждое из них отделилось бы от всех прочих и образовало один огромный кристалл.

— Да, все могло бы выйти иначе, я знаю, — сказал старый Qfwfq, — уж мне-то незачем об этом напоминать: я свято верил в этот кристаллический мир, который должен был возникнуть, и никак не мог примириться с тем, что придется жить в нынешнем мире, аморфном, измельченном, вязком. Конечно, я тоже каждое утро бегу, как все, сажусь в поезд (мой дом находится в Нью-Джерси), чтобы потом оказаться среди этого скопления остроконечных призм, которые поднимаются за Гудзоном; я провожу в них целые дни, двигаюсь туда и сюда по горизонтальным и вертикальным осям, прорезающим эти твердые тела, или же бреду единственно возможным путем между их гранями и ребрами. Но обмануть меня нельзя: я знаю, что меня заставляет двигаться среди гладко-прозрачных стен и симметричных углов только для того, чтобы я наконец поверил,

будто нахожусь внутри кристалла, и признал, будто правильная форма, ось вращения, постоянные плоскости действительно существуют там, где всего этого нет и в помине. Существует только нечто противоположное — например, стекло; эти твердые тела, которые стоят вдоль улиц, все они из стекла и не имеют ничего общего с кристаллами. Мешанина молекул затопила мир, застыла, одев его твердой корой, и кора эта приняла формы, навязанные ей извне, а внутри она так и осталась самой обыкновенной магмой, такой же, как во времена раскаленной Земли.

О тех временах я, конечно, не жалею: а если вы, слыша, как я брюзжу по поводу нынешнего положения вещей, решите, будто я с тоской вспоминаю о прошлом, то вы, без сомнения, ошибетесь. Земля без коры была ужасна: вечно раскаленный ад, болото расплавленных минералов, черные воронки железа и никеля, стекающих через любую трещину к центру Земли, гейзеры, взметающие высокие струи ртути. Мы с Вуг прокладывали себе путь через кипящую мглу и никогда не могли найти твердой опоры. Гряда жидких скал вставала перед нами — и тут же улетучивалась, испаряясь едким облаком, мы кидались сквозь это облако — и чувствовали,

как оно сгущается и обрушивает нам на голову ливень металлических капель, от которого вздуваются густые волны алюминиевого океана. Вещества вокруг нас поминутно меняли свое состояние, разбросанные в беспорядке атомы перестраивались по-новому, но столь же беспорядочно, потом опять по-новому, а в сущности, все оставалось неизменным. Изменить что-либо по-настоящему могло бы только одно — если бы атомы сложились в каком-нибудь порядке: этого мы с Вуг и искали, пробираясь через мешанину элементов, без малейших ориентиров в пространстве и во времени.

Я согласен, теперь все обстоит иначе: у меня на руках часы, я сравниваю угол между их стрелками с углом на всех других часах, которые я вижу вокруг; у меня есть календарь, в который я записываю текущие дела, и приходо-расходная книга, в которой я складываю и вычитаю цифры. На Пенстейшн я схожу с трамвая, спускаюсь в подземку, стою в вагоне, одной рукой держусь за перекладину, а другой подношу к глазам согнутый газетный лист и пробегаю столбцы биржевых курсов. Короче говоря, я не порчу общей игры и, как все, делаю вид, будто в столбе пыли есть порядок, есть правильная система или по край-

ней мере взаимодействие различных систем, пусть не согласованных, но хотя бы соизмеримых между собой настолько, чтобы придать любому комочку материи правильную огранку, что не мешает ему, однако, вскоре рассыпаться в прах.

Конечно, раньше было хуже. Мир был просто сплавом веществ, все в нем растворяло все и все было растворено во всем. Вуг и я без конца теряли друг друга, — мы, которые и так с самого начала были затеряны в этом мире и не имели понятия о том, что можно (или можно было бы) найти в нем, чтобы больше не теряться.

И вдруг мы заметили нечто. Вуг сказала:

— Вот.

Она указывала туда, где среди потока лавы что-то приобретало форму. Это было твердое тело с правильными гладкими гранями и острыми ребрами; оно медленно росло, как бы вбирая в себя рассеянную вокруг материю, и его форма тоже менялась, все время сохраняя, однако, пропорции и симметрию… Этот предмет отличался от всего окружающего не только формой, но и тем, как входили в него лучи света, пронизывая его и преломляясь в нем. Вуг сказала:

— Блестят! Много!

Действительно, их было много. На раскаленной

поверхности, где прежде лишь на мгновение появлялись пузырьки газа, изрыгаемого чревом Земли, теперь возникали кубы, октаэдры, призмы, прозрачные, на первый взгляд как бы воздушные и пустые изнутри, однако на самом деле обладающие, как мы вскоре убедились, невероятной плотностью и твердостью. Сверкание этой ребристой поросли заливало Землю, и Вуг сказала:

— Весна!

Я поцеловал ее.

Теперь вы поняли: если я люблю порядок, то это вовсе не значит, что я, как другие, по своему характеру склонен подчиняться внутренней дисциплине, подавляющей инстинкты. Для меня представление об абсолютно правильном, скрупулезно симметричном мире связано с этим первым взлетом ликующей природы, с любовным напряжением, с тем, что вы называете эросом, в то время как ваши обычные сравнения, в которых страсть ассоциируется с беспорядком, а любовь — с необузданным излиянием — поток, огонь, водоворот, вулкан, — напоминают мне лишь о пустоте, об отсутствии стремлений и скуке.

Мне не так трудно было понять, что я заблуждался. Вот чего я достиг в конечном счете: Вуг

исчезла, от алмазного эроса осталась лишь пыль; мнимый кристалл, в котором я теперь заключен, — это никчемное стекло. Я еду вдоль линий, прочерченных по асфальту, подстраиваюсь к веренице машин перед светофором (сегодня я приехал в Нью-Йорк на машине), трогаюсь с места, когда зажигается зеленый свет (как всегда, по четвергам, когда я провожаю), включаю первую скорость (Дороти и ее психоаналитику), стараюсь двигаться на постоянной скорости, чтобы не попадать больше на красный свет до самой Второй авеню. Но то, что вы называете порядком, — это только изношенная заплата, прикрывающая полный разброс. Я нашел место на стоянке, но через два часа мне придется спуститься и снова бросить монету в счетчик, а если я забуду это сделать, машину перенесут прочь, подняв ее краном.

В те времена я мечтал о кристаллическом мире, и даже не мечтал, а видел его воочию, видел нерушимую ледяную кварцевую весну. Передо мной вырастали прозрачные многогранники, высокие, как горы, сквозь всю их толщину видна была тень той, что стояла позади.

— Вуг, это ты! — Чтобы догнать ее, я взбирался на зеркально гладкие стены и соскальзывал назад, я хватался за острые ребра и ранил себе руки,

я обегал вокруг обманчивые грани, и за каждым поворотом гора светилась изнутри по-иному: она то сверкала, то матово сияла, то неожиданно темнела.

— Где ты?

— В лесу!

Кристаллы серебра походили на нитевидные деревья с ветвями, расходящимися под прямым углом. Похожие на скелеты кусты из олова и свинца превращали в густую чащу этот геометрический лес. Вуг бежала через него.

— Qfwfq! Здесь совсем не так! — кричала она. — Золотое, зеленое, синее!

Перед нашими глазами внезапно открылась долина бериллов, окруженная стеной с зубцами всех цветов — от аквамаринового до изумрудного. Я мчался следом за Вуг, и в душе у меня боролись счастье и страх: я был счастлив видеть, как каждое из веществ, составлявших мир, приобретало свою окончательную и прочную форму, и меня мучил смутный страх, что победа этого столь многообразного порядка может стать — на более высокой ступени — копией того беспорядка, который остался у нас позади. Я мечтал о всеобъемлющем кристалле, о мире-топазе, вне которого уже не оставалось бы ничего; я не мог

дождаться, когда Земля сбросит оболочку из газа и пыли, в которой вращались все небесные тела, и первой прекратит разбазаривание скопища атомов, именуемого Вселенной.

Конечно, при желании кто-нибудь может вбить себе в голову, будто видит некий порядок в расположении звезд и галактик или освещенных окон пустого небоскреба, где от девяти до двенадцати ночи уборщицы наводят чистоту и полотеры натирают паркет в конторах. Найти оправдание, во что бы то ни стало найти оправдание, если вы не хотите, чтобы все рассыпалось! Сегодня вечером мы ужинаем в городе, в ресторане на террасе двадцать третьего этажа. Это деловой ужин; нас шестеро, с нами Дороти и жена Дика Бемберга. Я ем устриц, гляжу на звезду, которая называется, если я не ошибаюсь, Бетельгейзе. Мы разговариваем: мужчины о производстве, дамы о потреблении. Впрочем, увидеть небесный свод трудно: огни Манхэттена сливаются в сплошное сияние, которое невозможно отделить от сияющего неба.

Чудо кристалла — это сетка атомов, которая постоянно повторяется. Этого-то Вуг не хотела понять. Я скоро увидел, что ей нравилось как раз совсем другое: открывать в кристаллах самые

ничтожные различия, неправильности, изъяны.

— Неужели, по-твоему, так уж важно, если тут один атом не на месте или одна грань искривилась? — говорил я. — Ведь этому телу суждено расти бесконечно по строгой схеме. Мир стремится стать единым кристаллом, кристаллом-гигантом…

— А мне нравится, когда есть много маленьких, — отвечала она, разумеется, из чувства противоречия.

Но все же в ее словах была правда. Кристаллы появлялись ежеминутно тысячами, они проникали друг в друга: два кристалла, соприкоснувшись, переставали расти в месте соприкосновения и не могли избавиться от следов той расплавленной скалы, от которой они заимствовали свою форму. Мир вовсе не стремился становиться единой, все более простой геометрической фигурой. Он застывал в виде призм, кубов и октаэдров из стекловидной массы, и все они, казалось, борются друг с другом, чтобы избавиться от соперников и захватить для себя всю материю…

Из внезапно остывшего кратера посыпался ливень алмазов.

— Погляди! Какие большие! — воскликнула Вуг.

Со всех сторон извергались вулканы. Алмазный материк, преломляя солнечные лучи, играл мозаикой радужных граней.

— Но разве ты не говорила, что маленькие нравятся тебе больше? — напомнил я.

— Нет! Эти! Огромные! Хочу! — И она бросилась вперед.

— Но вот там они гораздо больше, — сказал я, указывая наверх.

Блеск ослеплял нас, но я уже видел перед глазами алмазную гору, граненый переливчатый хребет, самоцвет-небоскреб, Эверест-Кохинор[7].

— А зачем они мне? Мне нравятся те, которые я могу взять, я хочу иметь их. — В сердце Вуг уже разгорелась жажда стяжания.

— Это он будет иметь нас: он сильнее, и мы будем у него в плену, — ответил я.

Как всегда, я ошибся. Алмазы имеют другие, а не мы. Когда я прохожу мимо магазина Тиффани, я всегда останавливаюсь у витрины и смотрю на пленные алмазы, осколки нашего утраченного царства. Они лежат в бархатных гробах, в оковах из серебра и платины. Воображение и память помогают мне вернуть им гигантские размеры,

---

[7] Примечания: 22

Кохинор — один из самых крупных алмазов в мире.

превратить их в скалы, в сады, в озера; я представляю себе голубую тень Вуг, которая отражается в их гранях. Нет, это не в моем воображении, а на самом деле Вуг приближается ко мне среди алмазов. Я оборачиваюсь. Девушка смотрит на витрины из-за моего плеча, волосы падают ей на глаза.

— Вуг! — говорю я. — Наши алмазы!

Она смеется.

— Так это ты? — спрашиваю я. — Как тебя теперь зовут?

Она дает мне свой телефон.

Мы находимся среди стеклянных плит; я живу среди мнимого порядка, хочу сказать я ей, у меня контора в Ист-Сайде и дом в Нью-Джерси, на уикэнд Дороти пригласила Бембергов. Над мнимым порядком не властен мнимый беспорядок, нам нужен был бы алмаз, но не тот, который мы можем иметь, а тот, который имел бы нас, свободный алмаз, в котором мы с Вуг были бы свободными атомами…

— Я позвоню тебе, — говорю я ей, только потому, что мне хочется снова начать с нею ссориться.

Там, где в кристалл алюминия случайно попадали атомы хрома, к его прозрачности примешивалось темно-красное: так под нашими ногами

расцветали рубины.

— Ты видишь, — говорила Вуг, — разве они не красивые?

Мы не могли пройти через долину рубинов, не затеяв ссоры.

— Да, — отвечал я, — потому что правильность равносторонних многогранников…

— Уфф, — перебивала она. — Ты еще скажешь, что без примеси инородных атомов получились бы рубины!

Я начинал злиться. Мы могли без конца спорить, что красивее, но уже можно было сказать с уверенностью, что Земля идет навстречу желаниям и вкусам Вуг. Расщелины, трещины, из которых поднимается лава, расплавляя утесы и перемешивая минералы, создавая неожиданные конгломераты, — таков был ее мир. Видя, как она ласкает гранитные стены, я оплакивал утраченную в этих скалах чистоту полевого шпата, слюды и кварца, а ее, казалось, трогало только одно: дробное многообразие, которое приобретал теперь облик мира. Как нам было понять друг друга? Для меня имели цену только однородность, неделимость, достигнутый покой, для нее — только разделение и смесь, одно вещество, или другое, или оба вместе. Нам тоже только

предстояло обрести облик, до тех пор пока кристалл-я не сольется с кристаллом-Вуг и пока мы вместе не станем, быть может, единым целым с кристаллом-миром. А она, казалось, уже знала, что законом живоц материи будет разделение и перспектива воссоединиться лишь в бесконечности. Так, значит, права была Вуг?

В понедельник я звоню ей. Погода стоит совсем летняя. Мы вместе проводим день на Стэйтен-Айленд, растянувшись на пляже. Вуг смотрит, как песчинки сыплются у нее между пальцами.

— Сколько крохотных кристаллов… — говорит она.

Мир осколков, окружающих нас, для нее остается прежним миром, тем миром, каким мы ожидали увидеть его, когда он родился из раскаленной массы. Конечно, кристаллы до сих пор придают миру форму, их расколотые, еле видные обломки обкатаны волнами, заключены в скорлупу из всех элементов, растворенных в морской воде, спаяны в обрывистые скалы, в утесы из песчаника, который сто раз рассыпался и отвердевал, в плиты шифера и сланца, в гладко поблескивающий мрамор; они сделались подобием того, чем могли бы стать и чем уже никогда не станут.

Я опять начинаю упрямиться, как в те времена, когда стало ясно, что я проиграл, что земная кора превращается в нагромождение разрозненных форм, а я не желал примириться с этим и при виде всякой неровности очертаний, на которую радостно указывала мне Вуг, пытался убедить себя, будто все кажущееся нам на первый взгляд асимметричным имеет где-нибудь соответствие, так как включается на самом деле в столь сложную кристаллическую сетку, что постичь ее нет никакой возможности (но я все же принимался вычислять, сколько миллиардов граней и ребер должен иметь тот кристалл-лабиринт, тот сверхкристалл, который включит в себя все кристаллы и некристаллы).

Вуг принесла с собой на пляж маленький транзисторный приемник.

— Все происходит от кристалла, — говорю я, — даже музыка, которую мы слушаем. — Но я знаю, что кристалл транзистора неполон, нечист и неоднороден, что в плетении его атомов множество изъянов.

— Ты одержимый, — отвечает она.

И наш старый спор возобновляется. Она хочет заставить меня согласиться, что настоящий порядок — это тот, который несет в себе неодно-

родность и разрушение.

Катер подходит к Бэтри, наступил вечер, в светящихся сетках окон, составляющих призмы-небоскребы, я вижу теперь только черные провалы и бреши. Я провожаю Вуг до дома, поднимаюсь к ней. Она живет в Даунтауне, содержит фотоателье. Я гляжу вокруг и вижу только сплошные нарушения в порядке атомов: люминесцентные трубки, линзы, скопления крохотных кристалликов серебра на фотопластинках. Я открываю холодильник, беру лед для виски, из транзистора доносятся звуки саксофона.

Тот кристалл, которым стал мир, тот кристалл, в котором мир увидел самого себя, в котором он преломляется на тысячи образов-искр, — это не мой кристалл. Он источен, нечист, неоднороден. Победа таких кристаллов (и победа Вуг) равнозначна поражению Кристалла (и моему поражению). И сейчас я жду, пока кончится пластинка, чтобы сказать об этом Вуг.

Кровь — море*

*** Примечания: ***

Il sangue, Il mare.

© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

Иллюстрация Мэтта Кича к рассказу «Кровь — море»



По сравнению с той порой, когда жизнь еще не выбралась из океана на сушу, условия существования человеческих клеток не слишком изменились: их омывают те же волны, продолжающие бить в артериях. В самом деле, по химическому составу наша кровь подобна водам изначальных морей, из которых первые живые клетки и первые многоклеточные существа получали кислород и прочие необходимые для жизни элементы. По мере развития более сложных организмов проблема сохранения контакта максимального числа клеток с жидкой средой не могла уже решаться просто путем увеличения внешней поверхности; в выигрышном положении оказались организмы с полыми пространствами, внутрь которых могла проникать морская вода. Но только превращение этих полостей в разветвленную систему кровообращения стало залогом поступления кислорода ко всем клеткам организма, что создало возможности для распространения жизни на земле. Море, в котором пребывали некогда живые существа, теперь заключено внутри их.

— По существу, не столь уж многое изменилось: я продолжаю плавать в таком же теплом море, — сказал старый Qwfwq, — то есть внутри

у меня то же самое, что было некогда снаружи, когда я плавал в нем под солнцем, как плаваю во тьме сейчас, когда оно внутри; если что и изменилось, так это то, что у меня теперь снаружи, нынешняя наружность, прежде бывшая внутри, но это не имеет особого значения. Ну вот, вы сразу: как, наружность не имеет значения? Я имел в виду: если вдуматься, то с точки зрения прежнего «снаружи», то есть теперешнего «внутри», что есть теперешнее «снаружи»? Это то, где сухо, вот и все, это — там, куда не добираются приливы и отливы, что, конечно, тоже важно, раз оно теперь снаружи и считается более достойным внимания по сравнению с тем, что внутри, но вообще-то и когда оно было внутри, то тоже было важно, хоть и для более ограниченного, как тогда казалось, круга, — вот что я имел в виду, — менее достойного внимания. Ну вот, мы сразу же заговорили о других, то есть не обо мне, то есть о ближних, раз уж вы так ставите вопрос, ближний — это тот, о чьем существовании знаешь потому, что он снаружи, — да, с нынешней «наружи», но и в прежние времена, когда снаружи было то, в чем плавали, весьма насыщенный и теплый-теплый океан, — то и тогда мелькали там другие, в том былом «снаружи»,

так что к знанию о существовании других можно прийти и через такое «снаружи», какое было прежде, — через нынешнее «внутри», а теперь, когда на заправочной станции в Кодоньо за руль вместо меня сел д-р Чечере, на соседнем месте осталась Дженни Фумагалли, а я переместился назад, к Зильфии, — что там теперь снаружи, каково оно, это «снаружи»? Сухо, небогато смыслами, значениями, довольно тесно (нас четверо в «фольксвагене»), и при этом все безлично и могло бы быть заменено другим — и д-р Чечере, и Дженни Фумагалли, и Кодоньо, и бензозаправка, — а что до Зильфии, то в тот момент, когда я положил ей руку — мы отъехали всего-то километров на пятнадцать от Казальпустерленго — на колено, или, может, это Зильфия начала меня ласкать, не помню точно, то, что совершается снаружи, так нетрудно перепутать, — все наружное стало сущей ерундой в сравнении с тем, что творилось у меня в крови и что я чувствовал с тех самых пор, как мы с Зильфией поплыли вместе в обжигающем, пылающем океане.

Подводные глубины были цвета, какой сейчас мы можем видеть лишь на обороте наших век, — светлее там, куда сквозь водную толщу удавалось проникать потокам солнца или проблескам его

лучей. Покачиваясь на волнах, мы отдавались воле течения — глубинного, но очень легкого, порой почти неощутимого и в то же время — такой силы, что мы то возносились ввысь гигантскими валами, то низвергались в бездонные пучины. Зильфия то круто уходила подо мною вниз в густо-фиолетовом водовороте, то взмывала надо мною к самым алым полосам, пробегавшим чередой под лучезарным сводом. Все это мы ощущали через наши поверхностные слои, растянутые для увеличения поверхности, с которой граничило это питательное море, так как с каждым приливом и отливом все, что было в нем, переходило снаружи внутрь нас, все питательные вещества, включая железо, — короче говоря, здоровая пища, так что никогда мне не было так хорошо, как в ту пору. Точнее, хорошо мне было оттого, что, наращивая свою поверхность, я увеличивал возможности контакта с этим полезнейшим «снаружи», но в то же время по мере расширения зон моего тела, смачиваемых морским раствором, рос и мой объем, и все более объемистая часть меня становилась для наружной стихии недоступной, сухой, скрытой, и бремя этой иссушенной оцепенелой толщи было единственным, что омрачало наше с Зильфией счастье, ибо и она чем больше

занимала — во всем своем великолепии — места в море, тем больше набиралось и в ней непроницаемой инертной толщи — неприкосновенной, недоступной для прикосновений, закрытой для притока жизненных сил, неспособной принять те сообщения, которые я посылал ей посредством колебаний волн. Так что можно было бы сказать и что теперь мне лучше, чем тогда, — теперь, когда слои прежней поверхности, в ту пору обращенные наружу, повернулись внутрь, как выворачивается перчатка, когда все «снаружи» повернулось внутрь и стало пронизывать нас через нитевидные разветвления, — да, можно было бы сказать так, если бы наружу не выступило то, что прежде было скрыто, растянувшись на расстояние между моим твидовым костюмом и убегающим пейзажем Басса-Лодиджаны, и теперь не окружало меня, полное нежелательных объектов вроде д-ра Чечере, со всею его толщиной, которую он прежде, должно быть, заключал внутри себя, — дурацкая манера расширяться во все стороны как шар! — теперь развернутой передо мною в непростительно неровную, изобилующую деталями поверхность, особенно на жирном, сплошь в фурункулах, загривке, так напрягшемся, что в него впился полужесткий

воротник, в момент, когда доктор со словами: «Эй, эй, вы, там, сзади!» — чуть сдвинул зеркало заднего обзора и наверняка заметил, что вытворяют наши с Зильфией руки, наши жалкие наружные руки, наши малочувствительные руки, старающиеся удержать воспоминание о нашем плавании, или воспоминание, плавающее в нас, или же то, что продолжает плаванье во мне и в Зильфии, или в чем продолжается плаванье, — как тогда, вдвоем.

Вот то различие, которое я мог бы провести, чтоб лучше передать, чем «раньше» отличалось от «теперь»: раньше плавали мы сами, теперь же плаванье происходит в нас, — но если вдуматься, то лучше этого не делать, так как на самом деле и тогда, когда море все было снаружи, я в нем плавал так же, как сейчас, помимо своей воли, то есть тогда во мне происходило плаванье в такой же мере, как теперь, поток окутывал меня и увлекал — туда, сюда, — в этой легкой ласковой стихии, где нежились мы с Зильфией, переворачиваясь вокруг себя, паря над прозрачными рубиновыми безднами, играя в прятки среди бирюзовых лент, змеившихся со дна, но эти ощущения движения на самом деле рождала — объяснить вам, что? — некая всеобщая пульсация, только не

надо это смешивать с тем, что сейчас, ибо с тех пор, как море стало внутри нас, оно само собою производит при движении впечатление поршня, но тогда, конечно, невозможно было говорить о поршне, — как представить поршень без цилиндра, этакую безграничную камеру внутреннего сгорания? — поскольку море, даже океан, в котором мы пребывали, нам казалось безграничным, в то время как теперь везде — пульсация, биенье, гул, хлопки — внутри артерий и снаружи, море ускоряет свой бег в артериях, когда я чувствую, что меня ищет рука Зильфии, точнее, только я почувствую, как ускоряет оно бег в артериях Зильфии, чуть та почувствует, что ее ищет моя рука (два разных бега, представляющие собой бег одного моря, сходятся при соприкосновении изжаждавшихся пальцев), и «снаружи», непроницаемое изжаждавшееся «снаружи», тоже тайно силится имитировать биенье, гул, хлопки, сотрясающие все у нас внутри, вибрирует в акселераторе под ногой д-ра Чечере, и вся череда автомобилей, замерших у выезда с автострады, тщится воспроизвести пульсацию океана, скрытого теперь внутри нас, алого океана, некогда безбрежного и освещенного солнцем.

Эта неподвижная очередь машин своими

выхлопами порождает ложное ощущение движения; когда она начинает двигаться, то все равно — как если бы стояла — движение ложно, оно сводится к простому повторению, вновь и вновь, дорожных указателей, белых разделительных полос, щебеночного покрытия, и вся наша поездка — просто ложное движение по неразличимо-неподвижному «снаружи». Только море двигалось и движется, снаружи и внутри, благодаря лишь этому движению мы с Зильфией знали о существовании друг друга, хоть тогда друг друга даже не касались: я здесь покачивался на волнах, а она — там, но довольно было морю ускорить ритм биения — и я чувствовал присутствие Зильфии, отличное, к примеру, от присутствия д-ра Чечере, бывшего, однако, тоже там, я чувствовал его, ощущая ускорение того же рода, но с противоположным зарядом, то есть ускорение моря (ныне — крови) под воздействием Зильфии было (есть) подобно плаванью вокруг нее или игра с ней в салки на плаву, в то время как ускорение (моря, ныне — крови), происходящее под действием д-ра Чечере, было (и есть) подобно уплыванию от него или, напротив, плаванью ему навстречу, чтобы прогнать его, хоть расстояние между нами не меняется. Теперь

вот д-р Чечере ускоряет движение (те же слова приобретают иные смыслы) и на повороте обгоняет «фламинию» — под действием присутствия здесь Зильфии, чтобы отвлечь ее рискованным маневром — ложным рискованным маневром — от истинного плаванья, сближающего ее со мной, я имею в виду, «ложным маневром», а не «лжерискованным», поскольку риск, пожалуй, настоящий, то есть имеет отношение к тому, что у нас внутри и что могло бы в результате столкновения выскочить наружу, хотя сам этот маневр ровным счетом ничего не может изменить, какие бы значения ни принимали расстояния между «фламинией», поворотом и «фольксвагеном», и как бы они ни соотносились, ничего существенного не произойдет, как не происходит ничего такого с Зильфией, — какое ей дело до обгонов этого д-ра Чечере; разве что Дженни Фумагалли ахнет: «Боже, как мы мчимся!», но ее восторги, навеянные домыслами, будто все это лихачество д-ра Чечере — ради нее, неоправданны вдвойне: во-первых, потому, что ее «внутри» не посылает никаких сигналов, которые могли б оправдывать ее восторги, во-вторых, поскольку она заблуждается насчет намерений д-ра Чечере, который заблуждается и сам, считая свое хулиганство

подвигом, как заблуждалась прежде Дженни Фумагалли на мой счет, когда я вел машину, а она сидела рядом, в то время как на заднем сиденье заблуждался д-р Чечере, сидевший с Зильфией, и оба — он и Фумагалли — были сосредоточены на видимом расположении слоев несмываемой толщи, им, разросшимся шарообразно, было невдомек, что на самом деле происходит только то, что происходит с плавающей частью нас, поэтому дурацкая история обгонов, начисто лишенных смысла, — оставления позади застывших, неподвижных, прикованных предметов — продолжает накладываться на историю нашего свободного, истинного плаванья, пытаясь обрести какой-то смысл путем вторжения в нее единственно известным ей дурацким образом — создавая риск кровопролития, возможности превращения нашей крови в море крови, видимого возвращения к морю крови — уже не крови и не морю.

Здесь нужно поскорее уточнить — пока неосмотрительным обгоном грузовика с прицепом д-р Чечере не сделал любые уточнения бессмысленными, — как так получалось, что древнее кровеморе было общим для всех и в то же время личным для каждого из нас, и какое

плавание в нем и далее возможно, а какое — нет, не знаю, сумею ли я сделать это быстро, — дело в том, что разговор об общих материях не может вестись в общих выражениях, а должен различаться в зависимости от конкретных отношений, так что лучше начать все сначала. Итак, общность жизненной стихии — это было здорово, поскольку этим, так сказать, возмещалось наше расставание с Зильфией, и мы могли чувствовать себя одновременно и двумя различными индивидуумами, и единым целым, что всегда имеет свои преимущества, но если в это целое входят и такие совершенно невыразительные особи, как Дженни Фумагалли, или, хуже того, просто-напросто несносные, как д-р Чечере, тогда благодарю покорно, это куда менее интересно. И тут в игру вступает инстинкт воспроизводства: нам с Зильфией захотелось — по крайней мере мне, но, думаю, и Зильфии, раз она была не против, — умножить наше с ней присутствие в морекрови, чтобы мы все больше пользовались им, а д-р Чечере — все меньше, и, поскольку именно для этого у нас и был запас репродуктивных клеток, мы с большой охотой приступили к оплодотворению, я оплодотворил в ней все, что можно было оплодотворить, чтобы присутствие

наше возросло по абсолютной численности и в процентном отношении, а д-р Чечере, который тоже так неловко старался воспроизвести себя, оставался в меньшинстве, во все более — я так мечтал об этом, почти бредил этим — незначительном, ничтожном, ноль целых ноль ноль и т. д. процента меньшинстве, до исчезновения в густом облаке нашего потомства, точно в стае стремительных прожорливых рыбок, которые растащили бы его на крупицы и, сожрав, навеки погребли бы, крупицу за крупицей, в наших сухих внутренних слоях, сделав его недоступным для морских течений, и морекровь тогда бы стала единым целым с нами, то есть вся кровь наконец стала бы нашей кровью.

Вот то сокровенное желание, которое я испытываю, глядя на торчащий впереди загривок: сделать так, чтоб д-р Чечере исчез, поглотить его, то есть не самому съесть — мне противно (все-таки прыщи), а испустить из себя (то есть из нас с Зильфией) стаю ненасытных рыбешек (я-сардинок, Зильфия-и-я-сардинок) и сожрать д-ра Чечере, лишить его права пользования кровеносною системой (помимо двигателя внутреннего сгорания, призрачного права пользования двигателем этого дурацкого сгорания), и, раз уж до того

дошло, заодно сожрать зануду Фу-магалли, которая, оттого что прежде я сидел с ней рядом, вбила себе в голову, будто бы я за ней ухлестывал, — всю жизнь мечтал! — и говорит теперь этим своим голосишком: «Осторожно, Зильфия… — (чтобы вбить клин) — я-то его знаю…» — чтобы создалось такое впечатление, будто теперь я с Зильфией, как прежде с ней, только откуда ей-то знать, что у нас на самом деле происходит с Зильфией, как мы продолжаем с Зильфией плавать, как во время оно, в алых безднах?

Так вот, хочу договорить во избежание путаницы: съесть д-ра Чечере, проглотить его было наилучшим способом отъединить его от кровеморя в те времена, когда кровь и являлась морем, когда теперешнее «внутри» было снаружи, а внутри — теперешнее «снаружи», но сейчас, по правде говоря, я жажду, чтобы д-р Чечере стал форменным «снаружи», жажду лишить его «внутри», которым он пользуется незаконно, вынудить его извергнуть море, пропавшее внутри его избыточной особы, — короче говоря, моя мечта — выпустить из д-ра Чечере не столько стаю я-селедок, сколько очередь я-пуль, которые — та-та-та-та! — изрешетят его с головы до ног, чтоб грязная кровь забила из него ключом

и вытекла вся до последней капли, что связано и с моим замыслом произвести потомство вместе с Зильфией, умножить наше с Зильфией кровообращение до взвода или даже батальона потомков-мстителей, вооруженных автоматами, чтобы изрешетить д-ра Чечере, — вот что мне сейчас подсказывает голос крови (сугубо втайне, внешне-то я, как и вы, всегда веду себя культурно и воспитанно), связанный с ощущением крови как «нашей крови», — ощущением, которое я ношу в себе, подобно вам, как человек культурный и воспитанный.

До сих пор как будто бы все ясно, но учтите: дабы стало ясно, я все настолько упростил, что не уверен в том, что шаг вперед — и в самом деле шаг вперед. Ибо, едва заходит речь о «нашей крови», отношение между нами и кровью изменяется, то есть главное — что кровь «наша», а все прочее, включая нас самих, уже имеет меньшее значение. Так что в моем порыве к Зильфии, кроме желания, чтоб мы владели с ней вдвоем всем океаном, было и желание утратить его, океан, и — чтоб, распавшись на частицы, раствориться в нем — желание растерзать друг друга, то есть — для начала — растерзать ее, мою возлюбленную Зильфию, разодрать на мелкие кусочки и

всю слопать. Точно так же ей на самом деле хотелось растерзать меня и проглотить, сожрать со всеми потрохами. Пятно солнца снизу, из морских глубин, казалось колыхающейся оранжевой медузой, и Зильфия скользила меж искристых нитей, поглощенная желанием поглотить меня, кружившего среди сплетения теней, которые тянулись из пучины словно длинные водоросли, окольцованные индиговыми бликами, — я жаждал вцепиться в ее плоть зубами. Наконец, когда «фольксваген» стал круто поворачивать, я навалился на нее и впился в ее кожу — там, где «американский» разрез на рукаве оставлял ее плечо открытым, — а она вонзила в меня свои острые ноготки, просунув пальцы между пуговиц рубашки, — тот же порыв, прежде направленный на то, чтоб вырвать ее (или меня) из-под власти моря, а теперь — на то, чтоб вырвать море из нее и из меня, но, так или иначе, — на переход от пламенной стихии жизни к бесцветности и мутности, с которыми сопряжено отсутствие нас в океане или океана — в нас.

Таким образом, один и тот же порыв претворяется во мне в безудержную любовь к Зильфии и безудержную неприязнь к д-ру Чечере, — лишь так мы и вступаем в отношения с другими, то

есть именно этот порыв питает наши отношения с другими, принимающие самые разнообразные и неузнаваемые формы, — к примеру, когда д-р Чечере обгоняет более мощные машины, в том числе и «порше», движут им одновременно оскорбительные помыслы по отношению к этим машинам, легкомысленно любовные — по отношению к Зильфии, мстительные — по отношению ко мне и саморазрушительные — к самому себе. Так, через риск, ничтожному «снаружи» удастся вторгнуться в жизненно важную стихию, в море, где мы с Зильфией совершаем наши брачные танцы, имеющие целью оплодотворение и уничтожение: поскольку непосредственная цель риска — кровь, наша кровь, то если б речь шла лишь о крови д-ра Чечере (помимо всего прочего, не соблюдающего правил дорожного движения), стоило бы пожелать ему по крайней мере, чтоб его машину занесло в кювет, но речь о всех нас, об угрозе возвращения нашей крови из тьмы на солнце, от раздельного состояния к смешанному, — ложного возвращения, о чем все мы делаем вид, что забываем, в нашей двойственной игре, так как теперешнее «внутри», пролившись, станет теперешним «снаружи» и никак не может снова стать тогдашним.

Так мы с Зильфией, бросаясь на поворотах друг на дружку, играем в возбуждение дрожи в крови, то есть в предоставление деланным содроганиям этого пошлого «снаружи» возможности слиться с вибрацией, идущей из глубины тысячелетий и морских глубин, и тут вдруг д-р Чечере бросает: «Не заехать ли нам в придорожный ресторанчик поесть холодного овощного супа?», маскируя благородным жизнелюбием свое всегдашнее свирепое оцепенение, а хитрюга Дженни Фумагалли: «Только нужно успеть раньше водителей грузовиков, а то нам никакого супа не достанется», — хитрюга и, как всегда, пособница самых черных сил, — а перед нами делал свои шесть десятков километров в час по дороге сплошь из поворотов черный грузовик с номерным знаком «Удине 38 96 21», и д-р Чечере подумал (а может, и сказал): «Сумею» — и устремился влево, мы же все подумали (но не сказали): «Не сумеешь», и действительно, за поворотом невесть откуда вырвалась «Дэ-Эс», и «фольксваген», попытавшись уклониться, задел за ограждение, рикошетом — боковой панелью за выгнутый хромированный бампер, снова рикошетом — за платан, потом переворот — и в пропасть, и искореженную жесть залило море общей крови, но эта кровь не стала

изначальным кровемо-рем, а лишь бесконечно малой толикой «снаружи», ничтожного сухого «снаружи», цифрой для статистики несчастных случаев, имевших место в дни уикэнда.

Часть вторая
Присцилла*

При бесполом размножении простейшее существо — клетка — на определенной стадии своего роста делится, образуя два ядра, и из одного существа выходит два. Нельзя сказать, однако, что одно из них дало жизнь другому. Два новых существа равным образом произошли от первого. Первое исчезло. Можно сказать, умерло, так как не сохранилось ни в одном из порожденных им. Но оно не разложилось, как происходит после смерти с двуполыми животными, а прекратило свое существование. Перестало существовать, как существо прерывное. Непрерывность его проявилась только в момент размножения. В определенный

*** Примечания: ***

© Перевод. Н. Ставровская, 2010

момент примитивное одно стало двумя. Каждое из этих двух существ прерывно. Но переход от одного к двум подразумевает в себе момент непрерывности. Первое умирает, но в его смерти обнаруживается основополагающая непрерывность.

Жорж Батай. Эротизм (из вступления)

Зародышевые клетки бессмертны, продолжительность жизни соматических — ограниченна. Зародышевые клетки связывают нынешние организмы с формами, жившими прежде. <…> Ранние фазы деления половых клеток, оогониев и сперматогониев, — не что иное, как обычный кариокинез. В это время каждая из клеток обладает двойным набором хромосом, и в ходе каждого деления каждая хромосома продольно расщепляется на две равные части, которые разделяются и пе-

реходят в дочерние клетки. После нескольких обычных делений они осуществляют два особых, во время одного из которых хромосомный набор делится пополам. Это редукционное деление, или мейоз, в противоположность обычному — митозу. <…> Непосредственно перед редукционным делением семенных клеток хромосомы становятся заметны: это помещающиеся в объемистом ядре тонкие волоконца, одни из них напоминают узелки, другие — палочки. Они располагаются вплотную друг к другу в продольном направлении и, кажется, сливаются, но генетическая практика доказывает, что этого не происходит. Может быть, на этой стадии либо в яйцеклетках, либо в сперматозоидах, либо и в тех и в других хромосомы обмениваются фрагментами совершенно равноценных частей. Этот процесс

называется crossing-over[8]*. <...> В ходе деления и созревания как в яйцеклетках, так и в семенных клетках происходит перераспределение отцовских и материнских хромосом.*

Т.Х. Морган. Эмбриология и генетика, гл. III

...среди Энеев, которые несут своих Анхисов, я переправляюсь на другой берег один, ненавидя этих невидимых родителей, носимых их детьми на протяжении всей жизни...

Ж.П. Сартр. Слова

Каким же образом один из компонентов клетки, нуклеиновая кислота, создает другой элемент клетки — протеин, столь отличающийся и строением, и функцией? Совершенное Эйвери

---

[8] Примечания: 25

Перекрещивание факторов при наследственности; взаимный обмен между парами хромосом при делении клетки *(англ.)*.

открытие носителя генетической информации, обозначаемого символом ДНК, произвело революцию в биологии. <…> Прежде чем делиться, клетка должна удвоить содержание ДНК, чтобы каждая из двух дочерних клеток содержала точную копию всей совокупности генетического материала. ДНК, состоящая из двух одинаковых спиралей, соединенных «водородными связями», представляет собой идеальную модель для такого удвоения. Если два волоконца расходятся, как половинки молнии, и каждая спираль является моделью для образования взаимодополняющей спирали, это гарантирует точную редупликацию ДНК, значит, гена.

Эрнест Борек. Код жизни

Все влечет нас к смерти; природа, словно бы завидуя тому благодеянию, которое для нас сотворила, часто заявляет открыто или дает понять, что она не может надолго оставлять нам одалживаемую ею капельку материи, которая не может пребывать в одних и тех же руках и должна быть постоянно в обращении: природа нуждается в ней для сотворения новых форм и требует ее обратно для иных творений.

Боссюэ. Проповедь о смерти

Мы не должны ломать себе голову над тем, как автомат такого типа может создавать другие, сложнее и крупнее его. В этом случае большие размеры и повышенная сложность создаваемого объекта, вероятно, потребуют более обстоятельных инструкций I. <…> Впоследствии все автоматы, созданные автоматом типа A, будут обладать таким же свойством. Во всех них будет место для инструкции I. <…> Ясно, что инструкция I выполняет примерно те же функции, что и ген. Ясно также, что механизм копирования B осуществляет основную фазу размножения — удвоение генетического материала, что очевидным образом играет определяющую роль в размножении живых клеток.

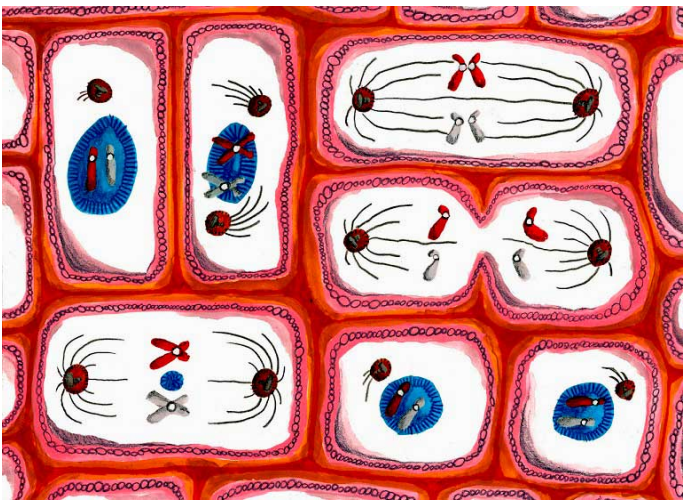
Джон фон Нойман. Общая и логическая теория автоматов

Столь превозносящие нетленность, неизменность, думаю, дошли до этого от изрядного желания пожить подольше и от ужаса, который им внушает смерть. Они не учитывают, что, будь люди бессмертны, им не следовало бы рождаться на свет. Им нужно было бы встречаться в голове Медузы, которая превращала бы их в алмазные или яшмовые статуи, чтобы они стали совершеннее, чем есть. <…> Нет никаких сомнений в том, что Земля гораздо совершеннее такая, как есть — переменчивая, тленная, — чем если бы это была каменная масса, даже цельный твердейший и при этом бесчувственный алмаз.

Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах, день 1

I
Митоз*

I. Митоз.Иллюстрация.Джо Кут.2016



*** Примечания: ***
I. Mitosi.

…И когда я говорю «до смерти влюблен», — продолжал Qfwfq, — я подразумеваю нечто такое, о чем вы и понятия не имеете, — вы, полагающие, будто влюбляются всегда в кого-нибудь другого, ну, или во что-нибудь, короче, это когда сам я здесь, а то, во что влюблен я, — там, то есть нечто из сферы внешних связей, а я вам говорю о временах вообще до всяких отношений: существовала клетка, этой клеткой был я, и все, и нечего смотреть, имелись ли вокруг другие клетки, это не играет роли, была там клетка — я, что уже много, более чем достаточно для полноты жизни, и как раз об этом ощущении полноты я и хотел поговорить, — не о том, что связано с объемом протоплазмы, которой я располагал, — он хоть и заметно вырос, но не настолько, чтоб из ряда вон, — известно: клетки полны протоплазмы, а чего ж, по-вашему, еще? — я говорю о, с позволения сказать, — кавычки открываются — духовном — кавычки закрываются — чувстве полноты, то есть о факте осознания мною, что той клеткой был я, сознание этого и порождало ощущение полноты, а полнота — само это сознание, от такого по ночам не спишь, себя не помнишь, то есть пребываешь в состоянии, которое я уже определил как «до смерти влюблен». Я знаю, сей-

час вы расшумитесь: мол, влюбленность — это не одно самосознание, но и сознание другого, и так далее и тому подобное, так вот, спасибо, я и сам до этого дошел, но если вы не запасетесь хоть чуть-чуть терпением, тогда мне без толку пытаться вам что-то объяснить, и, главное, пока не вспоминайте, как вы влюбляетесь сейчас, теперь-то — если позволительны подобные откровения — я так и сам влюбляюсь, а оговорку насчет откровений сделал, так как знаю: расскажи я вам о нынешней своей влюбленности, вы обвинили бы меня в нескромности, в то время как про бытность мою одноклеточным я могу рассказывать без всякого стеснения, что называется объективно, как о делах давно минувших дней, хорошо, что я вообще об этом что-то помню, но и того, что помню, довольно, чтобы взбудоражить меня с ног до головы, поэтому насчет объективности — это я так, в конце концов, всегда выходит субъективно, и то, что я хочу вам рассказать, рассказывать мне потому и нелегко, что я невольно впадаю в субъективность — субъективность той поры, которая, сколь ни мало я ее помню, будоражит меня всего совсем как нынешняя субъективность, поэтому я пользовался выражениями неудобными, поскольку они могут привести к недоразумениям

относительно того, что ныне выглядит совсем иначе, и одновременно удобными, поскольку они выявляют общее.

Прежде всего я должен поточней определить, что я подразумеваю, говоря, что помню я не так уж много, то есть предупредить: если некоторые части моего рассказа будут менее пространны, чем другие, это не значит, что они не так важны, а значит только то, что они хуже сохранились в моей памяти, поскольку хорошо я помню, скажем так, начальную стадию моей истории любви, чтобы не сказать — предшествующую, то есть когда доходит до самого прекрасного, моя память тает, рвется, распадается на мелкие кусочки, и совершенно невозможно вспомнить, что было потом, — я говорю это не для того, чтобы заранее предупредить, что вам придется выслушать историю любви, которую я и не помню, а с целью пояснить: не помнить ее мне до некоторой степени необходимо для того, чтобы история была такой, а не другой, то есть в то время как обычно история — это воспоминание о том, что было, здесь историей становится само отсутствие воспоминаний об истории.

Итак, я говорю о начальной стадии истории любви, которая затем, возможно, повторялась

в бесконечном множестве начальных стадий, равных первой, в их умножении или, точнее, возведении в квадрат, в экспоненциальном возрастании числа историй, неотличимых друг от друга, будто бы это одна история, но точно я не знаю, я предполагаю, как можете предположить и вы, я ссылаюсь на начальную стадию, предшествовавшую другим начальным стадиям, на самую первую, которой не могло не быть, — во-первых, так как логично ожидать, чтобы она была, а во-вторых, поскольку я ее прекрасно помню и, говоря, что она первая, вовсе не имею в виду «первая вообще», вам этого, быть может, и хотелось бы, но нет, — первая в том смысле, что любую из этих неизменно одинаковых начальных стадий можно считать первой, а ссылаться буду я на ту, которую я помню, — помню именно как первую в том смысле, что до нее я ничего не помню, а абсолютно первую ищи-свищи, и меня она нисколько не интересует.

Итак, есть клетка, одноклеточный организм, и этот организм — я, и я об этом знаю и доволен этим. Пока ничего особенного. А теперь попробуем представить эту ситуацию в пространстве и во времени. Время идет, и я, все более довольный тем, что я есть, и тем, что я — это я, одновременно

все более доволен тем, что существует время и в нем существую я, то есть тем, что время проходит, что я провожу его и что проходит оно через меня, то есть доволен тем, что содержусь во времени и даже содержу его в себе, короче, моим существованием отмечено движение времени, и, согласитесь, все это рождает ощущение ожидания, радостного ожидания, полного надежд, и даже нетерпения, нетерпеливого оживления, оживленного возбужденного молодого нетерпения и в то же время беспокойства, молодого возбужденного и, в сущности, мучительного беспокойства, невыносимо мучительного напряжения нетерпения. К тому же следует учитывать, что «быть» значит также «пребывать в пространстве», и я в самом деле был разлит в пространстве во всю собственную ширь, оно было вокруг меня, и хоть я ничего о нем не знал, было понятно, что оно продолжается во все стороны, и сейчас не так уж важно, что еще в этом пространстве содержалось, я был весь в себе и занят своим делом, и не имелось у меня ни носа, чтоб казать его наружу, ни глаз, чтобы высматривать, что же там, снаружи, есть, а чего нет, а имелось ощущение, что я занимаю в пространстве какое-то пространство и наслаждаюсь своим пребывани-

ем в нем, что я наращиваю свою протоплазму в разных направлениях, но, как я уже сказал, я не хочу распространяться о количественной и материальной стороне, я собираюсь говорить главным образом об удовольствии и жажде сделать что-нибудь с пространством, иметь время для наслаждения пространством и пространство для препровождения времени.

До сих пор я разграничивал в своем рассказе время и пространство для того, чтоб вы меня получше поняли, точнее, чтобы самому получше понять то, что я хотел бы довести до вашего понимания, но в те поры, о которых речь, я сам не очень хорошо их различал; скажем так: в некоем месте в некий момент был я, и кроме этого было «снаружи», казавшееся мне пустотой, которую я мог бы занимать в другой момент или в каком-то другом месте, в целом ряде других мест или моментов, в общем, это была потенциальная проекция меня, где тем не менее меня не было, и значит — пустота, то есть на самом деле мир и будущее, но я в ту пору этого не знал, поскольку мне на том этапе в восприятии было отказано, по линии воображения я еще больше отставал, а уж по части умственных способностей была и вовсе катастрофа, но все равно я радовался, что снару-

жи — эта пустота, которая была «не-мной», она, возможно, и могла быть «мной», поскольку «я» было единственное известное мне слово и лишь это слово я сумел бы просклонять, — могла быть, и однако в тот момент мной не была и никогда бы так-таки и не стала, тем самым я открыл для себя что-то другое, то есть «чем-то» оно не было, однако не было и мной, точнее, не было мной в тот момент в том месте и, значит, было все-таки «другим», каковое открытие вселяло в меня радостное, нет, мучительное воодушевление, головокружительное мучение, головокружение от бездны возможностей, от этой пустоты, сплошь состоявшей из «других мест», «других ра-зов» и всевозможных «по-другому» — дополнения того «всего», которое было моим «всем», и я был преисполнен любви к этим немым пустым другим местам, другим разам, другим манерам.

Итак, вы видите, что, говоря «влюблен», я не сказал чего-то вовсе несуразного, и хотя вы то и дело меня перебивали: «Ой-ой-ой, влюбился в самого себя, ой, ой, влюблен в свою персону», — я был прав, что не послушал вас, сам не выразился так и не позволил вам, и вот теперь вы видите: моя влюбленность уже тогда была неодолимой страстью к чему-то вне меня, и, до смерти влюб-

ленный, я катался туда-сюда в пространстве и во времени, как страдальцы, корчами своими наводящие на мысль, будто они стремятся вырваться наружу из самих себя.

Чтобы рассказ мой о последующем развитии событий был понятен, мне следует напомнить вам, как я устроен: похожая на клецку масса протоплазмы с ядром посередине. Так вот, не подумайте, что я набиваю себе цену, но в ядре у меня шла необычайно напряженная жизнь. Физически я был субъект в расцвете сил, хотя, на мой взгляд, привлекать внимание к этому нескромно: я был молод, здоров, достиг своего пика, но при этом я отнюдь не исключаю, что кто-нибудь другой, с более скромными кондициями, с более слабой или водянистой цитоплазмой, мог обнаружить даже большие дарования. Для моего рассказа важно то, насколько моя физическая жизнь сказывалась на ядре; я говорю «физическая» не потому, что кроме физической была еще какая-то другая жизнь, а чтобы вы поняли: в ядре физическая жизнь достигала максимальной концентрации, чувствительности, напряжения, так что, быть может, пока я со всех сторон вокруг ядра спокойненько блаженствовал своей белесой мякотью, ядро участвовало в этом цито-

плазменном блаженстве на свой ядерный манер — выделяя и сгущая украшавший его затейливый узор из черточек и крапинок, то есть во мне тайно шла кипучая ядерная работа, соразмерная моему внешнему довольству, так что чем больше, скажем так, я был доволен тем, что я — это я, тем более мое ядро преисполнялось напряженным нетерпением, и все, чем был я, и все то, чем постепенно становился, попадало в конце концов в ядро, где поглощалось, фиксировалось и накапливалось змеевидными спиралями, мало-помалу изменявшими свою манеру скручиваться и раскручиваться, так что можно было бы сказать, что все знания мои заключены в ядре, да только вы подумаете, будто функция ядра отделена от функций всего прочего и даже противоположна им, тогда как ежели и есть подвижный импульсивный организм, в котором нет особой дифференциации, то это как раз одноклеточный; но я бы не хотел впадать и в противоположную крайность — внушать вам мысль о химически однородной капле неорганического вещества, вы лучше меня знаете, как разнородны внутри клетка и ядро, которое у меня было все крапчатое, конопатое, покрытое нитями, или соломинками, или палочками, и каждая из этих нитей, пало-

чек, соломин или хромосом находилась в неких конкретных отношениях с какой-то из частей меня. Я сделаю сейчас несколько рискованное утверждение — будто был не чем иным, как суммой этих волоконец, или зубочисток, или палочек, — которое может быть оспорено, — я был целым, а не частью меня самого, — но также и поддержано — при уточнении, что эти палочки и были мной самим, то есть тем, что из меня было переводимо в палочки, чтобы потом, возможно, быть переведенным вновь в меня. И стало быть, когда я говорю о напряженной жизни ядра, то подразумеваю не столько шорох или хруст всех этих палочек внутри ядра, сколько нервозность индивида, знающего, что у него есть эти палочки, что сам он есть все эти палочки, но знающего также, что есть нечто, при посредстве палочек непредставимое, — пустота, чувствовать которую эти палочки только и могут. То есть то стремление вовне, в иные места, к иному, которое и называется желанием.

Об этом состоянии — желания — стоит сказать поточней: оно бывает, когда от просто удовлетворенности переходишь к состоянию растущей удовлетворенности и вслед за этим сразу — к удовлетворенности неудовлетворительного

уровня, то есть желанию. Неправда, что желание появляется, когда чего-то не хватает; если не хватает — делать нечего, придется обойтись, а ежели недостает необходимого, то, обходясь без оного, обходишься без выполнения какой-нибудь жизненно важной функции и, значит, быстро движешься к верному концу. То есть из полного отсутствия не может возникнуть ничего — ни хорошего, ни плохого, а лишь отсутствие еще чего-то, вплоть до жизни, каковое положение, как всем ясно, ни хорошим, ни плохим не назовешь. Но полного отсутствия в природе, насколько мне известно, не бывает; это состояние ощущается всегда по контрасту с предыдущим состоянием удовлетворенности, из которого и вырастает все, что только может. И желание совсем не обязательно предполагает наличие чего-либо желанного, — наоборот, нечто желанное может возникнуть только у того, кто пребывает уже в состоянии желания, — не потому, что раньше это нечто не было желанным, а потому, что никто о нем не знал, поэтому когда есть состояние желания, тогда и начинает появляться что-нибудь такое, что, если все пойдет как надо, станет чем-нибудь желанным, хотя может и остаться просто «чем-нибудь» в отсутствие желающего,

от желания способного дойти до прекращения собственного бытия, как в данном случае, охарактеризованном словами «до смерти влюблен», который неизвестно еще чем закончится. Так вот, возвращаясь к моменту, на котором мы остановились, скажу, что состояние желания просто влекло меня к некоему «не-сейчас-не-здесь-не-так», которое могло бы в себе что-то содержать (может быть, весь мир), или содержать только меня, или меня в связи с чем-то (или с миром), или что-то (мир), но уже без меня.

Я замечаю, что, определяя этот момент, вновь скатился к общим выражениям, утрачивая позиции, завоеванные посредством предыдущих уточнений, что нередко случается в историях любви. Я отдавал себе отчет в происходившем со мной через происходившее с ядром и, в частности, с хромосомами ядра: через них я начинал осознавать, что вне моих и их пределов — пустота, и судорожное сознание этого — опять же через них — обязывало меня что-то сделать, ввергало в состояние желания, а ежели при этом есть возможность хоть какого-то движения, желающий бывает движим желанием. Тут, однако, эта движимость желанием оставалась, в сущности, желанием движения, как бывает, когда двинуться

куда-то невозможно, так как мира нет или о том, что есть он, неизвестно, и в этих случаях желание подвигает на действия — какие-то определенные или какие угодно. Но когда ввиду отсутствия внешнего мира сделать, в общем, ничего нельзя, то единственное, чем можно заниматься в столь стесненных обстоятельствах, — это говорить. В общем, я был движим желанием говорить, это состояние желания — состояние двигавшего мной желания быть движимым желанием любви — подвигало меня на высказывания, и поскольку их предметом могло быть лишь одно — я сам, то я был движим желанием высказать себя, короче, самовыразиться. Но когда я говорил, сколь малых средств довольно для высказывания, я был не точен, поэтому поправлюсь: чтобы говорить, как минимум необходим язык. Я мог использовать в качестве языка семечки и зубочистки, именуемые хромосомами, так что довольно было повторять их, чтобы повторять меня, — само собою, как язык, что, как станет видно, — первый шаг к повторению меня как такового, что, как позже станет видно, вовсе никакое не повторение. Но то, что позже станет видно, позже и увидите, так как если я ударюсь в уточнения уточнений, это никогда не кончится.

Тут, правда, нужно быть очень внимательным, чтобы не впадать в неточности. Вся эта ситуация, которую я пытался описать и сперва назвал «влюбленность», после чего пустился в разъяснения этого слова, отражалась на ядре в виде численного и энергетического приумножения хромосом, точнее, радостного удвоения их, так как каждая хромосома повторилась в своем двойнике. Рассуждая о ядре, казалось бы, естественно отождествлять его с сознанием, что на самом деле является, конечно, грубоватым упрощением, но даже если бы и впрямь так было, это не значит, что сознание характеризуется двойным набором палочек: поскольку каждая из палочек имеет свою функцию, являясь, скажем так, каким-то словом в этом языке, то факт двукратного присутствия того или иного слова не влиял на то, что я собою представлял, так как сущность моя заключалась в ассортименте — лексиконе — разных слов или же функций, имевшихся в моем владении, и факт наличия парных слов сказывался в чувстве полноты, которое я раньше именовал — кавычки открываются — духовным — кавычки закрываются, и вот теперь понятно, что кавычки содержали в себе намек на то, что речь на самом деле шла о поведении вполне ма-

териальных волоконец, зубочисток или палочек, от этого не менее радостном и энергичном.

До сих пор я помню все прекрасно, так как воспоминания ядра, считать его сознанием или нет, сохраняют наибольшую ясность. Однако напряжение, о котором я вам говорил, постепенно стало передаваться цитоплазме: я ощутил потребность растянуться во всю собственную ширь, вплоть до чего-то вроде судорожного напряжения нервов, каковых у меня не имелось, так что цитоплазма стала превращаться в некое подобие веретена, как будто ее противоположные концы хотели разбежаться в разные стороны, в некий волокнистый жгут, который весь дрожал не больше и не меньше, чем ядро. Стало даже трудно отличить ядро от цитоплазмы: оно словно растворилось, и палочки зависли посреди веретена из судорожно натянувшихся волокон, не рассеиваясь, а вертясь вокруг себя, как в карусели.

Разрыва ядра, сказать по правде, я почти и не заметил: я чувствовал себя собой полнее, чем когда-либо, и в то же время ощущал, что я уже не я, что этот самый «я» был местом, где имелось все, кроме самого меня, то есть испытывал такое чувство, будто бы я обитаем, то есть будто бы я обитаю в самом себе, то есть обитаю в себе,

в котором обитают и другие, то есть будто бы другие обитают в ком-то другом. Лишь тогда и осознал я удвоение, которого сначала, повторяю, не заметил: я оказался вдруг владельцем уймы хромосом, которые теперь перемешались, так как спаренные хромосомы разделились, и я перестал вообще что-либо понимать. Иначе говоря, перед лицом немой непостижимой пустоты, в которую я с любовью погружался, я испытывал необходимость сказать что-нибудь, что вновь утвердило бы мое самосознание, однако мне казалось в тот момент, что слов в моем распоряжении стало слишком много, чтобы составить некое высказывание, которое по-прежнему являло бы собой меня, мое имя, мое новое имя.

Помню еще вот что: как от такого хаотичного нагромождения я, тщетно ища облегчения, стремился перейти к более сбалансированному и упорядоченному размещению, то есть достичь того, чтобы один полный набор хромосом расположился с одной стороны, а другой — с другой, и образованная разорвавшимся ядром карусель былинок в конечном счете обрела зеркально симметричный вид, словно ядро выстроило свои силы в боевой порядок, принять вызов немой непостижимой пустоты, так что удвоение,

которое сперва затронуло лишь некоторые из палочек, теперь охватывало все ядро, то есть то, что я по-прежнему считал единым ядром и заставлял функционировать как таковое, хотя это был просто вихрь разрозненных штуковин, разделявшийся на два отдельных вихря.

Здесь нужно уточнить, что это разделение хромосом происходило не по принципу «старые туда, новые — сюда»; если я еще не объяснил, то объясню сейчас, что каждая былинка, уплотнившись, расчленилась надвое по всей длине, и, значит, все они являлись в равной мере старыми и новыми. Это важно, так как прежде я употребил глагол «повториться», как всегда не очень точный, так что могло возникнуть ложное представление, будто была палочка-оригинал, а после появилась копия, и глаголы «говорить», «сказать» тоже были не вполне уместны, хотя фраза о высказывании самого себя мне очень удалась, — неуместны потому, что, когда что-то говорят, имеют место, во-первых, тот, кто говорит, и, во-вторых, то, что говорится, а тут явно не тот случай.

Короче говоря, непросто найти точные термины для описания такого неопределенного состояния, как влюбленность, заключающаяся в нетерпеливорадостном стремлении к овладению

пустотой, в жадном ожидании того, что выплывет навстречу мне из этой пустоты, и в муках оттого, что я еще не обладаю тем, чего так жадно и нетерпеливо жду, в душераздирающей муке ощущения себя потенциально уже удвоенным, потенциальным обладателем чего-то потенциально моего, пока еще его лишенным и вынужденным ввиду этого считать не моим и, стало быть, потенциально чужим то, чем я потенциально обладаю. Мучительная надобность мириться с ситуацией, когда потенциально мое является потенциально, а возможно, и фактически чужим, эта пронизанная жадным нетерпением мука ревности — ощущение столь полное, что впору было думать, будто влюбленность есть одна сплошная мука, иначе говоря, будто жадное нетерпение и есть не что иное, как исполненное ревности отчаяние, и порыв нетерпения — не что иное, как порыв отчаяния, вихрь, увлекающий его все глубже, делая все более отчаянным, поскольку каждая его частица обладает свойством раздваиваться и, симметрично размещая сродственные частицы, стремиться выйти из своего состояния, чтобы войти в другое, которое если и будет хуже, все-таки покончит с нынешним.

Тем временем меж двумя вихрями образовы-

вался промежуток, и раздвоение мое делалось все очевидней, начиная с расхождения сознания — этакого косоглазия самосознания, утраты ощущения всего меня как некоего единства, — так как явления эти затрагивали не одно только ядро, вы уже знаете: все приключавшееся в палочках внутри ядра находило отражение в том, что делалось на всем пространстве моего веретенообразного физического воплощения под руководством этих самых палочек. Так что и мое цитоплазменное вещество тоже начало сосредоточиваться в противоположных концах, а середина постепенно истончилась, казалось, будто у меня два одинаковых тела, соединенных перемычкой, которая, все утончаясь, стала уже нитевидной, и в этот миг я в первый раз осознал себя как нечто множественное, — в первый и последний, так как было уже поздно, я ощутил собственную множественность как прообраз и судьбу множественного мира и ощутил, что я — частица мира, я затерян в нем, в неисчислимом мире, и в то же время еще острей почувствовал себя собой — я говорю «почувствовал», а не «осознал», поскольку мы договорились называть сознанием то, что я чувствовал в ядре, теперь же ядер было два, и каждое из них рвало последние нити, еще соединявшие его с другим,

чтобы независимо являть отныне свои «я» — мои «я» — «я», повторявшие друг друга, — заикание сознания, которое рвало последние нити памяти (памятей?).

Так вот, себя собой я ощущал благодаря уже не ядрам, а какому-то количеству сдавленной посередине плазмы, и это было неким утонченным верхом ощущения полноты, неким исступлением, явившим мне все разнообразие мира в виде множества лучей, расходившихся в разные стороны от моего единственного непрерывного воплощения. И тут я понял: выход мой из самого себя исключает возвращение назад, возможность восстановления собственного «я», которое, как становилось ясно, я выбрасываю вон, лишаюсь его навсегда, и торжествует агония, поскольку жизнь уже не здесь, уже раздвоенные, не совпадающие проблески чужой — присущей другой клетке — памяти устанавливают отношения новенькой с самой собой и со всем прочим.

Раздробленная, умноженная память не сберегла дальнейшего — распространения и повторения в мире беспамятных и смертных особей, но за мгновение до того, как это началось, я уже понял, как все будет дальше, понял, что грядущее сулит смыкание кольца, которое сейчас — или уже

тогда — происходит — или отчаянно пытается произойти; я понял: этот раз-и-выход из самого себя — рождение-смерть — совершит кульбит и превратится из сдавливания и разрыва во взаимопроникновение и смешение асимметричных клеток, суммирующих сообщения, передававшиеся через триллионы триллионов до смерти влюбленностей, я увидел, как моя смертельная влюбленность возвращается в поисках смычки начала и конца и все слова, страдавшие неточностью, когда я рассказывал историю своей любви, обретают точность, выражая прежний точный смысл, как любовные чувства вспыхивают среди многообразия полов, особей, видов, как головокружительную пустоту заполняют формы видов, индивидов и полов, но вновь и вновь все так же повторяется это деление меня, этот раз-и-выход меня из меня, эта жажда действий, невозможность коих претворяет ее в жажду о чем-то говорить, невозможность чего, в свою очередь, приводит к проговариванию самого себя, даже когда «сам» этот разделится на двух «себя» — говорящего и говоримого, на самого себя, который говорит и обязательно умрет, и самого себя — высказывание, у которого есть шанс остаться жить, на единственного многоклеточного самого

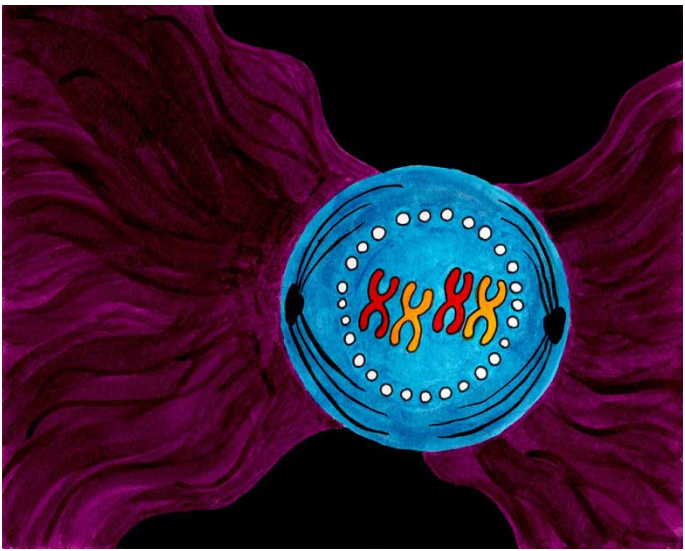
себя, сохраняющего среди своих клеток ту, что, повторяясь, повторяет тайные слова словаря, составленного из всех нас, и бесчисленного одноклеточного самого себя, который может быть растрачен на бесчисленные клетки-слова, из коих только та, которая встретит дополняющую ее клетку-слово, то есть другую асимметричную саму себя, попробует продолжить непрерывную фрагментарную историю, ну а не встретит — что же; более того, она совсем не обязательно должна ее встретить, большей частью она старается, напротив, этой встречи избежать, так как главное здесь — начальная фаза, даже та, что ей предшествует, — встреча влюбленных смертных «самих себя», в лучшем случае — влюбленных и в любом случае — смертных, главное — момент, когда, отрывая самого себя от самого себя, ты чувствуешь в мгновенном озарении, как прошлое соединяется с грядущим, — как я в момент только что описанного вам разрыва самого себя увидел, что должно произойти со мной сегодня, когда я влюблен, будь то «сегодня» будущее или прошлое, но, так или иначе, современное последнему мгновению единой клетки и заключенное в нем, увидел, кто мне двигался навстречу из бездны всяких «не сейчас», «не здесь», «не так» со своими именем,

фамилией и адресом, в красном пальто и черных сапожках, с челкой и веснушками: Присцилла Лэнгвуд, проживающая у мадам Лебра, дом сто девяносто три, рю Вожирар в пятнадцатом округе Парижа.

II
Мейоз*

II. Мейоз.Иллюстрация. Лейтон Коннор. 2016

*** Примечания: ***
II. Meiosi



Чтобы рассказать, как на самом деле обстоят дела, нужно рассказывать все с самого начала, и даже если начинать повествование с того места, где персонажи — уже многоклеточные организмы, к примеру, излагать историю отно-

шений между мною и Присциллой, для начала нужно точно определить, что я имею в виду, когда говорю «я», и что — когда говорю «Присцилла», и лишь затем определять характер этих отношений. Так вот, Присцилла — особь того же вида, что и я, но противоположного пола, многоклеточная, как сейчас и я; мало того, должен уточнить, что многоклеточная особь — это совокупность пяти десятков триллионов клеток, весьма разнообразных, но непременно обладающих определенными цепочками кислот, идентичными в хромосомах каждой клетки каждого индивида, — кислот, обусловливающих различные процессы в протеинах этих клеток.

Итак, рассказывать о нас с Присциллой — значит прежде всего определить отношения, которые складываются между моими протеинами и протеинами Присциллы, — как порознь, так и в совокупности, — которыми и у меня, и у нее управляют цепи нуклеиновых кислот, расположенные одинаковыми группами в каждой ее клетке и в каждой из моих. Так что рассказывать нашу историю еще сложнее, чем историю отдельной клетки, — не только потому, что, описывая отношения, нужно учитывать множество вещей, происходящих в одно время, но главным обра-

зом сперва следует определить, кого соединяют эти отношения, и уже после уточнять характер этих отношений. Если вдуматься, последнее не так уж важно, поскольку сообщение о том, что отношения у нас, например, духовные или же, наоборот, физические, не многое меняет, так как духовные затрагивают считанные миллиарды особых клеток, именуемых нейронами, но эти клетки, выполняя свои функции, принимают сигналы стольких прочих клеток, что все равно придется брать в расчет все триллионы клеток, наличествующие в организме в целом, как если бы речь шла об отношениях физических.

Говоря о том, сколь нелегко определить, кого именно соединяют те или иные отношения, мы не должны, однако, принимать в расчет соображение, которое часто выдвигают в разговорах, — что с каждым мигом я меняюсь, становлюсь не тот, что в предыдущее мгновение, — так же как и Присцилла, — в силу непрерывного обновления молекул протеинов в наших клетках в результате, например, пищеварения или дыхания, насыщающего кровь кислородом. Рассуждения такого рода уводят совершенно не туда, поскольку хотя клетки и в самом деле обновляются, они при этом продолжают следовать программе, за-

данной их предшественниками, и, значит, с этой точки зрения вполне можно утверждать, что каждый из нас продолжает быть самим собой. Короче говоря, дело в ином, хотя и сказанное, наверное, небесполезно для уяснения того, что все на свете не так просто, как на первый взгляд, — смотришь, потихоньку и поймем, как все на самом деле сложно.

Что же я имею в виду, говоря «я» или «Присцилла»? Я подразумеваю то особое строение, которое приобретают мои и ее клетки в силу особых отношений особого генетического наследия, которое с самого начала казалось помещенным в них нарочно для того, чтоб мои клетки были моими, а Присциллины — клетками Присциллы. Дальше станет видно, что ничего не делалось нарочно, ничего туда никто не помещал, и до того, как мы с Присциллой устроены, в действительности никому нет никакого дела: это генетическое наследие должно просто передать переданное ему для передачи, и наплевать ему, как это будет принято. Но пока что ограничимся ответом на вопрос: я в кавычках и — в кавычках же — Присцилла — это наше — в кавычках — генетическое наследие или же наша — в кавычках — форма? Говоря о форме, я имею в виду как видимую, так и невидимую,

то есть всю ее манеру быть Присциллой — то, что ей идут цвета фуксии и апельсина, аромат, который ее кожа издает не только потому, что такова врожденная особенность ее желез, но также под влиянием всего, что она съела за годы своей жизни, сортов употребленного ею мыла и так далее — всего того, что называется — в кавычках — культурой, я имею в виду и ее манеру ходить, садиться, обусловленную тем, что двигаться она привыкла среди тех, кто двигался по тем городам, домам и улицам, где она жила, — всем этим, но и тем, что она помнит, виденным, возможно, только раз, быть может, лишь в кино, а также тем, что, хоть она это и подзабыла, зафиксировалось где-то в глубине нейронов, как все психические травмы, переживаемые каждым из нас с детства.

Но как в зримой и незримой формах, так и в генетическом наследии у нас с Присциллой есть совершенно одинаковые элементы — общие для нас двоих, или для нашего круга, или для всего нашего вида — и элементы, обусловливающие различие. Тогда встает вопрос: наши отношения — это отношения только между различающими нас с Присциллой элементами, поскольку общими с обеих сторон можно пренебречь, — то есть «Присцилла» означает «то, что есть в Присцилле

особенного по сравнению с другими представителями вида», — или это отношения между одинаковыми элементами, тогда существенно, идет ли речь об элементах, общих для вида в целом, для нашего с Присциллой окружения или лишь для нас двоих, и мы благодаря им выделяемся на фоне вида — возможно, красотой.

Если вдуматься, это не мы решили, что разнополые особи должны вступать в особые отношения, а вид, даже не столько вид, сколько животное состояние, даже растительно-животное, состояние мира растений и животных, разделенных на два разных пола. Но в избрании мной Присциллы для того, чтобы вступить с ней сам пока еще не знаю в какие отношения, и в выборе меня Присциллой, если она выберет меня и в последний миг не передумает, — неизвестно, какой уровень сработает первым, и, значит, неизвестно, сколько других «я» опередят того, которым я себя считаю, сколько других Присцилл — ту самую Присциллу, к которой, как мне кажется, я мчусь.

Короче говоря, чем больше упрощаешь эту проблему, тем сложней она становится: раз нечто, именуемое мною «я», состоит из некоего набора выстроенных в ряд определенным образом аминокислот, стало быть, внутри этих молекул

предусмотрены уже все мыслимые отношения, и внешнее влияние в виде некоторых энзимов, тормозящих некие процессы, может привести лишь к исключению каких-то отношений. Тогда можно утверждать, что все возможности в отношении меня уже осуществились, включая несвершение непроисшедшего со мной: раз я — это я, значит, ставки уже сделаны, у меня имеется конечное число возможностей, и все, что совершается снаружи, имеет для меня значение, лишь если оно претворяется в операции, которые предусмотрели мои нуклеиновые кислоты: таким образом, я заточен в себе, скован цепями моей молекулярной программы, вне меня у меня нет и никогда не будет отношений ни с чем и ни с кем. И у Присциллы тоже, я имею в виду бедняжку настоящую Присциллу. Если меня и ее окружают всякие штуки, похоже, состоящие в неких отношениях с другими штуками, то мы здесь ни при чем: ничего такого важного ни для меня, ни для нее произойти не может.

В общем, ситуация нерадостная; и не то чтобы я ожидал, что мне достанется более сложная индивидуальность, чем та, которая сложилась в результате особого расположения одной кислоты и четверки оснований, которые сами управляют

расположением двух десятков аминокислот в сорока шести хромосомах каждой моей клетки, просто эту индивидуальность, повторяемую всеми клетками, назвать моей можно лишь условно, так как из принадлежащих мне хромосом двадцать три у меня от отца и двадцать три — от матери, то есть я все время ношу с собой родителей во всех своих клетках и никогда не смогу избавиться от этой ноши.

Чем родители велели быть мне с самого начала, тем я и являюсь, и ничем другим. При этом наставления моих родителей содержат наставления родителей родителей, которые дошли до них, вот так передаваясь от родителя к родителю, по бесконечной цепочке подчинения. Поэтому историю, которую я собирался рассказать, нельзя не только рассказать, но, прежде всего, и прожить ее, поскольку она вся уже прожита, вся заключена в прошлом, о котором невозможно рассказать, так как оно, в свою очередь, заключено в его прошлом, в стольких индивидуальных прошлых, что неясно, в какой мере следует считать их прошлым всего вида и того, что было до формирования вида, неким общим прошлым, к которому нас отсылают индивидуальные, но которое, сколь бы далеко мы ни заглядывали в

глубь времен, существует только в виде индивидуальных случаев, вроде меня или Присциллы, между которыми, однако, не происходит ничего ни индивидуального, ни общего.

Что на самом деле представляет собой и имеет каждый из нас — это прошлое; все, что мы есть и что имеем, — каталог не сорвавшихся возможностей, готовых повториться проб. Настоящее не существует, мы вслепую продвигаемся вовне и в «потом», осуществляя предначертанную программу с помощью производимых нами одних и тех же материалов. Мы не стремимся ни к какому будущему, нас ничто не ждет, мы заперты среди сцеплений механизмов памяти, не предусматривающей иной работы, чем помнить самое себя. Искать друг друга нас с Присциллой побуждает не устремление к будущему — это прошлое Посредством нас разыгрывает свой последний акт. Прощай, Присцилла, наши встречи и объятия напрасны, мы остаемся друг от друга далеки — ил и уже раз и навсегда близки, то есть лишены возможности сближения.

Разлука, невозможность встречи заложены в нас с самого начала. Мы родились не от слияния, а от соприкосновения разных тел. Две клетки в своем движении оказались неподалеку друг от

друга: одна ленивая, мясистая, другая — лишь из головки и хвоста-стрелы. Это яйцо и семя, они пребывают в некоторой нерешительности, а потом — с разной скоростью — бросаются друг к другу. Семя пробивает яйцо головой, оставив хвост снаружи; голова его, заполненная ядром, пулей поражает ядро яйца, и оба разлетаются на части: можно было б ожидать их слияния, смешения, взаимообмена; но на самом деле содержавшиеся в обоих ядрах записи — эти набранные вразрядку строчки — просто выстраиваются в новом ядре вплотную друг к другу; слова обоих ядер пребывают там невредимые, отдельно друг от друга. В общем, ни одно из них не растворилось в другом, ничего не отдало и ничего не получило; две клетки, ставшие одной, находятся там вместе, но такие же, как прежде, и первое, что они испытывают, — разочарование. Тем временем двойное ядро, положив начало веренице его удвоений, штампует спаренные послания отца и матери в каждой из дочерних клеток, увековечивая не столько союз, сколько непреодолимое расстояние, разделяющее каждый раз партнеров, неудачу, пустоту, которая разъединяет даже самую успешную пару.

Само собой, по каждому спорному моменту

наши клетки могут следовать наставлениям лишь одного из родителей, тем самым чувствуя себя свободными от команд другого; но мы знаем: наше внешнее обличье не много значит по сравнению с тайной программой, запечатленной в каждой нашей клетке, где противостоят друг другу повеления отца и матери.

Что в самом деле важно, так это непримиримый спор родителей, который всякий живущий тянет за собой, с недоброй памятью о каждом миге, когда один супруг вынужден был уступить другому, — памятью, превосходящей своей силой торжество супруга-победителя. Так что факторы, определяющие мой внутренний и внешний облик, — в случаях, когда это не сумма или равнодействующая распоряжений, переданных мне отцом и матерью, — суть приказы, на глубинном уровне отмененные или уравновешенные иным велением, которое осталось тайной, поколебленные подозрением, не лучше ли другой приказ. Так что иногда меня обуревают сомнения: действительно ли я являюсь суммой черт, одержавших в прошлом верх, результатом ряда операций с неизменно положительным исходом, или, быть может, моя истинная суть — скорее совокупность побежденных качеств, сумма отрицательных

величин, всех тех ветвей дерева, которые были обломаны, отсечены, заглушены: несбывшееся не менее весомо, чем то, что было, чего не могло не быть.

Пустота, разлука, ожидание — вот что мы такое. Чем пребываем и тогда, когда прошлое в нас обретает свои исходные формы — скопления созревающих яйцеклеток или роя клеток семенных, и в конце концов слова, записанные в их ядрах, изменяются и даже перестают быть частью нас, это отдельные послания, которые уже нам не принадлежат. В наших укромных уголках двойной набор приказов прошлого разделяется пополам, и новые клетки несут в себе уже не двойное, а просто прошлое, что внушает им ощущение легкости и иллюзию, будто они и вправду новые, с новым прошлым, представляющимся чуть ли не грядущим.

Я рассказал сейчас об этом наскоро, но процесс этот, происходящий там, во тьме ядра, в глубине половых органов, на самом деле сложен: это целая череда этапов, не слишком четко отделенных друг от друга, но необратимых. Сначала парные послания отца и матери, до сей поры раздельные, вспоминают о том, что они парные, и соединяются по двое в ряд — множество тончайших

волоконец переплетаются и перепутываются; желание соединиться в пару с кем-то вне меня ведет к такому внутреннему спариванию — в глубине самых дальних закоулков составляющей меня материи, — к спариванию носимой мной в себе памяти пары предков, как непосредственно предшествовавших мне — отца и матери, так и самой первой пары, заложившей растительно-животные основы первого спаривания на Земле, и вот сорок шесть волокон, несомые в ядре хранящей свою тайну клеткой, выстраиваются подвое в ряд, не прекращая, впрочем, своей старой распри — судя по тому, что они сразу стремятся разойтись, но в каком-то месте остаются скреплены, так что, когда им удается наконец оторваться друг от друга — поскольку механизм разделения овладел тем временем всей клеткой и напряг всю ее мякоть, — обнаруживается, что каждая хромосома изменилась, состоит теперь из частей, принадлежавших прежде разным, и отдаляется от другой, тоже изменившейся вследствие обмена звеньями, и вот уже две клетки отделяются друг от друга, каждая — с набором из двадцати трех хромосом, эти хромосомы у одной и у другой различны и отличаются от тех, что были в прежней клетке, а после следующе-

го раздвоения появятся четыре разных клетки, каждая с набором из двадцати трех хромосом, где принадлежавшее отцу и матери, даже отцам и матерям, перемешалось.

Таким образом, в конечном счете встреча разных «прошлых», невозможная в настоящем времени тех, кто полагает, будто между ними происходят некие встречи, осуществляется как прошлое того, кто придет потом и не сможет пережить его в своем грядущем настоящем. Мы думаем, что это будет наша свадьба, но на самом деле это еще свадьбы отцов и матерей, которые становятся реальностью благодаря нашим ожиданию и желанию. То, что кажется нам нашим счастьем, может быть, на самом деле — часть чужой истории, которая кончается там, где, мы думали, начинается наша.

И как бы ни спешили мы, Присцилла, друг к другу или друг за другом, прошлое, распоряжаясь нами, проявляет слепое равнодушие и, передвинув эти частицы себя в нас, не заботится о том, как мы их потратим. Мы были только подготовкой, оболочкой встречи «прошлых», происходящей при нашем посредстве, но уже являющейся частью другой истории — той, что будет после: все встречи происходят до и после нас, и действуют

в них элементы нового, к которым мы не имеем никакого отношения, — случайность, риск, что-нибудь невероятное.

Так и живем мы, несвободные, в окружении свободы, подталкиваемые, управляемые этой нескончаемой волной, которая представляет собой сочетание всех возможных случаев и проходит через те точки времени и пространства, где пучок различных «прошлых» соединяется с пучком различных «будущих». Первичное море представляло собой массу кольцевых молекул, периодически передававшую послания об общем и различном, которые, окружая нас, предписывали новые комбинации. Так древние приливы временами поднимаются во мне и в Присцилле, следуя движению Луны, так реагируют двуполые виды на давний стимул, предписывающий сезоны и года любви, порой предоставляя прибавки и отсрочки, а подчас и принуждая к упорству, насилию, пороку.

В общем, мы с Присциллой — лишь места, где встречаются послания прошлого, то есть не одни послания, а вместе с ответами на них. И поскольку разные элементы и молекулы реагируют на послания чуть-чуть — или совсем — по-разному, то послания сообразуются с тем миром, который

должен их принять и истолковать, то есть для того, чтоб сохранить свою суть, они должны меняться. Стало быть, послания — никакие не послания, и прошлого, которое нужно было бы передавать, не существует, есть лишь много будущих, каковые корректируют течение прошлого, придают ему определенную форму, создают его.

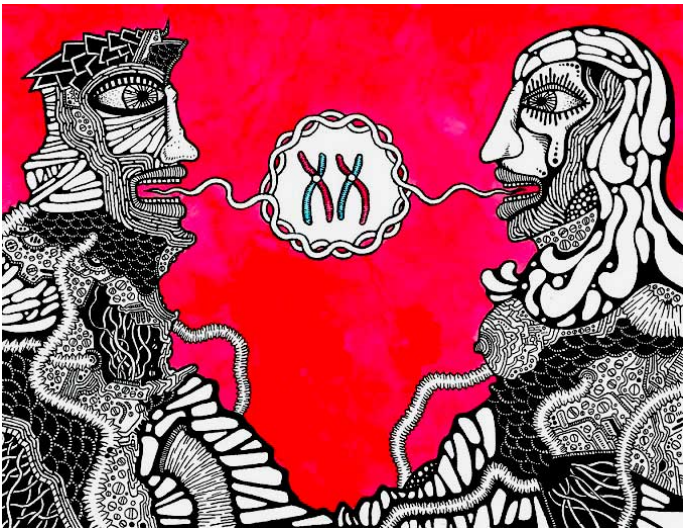
История, которую хотел я рассказать, — это история встречи двух индивидуумов, которых нет, так как они определимы лишь с учетом того или иного прошлого или будущего — прошлого и будущего, ставящих реальность друг друга под сомнение. Или же это история, неотделимая от истории всего сущего, а значит, и того, что не существует и тем самым создает условия для существования сущего. Мы можем лишь сказать, что того перерыва в пустоте, каким является каждый из нас, в неких точках в некие моменты касается волна, обновляющая комбинации молекул, усложняя их или, напротив, устраняя, и этого достаточно, чтоб мы прониклись уверенностью в том, что среди живых клеток, неким образом распределенных в пространстве и во времени, есть «я» и есть «Присцилла», в том, что происходит, произошло или произойдет нечто такое, что затрагивает нас непосредственно, всецело и —

смею сказать — счастливо. Уже этого достаточно, Присцилла, чтобы испытывать столь большую радость, когда я вытягиваю свою изогнутую шею поверх твоей и слегка покусываю твою желтую шкуру, на что ты расширяешь ноздри, обнажаешь зубы и встаешь на колени, опуская горб на уровне моей груди, чтобы я мог опереться на него и толкаться в тебя сзади, задними ногами упираясь в песок, чудесною закатною порой в оазисе, ты помнишь, когда нас развьючивают, караван рассыпается, и мы, верблюды, вдруг чувствуем себя такими легкими, и ты пускаешься бегом, а я настигаю тебя рысью среди пальм.

III
Смерть*

III. Смерть. Иллюстрация. Мэтт Киш. 2016

*** Примечания: ***
III. Morte.



Мы рисковали жизнью — то есть рисковали жить всегда. Угроза так это и продолжать висела с самого начала над каждым, кто случайно начал. Земля покрыта жидкой оболочкой; одна из уймы капель начинает сгущаться и расти, вбирая понемногу окружающие вещества, эта студенистая

капля-остров пульсирует, сжимается и расширяется, с каждым разом занимая все больше места, эта капля-континент распростирает свои отростки по океанам, отверждает полюса, смыкает свои зеленые слизистые очертания на экваторе и, если вовремя не остановится, окутает весь шар. Жить будет капля, лишь она, всегда — однообразная, не прерывающаяся во времени и в пространстве слизистая сфера с косточкой-Землей внутри, кашица, содержащая материал для жизни всех нас, так как мы все заключены в ней, в этой капле, которая никому из нас не даст родиться и умереть, так что жизнь будет принадлежать лишь ей одной.

К счастью, она распадается на множество частей. Каждая частица — цепь молекул, выстроенных в некоем порядке, благодаря наличию которого из окружающего беспорядочного вещества вокруг нее образуются другие цепочки молекул, расположенных таким же образом. Каждая из них также распространяет вокруг себя порядок, то есть многократно копирует саму себя, что делает затем и каждая из копий. Раствор совершенно одинаковых живых кристаллов, покрывший всю земную поверхность, сам того не замечая, каждый миг рождается и умира-

ет, то есть ведет прерывистую нескончаемую, неизменно тождественную самой себе жизнь в раздробленном времени и пространстве. Всякая иная форма немыслима, включая нашу.

До тех пор, пока материал, необходимый для самоповторения, не начинает иссякать; тогда каждая молекулярная цепочка принимается запасать необходимые ей вещества в своего рода ячейке, или клетке. Эта клетка растет, растет, в определенный момент раздваивается, две клетки превращаются в четыре, в восемь, в шестнадцать; образовавшиеся клетки не пускаются в самостоятельное плавание, а склеиваются друг с другом, как колониальные организмы, рыбы в косяках, полипы. Мир покрывается лесом губок: каждая, множа свои клетки, образует растянутую сеть, колышущуюся от морских течений. Каждая клетка живет как таковая, а все вместе живут совокупностью их жизней. От зимнего мороза ткани губки рвутся, но самые молодые клетки сохраняются и весной возобновляют деление, вновь воссоздавая ту же губку. Еще немного — и дело будет сделано: некоторое число вечных губок завладеет миром, море будет выпито их порами, исчезнет в пронизавших их ходах, и вечно жить будут они, а не мы, напрасно ждущие

момента, когда они нас породят.

Но в чудовищных агломерациях, таящихся в морских глубинах, в скользких скоплениях грибов, произрастающих из влажной корки выступивших над водой земель, не все клетки продолжают расти друг на друге: временами от таких скоплений отделяется подобие роя, ненадолго зависнув, отлетает в сторону, и там, где этот рой опустится на землю, клетки снова начинают делиться, воспроизводя покинутую ими губку, полип, гриб. Начинается циклическое повторение времени, чередование одних и тех же фаз. Грибы рассеивают свои споры по ветру и наращивают бренную грибницу, пока не созревают новые споры, которые умрут как таковые в момент своего вскрытия. Внутри живых существ наметилось важное разграничение: грибы, не знающие смерти, живут на протяжении дня и спустя день возрождаются, но между частью, отдающей команды по воспроизводству, и частью, выполняющей их, выявилось непреодолимое различие.

Начинается борьба между теми, кто уже есть и хочет быть всегда, и нами, еще не существующими, но желающими тоже хоть недолго, но побыть. Опасаясь, что случайная ошибка проложит путь

к разнообразию, те, кто существует, умножают контрольные механизмы: если команды на воспроизводство — следствие сравнения двух различных тождественных команд, тогда легче избежать ошибок при их передаче. В результате чередование фаз усложняется: от ветвей полипа, укрепленного на дне моря, отделяются прозрачные медузы и пускаются в самостоятельное плаванье; между ними возникают любовные отношения, мимолетная игра, роскошь преемства, посредством коего полипы будут утверждать свою вечность. На землях, выступивших из воды, растительные чудовища раскрывают веерами листья, расстилают ковры мхов, изгибают дугой ветви, на которых распускаются двуполые цветы, надеясь таким образом оставить смерти лишь малую, сокрытую часть себя, но игра в перекрестные послания уже захватила мир: именно сквозь эту брешь и хлынет масса нас, тех, кого не было.

На морской поверхности колышутся бесчисленные яйца; волна вздымает их и перемешивает с тучей семени. Каждое плавучее существо, выскользнувшее из оплодотворенного яйца, воспроизводит не одно, а двух существ, плававших там до него; оно будет уже не одним и не другим из этих двух, а третьим, то есть те два впервые

умрут, а третье впервые родилось.

В незримой череде запрограммированных клеток, все комбинации которых образуются и распадаются в пределах одного и того же вида, налицо еще первоначальная непрерывность; но промежуток между такими комбинациями занят смертными двуполыми, разнящимися меж собою индивидами.

Опасность жизни, не увенчивающейся смертью, устранена, как говорят, навек. Не потому, что из бурлящей жижи болот не может вновь возникнуть первый сгусток неделимой жизни, а потому, что вокруг теперь есть мы, — прежде всего те из нас, которые функционируют как микроорганизмы и бактерии, — готовые наброситься на него и сожрать. Не потому, что цепочки вирусов прекратили воспроизводить свой четкий кристаллический порядок, а потому, что это может происходить лишь в нас, более сложных животных и растениях, внутри наших тел и тканей; иначе говоря, мир вечных заключен внутри мира бренных, и их бессмертие служит гарантией нашей смертности. Еще мы плаваем среди кораллов и актиний, еще пробираемся сквозь папоротники и мхи под ветвями изначального леса, но половое размножение уже

каким-то образом включилось в цикл жизни даже более древних видов, иллюзии рассеялись, бессмертные умерли, и никто уже, похоже, не готов отвергнуть пол, даже ту малую его толику, что причитается лично ему, и вернуться к жизни, бесконечно повторяющей саму себя.

Победители — на данный момент — мы, прерывистые. Проигравшая трясина-чаща, как и прежде, окружает нас, мы только прорубили себе с помощью мачете проход через сплетение корней мангровых деревьев[9], наконец, у нас над головами открывается просвет, мы поднимаем глаза, заслоняя их от солнца, но над нами простирается другая крыша — скорлупа из постоянно извергаемых нами слов. Едва покончив с непрерывностью первичной материи, мы вросли в соединительную ткань, заполняющую разрывы между нашими обрывками, меж нашими смертями и рождениями, в совокупность знаков, членораздельных звуков, идеограмм, морфем, чисел, перфокарт, магнитных лент, татуировок, в систему связей, включающую общественные и родственные отношения, всевозможные

[9] Примечания: 29

Мангровы (мангры) — заросли вечнозеленых деревьев и кустарников с наземными дыхательными корнями (пневматофорами), характерные для приливно-отливной полосы илистых побережий тропиков.

учреждения, товары, рекламные вывески, напалмовые бомбы, то есть все, что есть язык в широком смысле слова. Опасность не исчезла. Мы в тревоге, мы в лесу, теряющем листву. Словно дублируя земную кору, над головами нашими смыкается свод, который станет враждебным панцирем, узилищем, если мы не догадаемся, где именно ударить по нему, чтобы прервать его вечное самовоспроизводство.

Накрывающий нас потолок — нагромождение железных шестерен — похож на брюхо машины, под которую я подлез, чтобы устранить поломку, и из-под которой мне теперь не выбраться, так как пока я распростерт под ней, машина разрастается настолько, что заслоняет от меня весь мир. Время дорого, я должен разобраться, как устроен механизм, найти то место, куда можем приложить мы силы, чтобы остановить этот неконтролируемый процесс, отдать команды, управляющие переходом к следующей фазе, — фазе машин, которые воспроизводят себя посредством перекрестных женских и мужских посланий, приводящих к рождению новых машин и смерти старых.

Все рано или поздно ставит мне пределы, в том числе эта страница, где моя история ищет такое заключение, которое не позволяло бы считать ее

законченной, такую сеть слов, где писанные «я» и «Присцилла», встретившись, породили бы иные слова и мысли, запустили бы цепную реакцию, в ходе которой вещи, созданные и используемые людьми, то есть части человеческого языка, обрели бы, в свою очередь, дар слова, машины начали бы говорить, обмениваясь теми словами, из которых состоят, теми командами, которые ими управляют. Цепь насущной информации, идущая от нуклеиновых кислот — к письму, продолжится на перфолентах автоматов, рожденных автоматами; другие поколения машин, которые, возможно, будут лучше нас, продолжат наши жизни и слова, и переведенные в электронные программы слова «я» и «Присцилла» еще встретятся друг с другом.

Часть третья
Т Нулевое
Т нулевое*–

QQfwfq и Т Нулевое. Ида Сакко

*** Примечания: ***
Ti con zero.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



Мне кажется, я не впервые пребываю в этом положении: в вытянутой левой руке — только что пустивший стрелу лук, правая еще отведена назад, стрела S зависла в воздухе, пройдя около трети своей траектории, лев L летит, разинув пасть и выпустив когти, на меня. Спустя секунду я узнаю, сойдутся ли стрела и лев в точке X, через которую проходят траектории и L, и S, в мгновение t_x, то есть перекувырнется ли лев с ревом, заглушаемым потоком крови, заливающей его глотку, пронзенную стрелой, или, невредимый, обрушится на меня сверху, свалит наземь, двумя лапами порвав мои спинные и грудные мышцы, а челюсти его, щелкнув, отделят мою голову от шейных позвонков.

Траектории и стрел, и хищников зависят от столь многих и столь сложных факторов, что трудно вмиг определить, какая возможность вероятней. В общем, положение из тех, когда неясно, чего ждать, что думать. Но мне думается: это происходит не впервые.

Прежний опыт вспоминать нет смысла: стоит лучнику счесть себя опытным — и он пропал, ведь всякий лев, с которым мы сталкиваемся в своей краткой жизни, отличается от прочих, и если сравнивать и принимать решения исходя

из неких общих правил и своих предположений, ничего хорошего из этого не выйдет.

С другой стороны, я не из тех, кто полагает, будто бы есть некий главный, абсолютный лев, а многочисленные частные, приблизительные львы, которые на нас набрасываются, — лишь тени, видимости. Жизнь так трудна, что в ней нет места тому, что неконкретно, недоступно чувственному восприятию.

Столь же далек я и от мнения, будто каждый из нас от рождения наследует представление о льве, который временами нависает над ним в его грезах, и когда встречает его в жизни, то сразу думает: о, лев! Но почему и как пришел я к исключению такой возможности, объяснять сейчас, по-моему, не время.

Скажу лишь, что под «львом» я подразумеваю только это выскочившее из саванны желтое пятно, это хриплое дыхание, отдающее кровавым мясом, эту белую шерсть на брюхе, эти розовые подушечки и уходящие в них острия когтей, то есть нависшую надо мной совокупность ощущений, именуемую «львом» лишь для удобства, хотя ясно, что она не имеет ничего общего ни с этим словом, ни с представлением о льве, которое сложилось бы в иных, отличных обстоятельствах.

Я говорю, что вроде бы переживаю данное мгновение не впервые, так как ощущения мои схожи с теми, что возникают от легкого двоения изображений, — будто я вижу не стрелу и льва, а не менее двух львов и двух стрел, почти что совпадающих друг с другом, с небольшим смещением, так что очертания фигуры льва и часть стрелы как бы подчеркнуты или, точней, окаймлены более тонкой и размытой линией. Но может быть, это двоение иллюзорно, может быть, мне просто так представилось не выразимое иначе ощущение особой содержательности льва, стрелы, кустов саванны, являющих собою нечто большее, чем только льва, стрелу, кустарник, то есть бесконечное повторение льва, стрелы, кустарника именно в таком соположении с бесконечным повторением меня в момент, следующий за расслаблением тетивы.

Не хотелось бы, чтобы ощущение, описанное таким образом, чересчур напоминало узнавание уже виденного прежде — стрелы вот этак, льва вот так и вот такого положения их относительно меня, стоящего здесь с луком; вернее было бы сказать, что узнал я лишь пространство, место, где сейчас находится стрела, которое было бы пустым, если бы ее там не было, ту пустоту, что

в данный миг содержит льва, и ту, где нахожусь я сам, иначе говоря, в пустоте, которую мы занимаем, а точней, пересекаем, — то есть занимает, а точней, пересекает мир, — я стал выделять отдельные места, отличать их от других, столь же пустых и так же пересекаемых миром. Подчеркну: их узнаванию не способствуют ни, скажем, формы местности, ни расстояния от леса или от реки, — я прекрасно знаю, что пространство вокруг нас все время разное, знаю, что Земля — небесное тело, движущееся среди прочих находящихся в движении небесных тел, я знаю, что ни на Земле, ни в небе не найдется знака, способного служить мне абсолютной точкой отсчета, я все время помню: звезды вращаются в колесе галактики, а разные галактики удаляются друг от друга со скоростями, пропорциональными расстояниям между ними. Но меня не отпускает подозрение, что я попал в пространство, для меня не новое, что я вернулся в точку, в которой мы уже когда-то находились. А поскольку речь не только обо мне — со мной вернулись и стрела, и лев, — это не может быть случайностью, а возможно, только если время вновь проходит уже пройденной им траекторией. Стало быть, та пустота, которая показалась мне знакомой, — не

пространственная, а временная.

Может ли, однако, то место, где сейчас проходит время, накладываться на места его предыдущих прохождений? В таком случае ощущение насыщенности образов могло бы объясняться тем, что протекающее время снова и снова бьется в один и тот же миг. Не исключено, что кое-где с каждым новым его протеканием происходит чуть заметный сдвиг по фазе: тогда слегка двоящиеся, размытые изображения — свидетельство того, что трасса времени от многократных его прохождений несколько расширилась и вокруг предписанной стези образовался небольшой зазор. Но даже если это просто мимолетный оптический эффект, мне никуда не деться от ощущения ритмичного биения в то мгновение, которое я сейчас переживаю. Нет, я не хочу сказать, что данный миг выделяется особой временной насыщенностью по сравнению с теми, что уже минули или наступят позже: с точки зрения времени это не больше чем мгновение, длящееся столько же, как и другие, равнодушное к собственному содержанию, заключенное в потоке времени, который устремлен от прошлого к грядущему; я, кажется, открыл лишь аккуратное периодическое появление его в ряду, который

снова и снова точно повторяет сам себя.

Итак, моя задача в миг, когда стрела со свистом рассекает воздух, лев выгнулся в прыжке и невозможно предсказать, проткнет ли острие, обмазанное змеиным ядом, в рыжую шерсть меж выпученных глаз или, промчавшись стороной, предоставит мои беззащитные потроха на растерзание зверю, который, вырвав их из остова, начнет таскать, рассеивая, по пыльной окровавленной земле, откуда еще до прихода ночи черные грифы и шакалы устранят их последние следы, — так вот, моя задача в том, чтобы определить: замкнут или нет тот ряд, в который входит данная секунда? Ибо ежели — как вроде бы мне доводилось слышать — это ряд конечный, то есть если мировое время началось с определенного момента и продолжится во взрывах звезд и все большем разрежении туманностей до той поры, когда рассеяние достигнет крайнего предела, после чего туманности и звезды снова станут концентрироваться, то из этого я должен заключить, что время повернется вспять, что цепь мгновений начнет разматываться в противоположном направлении до самого начала, чтобы затем начать все заново, и так до бесконечности, но ведь тогда ни из чего не следует, что у мирового време-

ни было какое-то начало, мир просто пребывает в постоянном колебании между крайними моментами, обреченный вечно повторяться, как бессчетно уже повторился и снова повторяется в секунду, в которой пребываю я сейчас.

Итак, представим, что я пребываю в некой промежуточной пространственно-временной точке одной из фаз существования мира; по прошествии сотен миллионов миллиардов секунд я, стрела, лев и кустарник расположились так, как расположены сейчас, и миг спустя эта секунда будет поглощена, погребена тем рядом сотен миллионов миллиардов секунд, который она продолжает вне зависимости от того, сойдутся ли через секунду в одной точке или разойдутся летящие лев и стрела; в конце концов придет мгновение, когда время повернет назад и мировая история повторится задом наперед, из следствий аккуратно восстановятся причины, в том числе от ожидающих меня неведомых мне следствий, от стрелы, что входит в землю, поднимая желтую тучу пыли и частицы кремня, или пронзает нёбо зверя как огромный новый зуб, последует возврат к тому моменту, который я сейчас переживаю, через возвращение словно всосанной назад стрелы на тетиву натянутого

лука и падение льва обратно за кусты на сжатые пружиной задние лапы, и всякое «потом» окажется, секунда за секундой, постепенно стерто возвращающимся «прежде», позабыто в итоге распадения в мозгу миллиардов нейронных комбинаций, так что никто и не узнает, что живет во времени, вывернутом наизнанку, как вот сейчас я не уверен в том, куда направлено движение времени, в котором движусь я, не уверен, не свершилось ли уже на самом деле то «потом», которого я жду, мгновение назад, унеся с собой мое спасение или мою гибель.

Так или иначе, меня неотвратимо мучает вопрос: может быть, остановиться здесь, застыть в пространстве и во времени, пока едва отпущенная тетива растягивается в противоположном направлении, а правая нога, едва освобожденная от веса тела, поднимается под прямым углом, и неподвижно ждать, когда из тьмы пространства-времени опять возникнет лев, зависший надо мною в воздухе, а стрела займет на траектории то самое место, где помещается сейчас? Стоит ли и в самом деле продолжать, если рано или поздно нам все равно придется оказаться в этом положении? Тогда уж лучше я передохну несколько десятков миллиардов лет, пока весь прочий мир

пройдет до конца свой путь в пространстве и во времени, а когда он будет возвращаться, вновь запрыгну, проследую своей и мировой историей обратно к самому истоку и снова пущусь в путь, чтобы снова оказаться здесь; или пускай время движется обратно тоже без меня, я буду дожидаться его, и, когда оно опять приблизится ко мне, будет видно, подходящий ли момент для того, чтоб сделать еще шаг, отправиться взглянуть на то, что произойдет со мной через секунду, или лучше окончательно обосноваться здесь. При этом мои материальные частицы не обязательно должны быть выключены из движения в пространстве и во времени, отрешены от кровопролитного мгновения победы охотника или же льва: я уверен, что мельчайшие крупицы нас так или иначе застревают в каждой точке скрещения времени с пространством и, значит, нужно просто не обособляться от этих крупиц, а отождествлять себя с каждой из них, в то время как все будет идти своим чередом.

В общем, у меня имеется возможность быть в фазах колебаний мира неподвижной точкой. Воспользоваться или нет? Пожалуй, если останавливаться, то не одному, — это, как я понимаю, не имеет смысла, — а вместе с тем, чем обусловлено

для меня это мгновение, — в составе связки из стрелы, льва и лучника, таким образом продлив это мгновение навсегда. Мне кажется, знай лев, как обстоят дела, наверняка и он бы согласился остаться, как сейчас, на расстоянии примерно трети от начала траектории его неистового броска, отделившись от своей проекции, которая спустя секунду будет содрогаться в агонии или же яростно хрустеть еще теплым человечьим черепом. Стало быть, я вправе говорить не только за себя, но и за льва. И за стрелу, так как стрела может хотеть лишь одного — быть стрелой, как в этот краткий миг, отсрочить свое превращение в обломок, уготованное ей вне зависимости от того, какую она поразит мишень.

Итак, допустим, ситуация, в которой пребываем в этот миг t_0 я, лев и стрела, будет складываться дважды при каждом из тождественных перемещений времени туда-сюда и повторилась уже столько раз, сколько в прошлом мир повторил уже подобный цикл «систола — диастола» (если можно говорить о прошлом и о будущем в связи со всей последовательностью этих фаз, — по отношению к каждой фазе, как мы уже знаем, это не имеет никакого смысла); тем не менее, какой будет ситуация в последующие секунды t,

t_2, t_3 и т. д., остается под вопросом, как было и в предшествующие t_{-1}, t_{-2}, t_{-3} и т. д. Если вдуматься, возможно одно из двух:

— либо пространственно-временные линии, по которым следует мир в фазах своей пульсации, совпадают во всех точках;

— либо они совпадают лишь в отдельных точках, к каковым относится переживаемая мной сейчас секунда, и расходятся в других.

Если верна вторая версия, то от той точки в пространстве и во времени, где сейчас я нахожусь, начинается целый пучок возможностей, которые по мере продолжения во времени расходятся как конус к совершенно разным будущим, так что каждому очередному появлению меня здесь вместе с зависшими стрелой и львом будет соответствовать иная точка пересечения их траекторий X, каждый раз лев будет поражен иначе, будет по-иному биться в агонии или сопротивляться, либо, невредимый, будет каждый раз иначе бросаться на меня, оставляя мне возможность уцелеть или лишая таковой, так что мои победы или поражения в борьбе со львом оказываются потенциально бесконечными: чем больше раз я буду им разорван, тем больше будет вероятность не промахнуться в следующий раз,

когда я окажусь здесь через много миллиардов лет; но что сказать о данной ситуации, не знаю: если вот-вот в меня вонзятся когти зверя — тогда это последнее мгновение благоденствия, а если меня ждет триумф, которым племя встретит победоносного охотника на львов, — тогда сейчас самый тяжелый, наимрачнейший миг сошествия в ад, который нужно пережить, чтобы заслужить апофеоз. Таким образом, мне нужно выбраться из этой ситуации, что бы меня ни ждало, ибо ежели и существует промежуток времени, который ничего не значит, то это он и есть — момент, полностью определяющийся следующим, как таковой данной секунды нет, поэтому нельзя не только в ней обосноваться, но и просто проживать ее в течение секунды, — иначе говоря, это разрыв во времени между моментом, когда стрела и лев взлетели, и другим — когда из львиных или моих вен потоком хлынет кровь.

Итак, пусть от этого мгновения конусом расходятся бесчисленные линии возможных будущих; но из прошлого к нему тоже тянутся, сходясь таким же конусом, косые линии бесчисленных возможностей, и, значит, я, находящийся здесь и сейчас вместе со львом, грозящим на меня обрушиться, и стрелой, которая пронзает воз-

дух, — всякий раз иной «я», ибо мое прошлое, мой возраст, мои племя, мать, отец, язык и опыт всякий раз различны, всегда иной и лев, хоть каждый раз я вижу его именно таким — в прыжке, изогнувшим хвост, почти дотрагиваясь кисточкой до правого бока в движении, похожем и на ласку, и на удар хлыстом, с развевающейся гривой, которая скрывает от меня значительную часть его груди и торса, так что видны мне лишь торчащие по сторонам передние лапы, поднятые будто бы для радостных объятий, но на самом деле готовые вонзить мне со всей силой когти в спину; стрела также сделана всегда из разных материалов, заточена различными орудиями, смочена ядами различных змей, но всякий раз летит по одинаковой параболе с одним и тем же свистом. Отношения между мной, стрелой и львом в это мгновение неопределенности, где ставка — смерть, не меняются, но следует признать, что если эта смерть нависла надо мною с иным прошлым, мной, вчера не собиравшим поутру с кузиной корнеплоды, то есть, по сути, над каким-то иным «мной», над чужаком, — быть может, чужаком, который накануне утром собирал с моей кузиной корнеплоды, и, значит, над моим врагом, — так или иначе, если в прошлые

разы здесь вместо меня пребывал другой, то мне не так уж важно, был ли в прошлый — будет ли в очередной — раз лев поражен стрелой или он остался — останется — цел и невредим.

В таком случае пребывание на протяжении всего пространства и времени в t_0 не может представлять для меня никакого интереса. Но была ведь и другая версия: поскольку в старой геометрии прямым было достаточно совпасть в двух точках, чтобы совпасть во всех, то, возможно, совпадут во всех точках и те линии, которые мир прочерчивает в пространстве-времени, перемежая фазы, и тогда не только t_0, но и t_1, t_2 и все последующие совпадут, соответственно, с t_1, t_2, t_3 так же, как и все предшествующие и дальнейшие секунды, и окажется, что у меня есть только одно прошлое и одно будущее, бессчетно повторяющиеся и до, и после этого момента. Непонятно, правда, есть ли смысл говорить о повторении, если время складывается из одного-единственного ряда точек, не допускающего вариаций ни в их существе, ни в очередности: в таком случае достаточно сказать, что время конечно и всегда равно себе и, значит, его можно считать данным сразу во всей протяженности, в виде кипы слоев настоящего, и тогда речь идет о времени

исчерпывающей полноты, поскольку каждое из мгновений, на которые оно разложимо, образует как бы слой, постоянно пребывающий между другими, тоже постоянно наличествующими слоями. Короче говоря, секунда t_0, где находятся стрела S_0, чуть подальше — лев L_0, а здесь — я сам, Q_0, — это пространственно-временной слой, неизменно неподвижный и равнозначный сам себе, с которым соседствует t, со стрелой S, львом L, и мной, Q, расположенными чуть иначе, дальше — t_2, содержащее S_2, L_2, Q_2, и так далее. В какую-то из этой череды секунд выясняется, кто же из нас — лев L_n, я или Q_n — гибнет, и в следующие секунды непременно происходят либо чествование племенем охотника, возвращающегося со шкурой льва, либо его похороны в атмосфере ужаса, распространяемого по саванне львом-убийцей. Но каждая секунда окончательна, замкнута и не пересекается с другими, так что я, Q_0, здесь, в моих владениях t_0, могу чувствовать себя вполне спокойно и не интересоваться тем, что при этом происходит с Q_1, Q_2, Q_3, Q_n в соответствующие секунды, недалекие от моей, так как на самом деле львы L_1, L_2, L_3, L_n никоим образом не могут оказаться на месте пресловутого, пока безвредного, хотя и грозного, L_0, на которого нацелена

летящая стрела S_0, еще обладающая смертоносной силой, которая, возможно, пропадет впустую, если S_1, S_2, S_3, S_n займут отрезки траектории, все дальше отстоящие от цели, выставляя меня на посмешище как первого мазилу племени, точнее, выставляя на посмешище Q_n, натягивающего тетиву в мгновение t_n.

Я знаю, здесь напрашивается сравнение с кинокадрами, но избегаю я его, конечно, не без оснований. Хотя каждая секунда, подобно кадру, обособлена и не пересекается с другими, однако для определения содержания t_0 одних точек Q_0, L_0 и S_0 мало, они сводят его к сценке львиной охоты, при всей драматичности ее, конечно, чересчур односторонней; следует учитывать все точки, какие есть в мире в данный миг, поэтому о кадрах — чтобы не сбивали с толку — лучше позабыть.

Итак, теперь, когда я решил обосноваться навсегда в мгновении t_0, — а не реши я, ничего б не изменилось, так как в качестве Q_0 я не мог бы находиться ни в каком другом, — у меня имеется прекрасная возможность оглядеться, обозреть мою секунду со всем, что в ней имеется. Справа от меня река, черная от гиппопотамов, слева — черно-белая от зебр саванна с разбросанными там и сям у горизонта баобабами, черно-красными от

птиц-носорогов; местоположение гиппопотамов, зебр, птиц-носорогов можно обозначить соответственно $G(a)_0$, $G(b)_0$, $G(c)_0$ и т. д.„$Z(a)_0$, $Z(b)_0$, $Z(c)_0$ и т. д., $PN(a)_0$, $PN(b)_0$, $PN(c)_0$ и т. д. Кроме них, в этой секунде есть сельские хижины, склады ввезенного и вывозимого добра, поля, скрывающие тысячи семян на разных стадиях развития, бескрайние пустыни с движимыми ветром крупицами песка $K(a)_0$, $K(Ь)_0$... $K(n^n)_0$, ночные города с горящими или погашенными окнами, дневные города с зелено-желто-красными огнями светофоров, графики производительности, индексы роста цен, биржевые курсы, очаги инфекций с указанием распространения каждого вируса, локальные военные конфликты с очередями пуль $P(a)_0$, $P(b)_0$... $P(z)_0$, $P(zz)_0$, $P(zzz)_0$... зависших на их траекториях с неясно сколь большими шансами на поражение врагов $W(a)_0$, $W(b)_0$, $W(c)_0$, таящихся в листве, самолеты с гроздьями бомб, еще ждущих отцепления, тотальная война, которая разразится, если сложится международное положение МР, в мгновение $МР_х$, взрывы сверхновых звезд, способные изменить строение всей нашей галактики...

Каждая секунда — это целый мир, секунда, проживаемая мной, — это секунда, в которой я живу, — the second I live is the second I live in, — мне

нужно приучиться думать сразу на всех сущих языках, чтобы проживать свое мгновение-мир во всей его полноте. Совокупность всех мыслимых синхронных данных дарит мне возможность объективно познать мгновение-мир t0 со всем, что в нем содержится, включая и меня, так как внутри t_0 я, Q_0, обусловлен не просто своим прошлым Q_1, Q_2, Q_3 и т. д., а системой, состоящей из всех птиц-носорогов PN0, пуль P0, вирусов V0, которые и определяют меня как Q_0. Более того, поскольку меня больше не заботит, что произойдет с Q_1, Q_2, Q_3 и т. д., мне нет смысла и далее придерживаться своей субъективной точки зрения, то есть я могу теперь отождествлять себя как с собой, так и со львом, с песчинкой, с индексом стоимости жизни, с врагом или врагом врага.

Для этого довольно с точностью установить координаты всех этих точек и вычислить их общие черты. К примеру, можно выделить все элементы ожидания и неопределенности, значимые как для меня, так и для льва, стрелы, бомб, врага, врага врага, и определить t_0 как момент всеобщего ожидания и неопределенности. Однако это не говорит мне ничего существенного о t_0, ибо оно, так или иначе ужасное, — что я, по-моему, уже доказал, — может находиться и в ряду мгновений,

где степень ужаса растет, и, наоборот, в ряду, где она убывает, и тогда его ужасность иллюзорна. Иначе говоря, признанная, но относительная ужасность t_0 может иметь совершенно разный смысл, так как t_1, t_2, t_3 в корне меняет его суть, то есть основные качества t_0 определяются различными t_1, которые зависят от Q_1, L_1, $N(a)_1$, $N(l/a)_1$.

Похоже, дело начинает усложняться: я готов замкнуться в t_0 и ничего не знать о том, что происходит за пределами этой секунды, но при этом отказаться от узко личной точки зрения и проживать, всесторонне воспринимая его объективное устройство, однако это объективное устройство, непостижимое изнутри t_0, можно рассматривать лишь из другого мига-мира, к примеру, из t, или t_2, и не со всего их протяжения сразу, а выбрав некую точку зрения — врага или врага врага, льва или мою собственную.

Подведем итог: чтобы задержаться в t_0, я должен уяснить себе его объективное устройство, для чего мне следует переместиться в t_1, и к тому же встать на ту или иную субъективную точку зрения; так почему бы мне не сохранить свою? Итог итога: чтобы задержаться во времени, я должен двигаться вместе со временем, для достижения объективности я должен оставаться

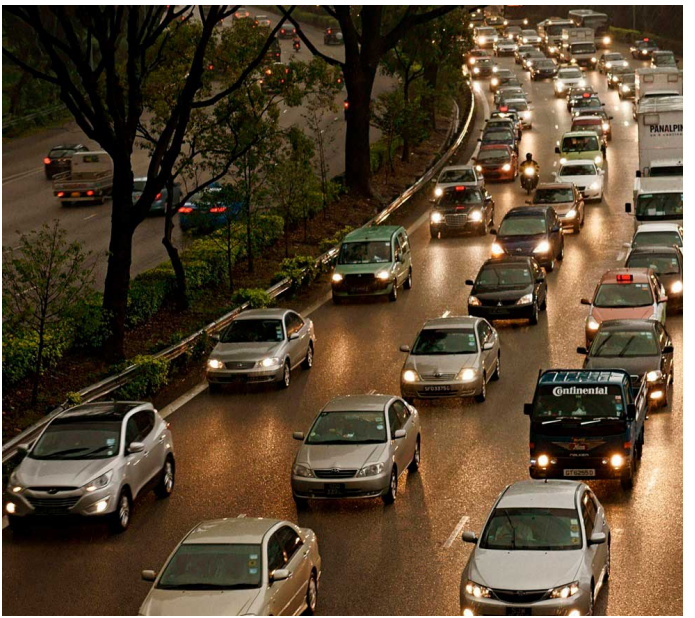
субъективным.

Посмотрим, как же мне практически вести себя. Я, как Q_0, с постоянным местопребыванием в t_0, мог бы мигом сгонять в t, а если этого окажется недостаточно — то в t_2 или в t_3, отождествив себя на время с Q_1, Q_2, Q_3, — само собой, в надежде, что ряд Q продолжится, не будет преждевременно оборван крючковатыми когтями L_1, L_2, L_3, — ведь только так я и смогу понять, какое место я, Q_0, занимаю в t_0, что только и должно на самом деле меня интересовать.

Однако есть опасность, что t, — мгновенье-мир t, — окажется настолько интересней, чем t_0, настолько более богатым эмоциями и сюрпризами — не знаю, радостными или роковыми, — что мною овладеет искушение всецело посвятить себя t, пожертвовать t_0, забыв, что оказался я в t, только для того, чтобы получше изучить t_0. И, объятый любопытством, незаконным стремлением к познанию t, — не своего мгновенья-мира, жаждой понять, и впрямь ли я совершил бы выгодную сделку, если бы сменил стабильность и безопасность, обеспеченные мне пропиской в t_0, на новизну, которую сулит t_1 я мог бы сделать шаг до t_2 просто ради более объективного представления о t, шаг же в t_2, в свою очередь…

Я начинаю понимать, что положение мое ничуть не изменилось бы и в случае отказа от исходного предположения, то есть если бы я допустил, что время не знает повторений и состоит из необратимой череды секунд, отличных друг от друга, каждая из которых бывает раз и навсегда, и обитать в этой секунде на протяжении ее секундной длительности означает обитать в ней навсегда, и что t_0 занимает меня только в свете t_1, t_2, t_3, таящих в себе жизнь или, напротив, смерть вследствие того движения, которое я сделал, выпустив стрелу, того, которое проделал, взвившись, лев, и тех движений, что мы оба совершим в ближайшие секунды, а также страха, парализовавшего меня на бесконечное мгновение при виде застывших в воздухе льва и стрелы, до тех пор, пока это молниеносное t_0 не перескакивает в следующий миг, решительно прочерчивая траектории обоих.

Преследование*



*** Примечания: ***
L'inseguimento.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

Меня преследует машина быстроходнее моей. В ней всего один человек, вооруженный револьвером, неплохой стрелок — судя по тому, что его пули разминулись со мной на считанные сантиметры. Спасаясь, я направился в центр города, и это было верное решение: преследователь не отстал, но теперь в длинном хвосте машин у светофора нас разделяет достаточное количество других автомобилей.

Красный для нас длится три минуты, а зеленый — две, должно быть, из расчета, что движение на перпендикулярной улице плотней и медленней. Расчет неверный, я считал машины, проходящие по поперечной улице, когда им дают зеленый, — их примерно вдвое больше тех, которым за такое же время удается оторваться от нашей вереницы и проехать светофор. Это не значит, что они там мчатся, — на самом деле и они ползут с такой невыносимо низкой скоростью, что ее и скоростью-то можно назвать только в сравнении с нашей почти полной неподвижностью как при красном, так и при зеленом. Оттого что они там ползут как черепахи, не удается двигаться и нам; когда зеленый гаснет для них и зажигается для нас, их волна еще не успевает схлынуть с перекрестка, и по крайней мере полминуты из

наших двух теряется впустую, прежде чем с этой стороны появится возможность сделать первый оборот колес. Правда, следует заметить, что хоть поперечный поток и принуждает нас к задержке, потом он вынужден за это расплатиться потерей сорока секунд, а то и минуты, прежде чем пуститься в путь, когда дадут зеленый им, — из-за шлейфа пробок, образуемых едва текущей волной наших; но их проигрыш отнюдь не означает выигрыш для нас, поскольку каждая задержка окончания движения с этой стороны (и начала — с той) влечет за собой еще большую задержку окончания движения с той стороны (и начала — с этой), и так — по нарастающей, так что все большую часть времени, когда горит зеленый как для этой стороны, так и для той, движение невозможно, и эта невозможность мешает больше нам, чем им.

Я замечаю: противопоставляя «нас» «им», я подразумеваю под «нами» как себя, так и того, кто преследует меня, чтобы убить, будто рубеж враждебности проходит не между мной и ним, а между нашей и их колоннами. Но мысли и чувства всех, кто здесь застрял и в нетерпении держит ногу на педали сцепления, невольно устремляется в русла, задаваемые ситуациями в транспортных

потоках; поэтому и можно говорить об общности намерений, которая объединяет меня, горящего желанием удрать, и его, мечтающего об еще одной возможности, — вроде той, когда он на окраинной дороге выпустил две пули, не попавшие в меня лишь чудом: одна вдребезги разбила левый отражатель, другая застряла в потолке машины.

Следует сказать, что общность, подразумеваемая словом «мы», — лишь кажущаяся, так как практически неприязнь моя распространяется не только на машины, перерезающие нам путь, но и на те, что продвигаются в нашей колонне; но внутри колонны более враждебны мне, конечно, те, которые идут передо мной, мешая мне двигаться вперед, чем те, что следуют за мной, — они могли бы проявлять свою враждебность, только попытавшись меня обогнать, что было бы непросто из-за плотности потока, где каждая машина зажата меж других с минимальными возможностями для маневра.

Иначе говоря, мой смертельный в данное мгновение враг затерян среди массы других твердых тел, которым поневоле также достается моих антипатии и страха; с другой стороны, и его стремление убить, нацеленное только на меня,

как бы рассеивают, отклоняют от цели многочисленные промежуточные объекты. Как бы то ни было, наверняка и он в своих предположениях думает о нашей колонне «мы», а о перерезающей наш путь — «они», и наверняка в наших расчетах, даром что нацеленных на противоположные результаты, есть немало общих элементов и ходов.

Хорошо бы наша колонна стала двигаться сначала очень быстро, а потом, наоборот, — необычайно медленно, то есть чтобы вдруг передние машины, рванувшись, миновали перекресток с последним проблеском зеленого, и я успел бы к ним примкнуть, но чтобы сразу за моей спиной путь остальной колонне оказался перекрыт на время, достаточное для того, чтобы я мог исчезнуть, свернув в какой-нибудь проулок. Весьма возможно, что преследователь мой, наоборот, прикидывает, проскочит ли он светофор с той же волною, что и я, сумеет ли не упустить меня до той поры, пока разделяющие нас машины рассеются в разные стороны или, во всяком случае, поредеют и его машина сможет оказаться сразу за моей или рядом с ней, к примеру, у другого светофора, где ему будет весьма удобно разрядить в меня свой револьвер (я безоружен) за секунду до того, как включится зеленый, дав ему возмож-

ность скрыться.

В общем, я делаю ставку на неравномерность чередования периодов стоянки и периодов движения всей колонны, а ему, напротив, на руку примерное равенство и периодов движения, и периодов стоянки для каждой из машин. Короче, вопрос в том, считать ли колонну чередой фрагментов, каждый из которых ведет собственную жизнь, или она — единый неделимый организм, в котором можно ждать единственного изменения — падения интенсивности движения в ночные часы, в предельном варианте — до того, что на линии останутся лишь наши две машины, сохраняющие направление движения, и расстояние между ними будет неумолимо сокращаться…

Общее в наших расчетах, безусловно, то, что факторы, определяющие движение каждой машины, — мощность моторов, мастерство водителей, — почти что не играют роли, все определяется движением колонны в целом, точнее, совокупным движением всех едущих по городу колонн. В общем, я и тот, кому поручено меня убить, как бы зажаты оба в пространстве, движущемся по своим законам, мы вросли в это мнимое пространство, которое распадается и снова складывается и от перемен в котором зависит

наша участь.

Простейший выход из этой ситуации — это выход из машины. Если бы один из нас или мы оба дальше двинулись пешком, то снова оказались бы и стали бы перемещаться в истинном пространстве. Но мы находимся на улице, где стоянка машин запрещена, значит, нам пришлось бы бросить наши посреди дороги (мы оба едем в краденых, которые предполагалось бросить, как только они станут не нужны); я мог бы проползти между машинами на четвереньках, чтоб не подставлять себя под его пули, но такое бегство не смогло бы не привлечь внимания, и за мной пошла бы по пятам полиция. А я теперь не только не могу просить защиты у полиции, но и должен всеми способами избегать с ней встреч. Так что я не должен покидать свою машину, даже если мой преследователь выйдет из своей.

Только мы застряли здесь, я с ужасом представил, как он идет ко мне пешком на глазах у сотен прикованных к рулям людей, спокойно озирает одну машину за другой, подойдя к моей, расстреливает в меня всю обойму и скрывается. Мои страхи были не беспочвенны: вскоре я заметил в зеркале заднего вида, как преследователь мой привстал, высунулся в приоткрытую дверцу и,

глядя поверх стальных крыш, пытался понять причину слишком затянувшейся стоянки; вскоре после этого его сухопарая фигура выскользнула из машины, и он бочком стал пробираться в мою сторону. Но в этот миг колонна оживилась, предвкушая скорое движение вперед; те, кто находился позади его пустой машины, принялись неистово сигналить, некоторые водители и пассажиры с угрожающими криками и жестами выскочили из своих автомобилей. Они наверняка догнали бы его и силой усадили бы за руль, если бы он сам не поспешил вернуться и тронуться дальше, позволяя тем, кто сзади, хоть ненамного, но продвинуться вперед. Так что на этот счет я могу не волноваться: оба мы не в состоянии выйти из машин ни на минуту, мой преследователь не решится добираться до меня пешком, так как, даже если он успеет выстрелить в меня, потом ему не избежать ярости других водителей, которые могут его даже линчевать, — не столько за убийство, сколько за то, что наши две машины застопорят движение.

Я стремлюсь предусмотреть все мыслимые варианты: чем больше частностей приму в расчет, тем выше мои шансы на спасение. Впрочем, что мне еще делать? Мы ведь не продвинулись ни на

единый сантиметр. Если до сих пор я рассматривал колонну как линейную последовательность или поток, в котором отдельные машины двигаются в беспорядке, то теперь настало время уточнить: они располагаются в колонне в три ряда, и смены ожидания и движения в каждом из рядов не совпадают; бывает, продвигается лишь правый или левый ряд, бывает — только средний, где как раз находятся и мой автомобиль, и машина моего потенциального убийцы. Я пренебрегал до сей поры столь очевидным обстоятельством не только потому, что ряды образовались постепенно и заметил я это не сразу, но и потому, что положение от этого не изменилось ни к лучшему, ни к худшему. Конечно, различие в скорости между отдельными рядами сыграло бы решающую роль, если бы мой преследователь, двигаясь, например, в правом ряду, в какой-то миг смог поравняться с моей машиной, выстрелить и продолжать свой путь. Но и это исключается: даже если из центрального ряда он сумеет перебраться в боковой (машины движутся почти вплотную друг за другом, но все же можно улучить момент, когда в соседнем ряду между ними возникнет промежуток, и втиснуться туда, невзирая на десятки протестующих гудков), то я,

наблюдая в зеркало заднего вида, вовремя замечу его маневр и благодаря дистанции между нами успею совершить аналогичный, то есть тоже смогу перебраться в тот же — правый или левый — ряд, куда и он, и буду продолжать движение впереди него с такой же скоростью или смогу переместиться в крайний ряд с противоположной стороны, если он — в левый, то я — в правый, и тогда нас будет разделять не только некоторое расстояние по ходу нашего движения, но и смещение, так сказать, по долготе, которое тотчас же превратится в непреодолимое препятствие.

Допустим все же, что мы наконец окажемся бок о бок: чтобы выстрелить в меня, он тоже должен будет улучить момент, не то рискует в замершей колонне дожидаться полиции рядом с машиной, где за рулем будет сидеть мертвец. Прежде чем ему представится возможность все проделать быстро и без риска, мой преследователь должен ехать рядом неизвестно сколько времени, но так как скорость движения в разных рядах меняется неравномерно, то машины наши не долго будут оставаться рядом. Если я вновь опережу его — что ж, восстановится былая ситуация; хуже будет моему врагу, если его ряд продвинется вперед, а мой останется на месте.

Если мой преследователь будет впереди, я перестану быть преследуемым. И, закрепляя свой новый статус, могу переместиться в его ряд, так чтобы меня от него отделяло несколько машин. Вынужденный подчиняться общему потоку, он не сможет повернуть назад, и я, следуя позади него, буду в безопасности. А у светофора я, увидев, куда он свернул, сверну в другую сторону, и больше мы не встретимся.

Впрочем, совершая все эти маневры, следует учитывать: подъехав к светофору, тот, кто движется в правом ряду, должен непременно повернуть направо, тот, кто в левом, — влево (затор на перекрестке не позволит изменить намерение), едущие посередине могут передумать и в последний миг. Именно поэтому мы оба и стараемся не покидать центральный ряд: я — чтобы до последнего сохранять свободу выбора, он — чтобы быть готовым повернуть в ту сторону, куда и я.

Я с воодушевлением думаю: а все-таки мы оба молодцы, что выбрали центральный ряд. Приятно знать, что есть свобода выбора, в то же время чувствуя себя под защитой массы крепких и непроницаемых тел, не иметь иных забот кроме как, сняв левую ногу с педали сцепления, правой

мгновенно нажать на акселератор и тотчас же снова левой — на сцепление, — и все это не по своему желанию, а подчиняясь общему ритму движения.

Я полон удовлетворения и оптимизма. В сущности, наше движение, как и любое другое, заключается в том, чтобы занимать собой пространство, лежащее впереди, оставляя позади освобожденное. И вот, едва передо мной оказывается свободное пространство, я занимаю его, пока не поспешил занять кто-то другой: единственное, что можно сотворить с пространством, — это поглотить его, что я и делаю, едва оно образуется, и стоит ему вновь образоваться за моей спиной, как там его мгновенно поглощает кто-нибудь другой. Короче говоря, пространства никогда не видно, может быть, его вообще не существует, это только протяженность вещей и мера расстояния, — к примеру, расстояние между мною и моим преследователем измеряется числом автомобилей между нами, и поскольку это число постоянно, то и само преследование весьма условно, — с тем же основанием можно утверждать, что преследуют друг друга двое пассажиров, едущих в разных вагонах одного и того же поезда.

Но если число промежуточных машин уве-

личится или уменьшится, тогда преследование снова станет настоящим независимо от скоростей наших машин или возможностей маневра. Нужно вновь напрячь внимание: обе возможности не исключены. Я замечаю: между местом, где я нахожусь сейчас, и перекрестком со светофором ответвляется улочка, скорее даже переулок, откуда тонкой, но непрестанной струйкой вытекают машины. Достаточно нескольким из них занять место между мною и моим преследователем — и расстояние между нами сразу возрастет, как если бы я сделал неожиданный рывок вперед. Но слева от нас, посреди улицы, начинается узкий островок, отведенный для стоянки; если там есть или появятся свободные места, довольно будет некоторым промежуточным машинам свернуть на ту стоянку — и расстояние между мною и моим преследователем тотчас же сократится.

Нужно скорее найти выход, и, поскольку я могу свободно двигаться лишь в поле теории, мне остается только углублять теоретический анализ ситуации. Изменить реальность — хороша она или плоха — мне не под силу. Моему преследователю поручено настичь меня и застрелить, мне же было сказано, что я могу только спасаться бегством; эти указания остаются в силе и в том

случае, если пространство в одном или во всех своих измерениях сойдет на нет и движение станет невозможным, — даже тогда мы все равно останемся преследуемым и преследователем.

Я должен принимать в расчет два типа связей: с одной стороны, систему средств передвижения, одновременно едущих по центру города, где площадь, занятая машинами, равна всей площади дорог, а то и превышает ее, с другой — систему отношений между вооруженным преследователем и безоружным преследуемым. Сейчас эти два типа связей отчасти совпадают — второй содержится в первом, как вода в сосуде, который, придавая ей свою форму, скрывает ее, — так что сторонний наблюдатель не может из потока одинаковых машин выделить те две, которые участвуют в погоне, где ставка — жизнь, понять, что за невыносимым ожиданием таится бешеная гонка.

Попробуем спокойно проанализировать каждый элемент в отдельности: преследование есть, в сущности, сопоставление скоростей двух тел, которые перемещаются в пространстве, но поскольку мы убедились, что пространство не существует независимо от заполняющих его тел, то суть преследования — в изменении взаимного

расположения этих тел. То есть именно тела определяют окружающее их пространство, и если это утверждение вроде бы противоречит тому, что происходит и со мною, и с моим преследователем, — ведь нам не удается определять ровным счетом ничего, никакого пространства — ни для преследования, ни для бегства, — то это потому, что речь идет не об отдельных телах, а о совокупности всех тел с их взаимосвязями, инициативами и колебаниями, рывками с места, световыми и звуковыми сигналами, кусанием ногтей и непрерывным яростным переключением скоростей: нейтральная, первая, вторая, предельная; нейтральная, первая, вторая, предельная…

Теперь, когда мы отказались от понятия пространства (думаю, и мой преследователь, изнывая от ожидания, пришел к таким же выводам) и понятие движения означает для нас уже не прохождение тела через ряд последовательных точек, а непоследовательные и беспорядочные перемещения тел, находящихся то здесь, то там, — теперь, возможно, мне удастся более спокойно относиться к тому, что мы почти не движемся, поскольку главное — то относительное пространство, которое образуется и изменяется

вокруг моей машины и других машин колонны. В общем, каждая машина — центр системы связей, по сути дела, равнозначной всем таким системам, то есть машины взаимозаменимы, — я имею в виду и сидящих в них водителей, ведь каждый автомобилист вполне мог поменяться бы местами с другим автомобилистом, в том числе и я — с ближайшими соседями, а мой преследователь — с теми, кто вокруг него.

В подобных переменах мест могут быть выделены преимущественные направления: например, направленность движения нашей колонны, которая, даже когда реального продвижения не происходит, исключает возможность перемещения в противоположную сторону. А преимущественное для нас обоих направление — это направление преследования: в самом деле, единственный немыслимый обмен местами — это между нами, как и любой другой обмен, противоречащий ходу погони. Что доказывает: в этом мире, где все, казалось бы, взаимозаменяемо, отношения преследователя и преследуемого по-прежнему — единственная непреложная реальность.

Дело в том, что если каждая машина — при неизменном направлении движения и преследования — равнозначна любой другой, то свойства

каждой могут быть присвоены и всем другим машинам. Тогда не исключено, что вся колонна состоит из преследуемых машин и каждая из них, подобно мне, мчится прочь от пистолета, зажатого в руке водителя преследующей ее машины. Точно так же можно допустить, что водитель каждой из машин колонны преследует водителя другой с целью убить его, и тогда внезапно центр города превращается в поле битвы или место бойни. Верно это или нет, но поведение машин вокруг меня, будь это верно, не отличалось бы от нынешнего, так что я имею право отстаивать свою гипотезу и, приписав одной машине роль преследуемой, а другой — преследующей, наблюдать за изменением их положения относительно друг друга. Помимо всего прочего, такая игра прекрасно скрашивает ожидание — достаточно истолковывать как эпизоды вероятного преследования любые перемещения машин в колонне. Например, сейчас, когда одна из промежуточных машин, увидев на стоянке незанятое место, принимается сигналить о своем желании свернуть налево, я, вместо того чтоб озаботиться сокращением дистанции между мною и моим врагом, вполне могу предположить, что это маневрирует один из массы окружающих меня преследуемых

или преследователей; тогда мои до сей поры личные, субъективные переживания и страхи проецируются на других, распространяясь на всю систему связей, звеньями которой являемся мы все.

Промежуточная машина покидает свое место в среднем ряду не впервые; с одной стороны — стоянка, а с другой — чуть более быстрый правый ряд, похоже, обладают немалой притягательностью для машин, идущих позади меня. Пока я делал свои умозаключения, окружающее меня относительное пространство претерпело различные изменения. В какой-то миг и мой преследователь перебрался в правый ряд и, пользуясь его продвижением вперед, обогнал две машины среднего; тогда и я переместился в правый ряд; он вернулся в средний, и я следом — в средний, но мне пришлось одну машину пропустить вперед, а он, наоборот, три обогнал. Раньше эти перемены меня весьма встревожили бы, но теперь они интересуют меня главным образом как частные случаи в общей системе преследований, характерные черты которой я пытаюсь установить.

Если все машины участвуют в преследованиях, тогда, по здравом размышлении, выходит: свой-

ство преследования коммутативно, то есть любой преследующий — в то же время и преследуемый, и наоборот. То есть машины связаны между собой единообразными и симметричными связями; единственный трудно поддающийся определению элемент — интервал между преследуемым и преследователем внутри каждой пары. В самом деле, он может состоять из двадцати или сорока машин, а может быть и нулевым, как — судя по тому, что я увидел в зеркальце, — произошло сейчас со мной: как раз в этот момент мой преследователь занимает место непосредственно за мной.

Наверно, мне пора признать свой проигрыш, признать, что жить мне остается несколько минут, если только, развивая свою гипотезу, я не отыщу спасительное решение. Предположим, например, что за преследующей меня машиной едет целая цепочка машин, преследующих одна другую, и ровно за секунду до того, как мой преследователь выстрелит в меня, его преследователь выстрелит в него и спасет тем самым мою жизнь. Но ежели на две секунды раньше преследователь моего преследователя будет настигнут и убит его преследователем, тот, кто преследует меня, окажется спасен и сможет пристрелить ме-

ня. Совершенная система преследований должна основываться на простой взаимосвязи функций: задача каждого преследователя — помешать тому, кто едет перед ним, преследуя другую машину, застрелить намеченную им жертву, и он может сделать это только одним способом — убив его. Тогда задача в том, чтобы определить, какое звено цепочки выпадет первым: как только одному преследователю удастся застрелить другого, следующий откажется от выстрела, ибо уже не сможет помешать совершенному убийству, а покушавшемуся на него преследователю тоже будет незачем стрелять, так как то убийство, которое он должен был предотвратить, уже не приключится, и так во всей цепочке не останется ни преследуемых, ни преследователей.

Но ежели я допускаю наличие цепочки преследований позади меня, ничто мне не мешает думать также, что цепочка эта продолжается и в предшествующей мне части колонны. Сейчас, когда на светофоре загорается зеленый и, вероятно, мне удастся в этот раз вырваться на перекресток, где будет решена моя судьба, я осознаю, что все зависит не от того, кто за моей спиной, а от моих взаимоотношений с тем, кто едет впереди. Единственная имеющая в данном случае

значение альтернатива такова: мое положение преследуемого — асимметричное конечное звено означенной цепочки (что вроде бы доказывается отсутствием у меня оружия), или, в свою очередь, и я — преследователь? Всесторонне проанализировав все данные, я прихожу к такому выводу: мне поручено убить одного человека и ни в коем случае не применять оружие против других; тогда по отношению к своей жертве я вооружен, а ко всем прочим — безоружен.

Чтобы убедиться в верности этой гипотезы, довольно протянуть руку вперед: если в «бардачке» моей машины есть пистолет, значит, и я преследую кого-то. Проверить это времени мне не хватает: на зеленый перекресток проскочить не удалось, так как предыдущая машина застряла, отсеченная потоком сворачивающих на поперечную улицу автомобилей, а тем временем опять зажегся красный, и движение на поперечной улице возобновилось. Водитель миновавшей уже линию светофора машины оборачивается посмотреть, можно ли дать задний ход, видит меня, и лицо его искажает ужас. Это враг, за которым я охотился по всему городу и терпеливо ползу сейчас в этой нескончаемой колонне. Я опираюсь о коробку скоростей правой рукой, в которой сжи-

маю пистолет с глушителем, и вижу в зеркальце, как мой преследователь целится в меня.

Включается зеленый, я пускаю мотор полным ходом, левой рукой выворачиваю руль налево, правую вскидываю к окошку и стреляю. Тот, кого преследовал я, падает на руль, тот, кто преследовал меня, опускает ставший ненужным пистолет. Я уже двигаюсь по поперечной улице. Абсолютно ничего не изменилось: колонна движется короткими рывками, я остался пленником системы едущих машин, где невозможно отличить преследуемых от преследователей.

Ночью на дороге*

Выехав из города, замечаю, что уже темно. Включаю фары. Еду из А в В по трехполосному шоссе, где средняя используется для обгона в обоих направлениях. Для ведения машины в темноте глаза тоже как бы выключают некое устройство и включают другое, поскольку теперь им нужно не стараться различать среди теней и блеклых красок вечернего пейзажа пятнышки машин, что

*** Примечания: ***

Il guidatore notturno.

© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

приближаются издали или катят впереди, а следить за чем-то вроде черной грифельной доски, требующей иного рода чтения, более точного, но упрощенного, ведь тьма стирает все подробности, способные отвлечь внимание, и выявляет лишь необходимые детали: белые разделительные полосы, желтые лучи фар, красные точки. Обычно это совершается автоматически, и размышлять об этом я вдруг начал потому, что с уменьшением числа внешних поводов отвлечься во мне берут верх внутренние, и мысли сами устремляются по кругу сомнений и альтернатив, который мне никак не удается разомкнуть, так что приходится делать над собой специальное усилие, чтобы сосредоточиться на управлении машиной.

Сел за руль я неожиданно, после телефонной ссоры с У. Живу я в А, а У — в В. Сегодня вечером я к ней не собирался. Но в ходе будничного телефонного разговора мы обменялись достаточно серьезными заявлениями, и в конце концов я от досады сказал ей, что готов к разрыву наших отношений, на что У: мол, пожалуйста, она тотчас же позвонит Z, моему сопернику. После чего один из нас — не помню, я или она, — повесил трубку. Не прошло и минуты, как я понял: повод нашей ссоры — ерунда в сравнении с ее последствия-

ми. Но, перезвонив ей, я бы совершил ошибку; поправить дело можно было, лишь смотавшись в В и объяснившись с У лично; и вот я здесь, на автостраде, по которой мчался сотни раз в любое время суток и в любой сезон, но никогда еще она мне не казалась такой длинной.

Точнее, кажется мне, будто я утратил ощущение пространства и времени — снопы света, исходящие от фар, не высвечивают, а размывают очертания местности; цифры километров и на счетчике, и на дорожных указателях мне ни о чем не говорят, не дают ответа на жгущие меня вопросы: что У делает сейчас? о чем она там думает? Она и в самом деле собиралась звонить Z или бросила эту угрозу просто мне назло? А если это было сказано всерьез, то позвонила сразу после нашей с ней беседы или решила все-таки подумать, подождать, пока немного схлынет раздражение, и уже после принимать решение? Как и я, Z — житель А, годами безответно обожающий У. Если она ему и вправду позвонила и позвала к себе, то он, конечно, тотчас же помчался в В и, значит, тоже едет сейчас по этому шоссе; каждая из обгоняющих меня машин может быть его автомобилем, так же как и каждая, которую обгоняю я. Проверить трудно: едущие в том же направле-

нии, что и я, машины — пары красных огоньков, если они передо мной, и пары желтых глаз, если я вижу их в зеркале заднего вида. В момент обгона я способен в лучшем случае определить модель машины и количество сидящих в ней людей, но в большинстве машин — один водитель, что же до модели, вряд ли она у Z какая-то особенная.

Вдобавок ко всему начался дождь. Поле зрения ограничивается полукругом очищаемого «дворником» стекла, все остальное — исполосованная или непроницаемая тьма, и доходящие до меня снаружи сведения исчерпываются желтыми и красными проблесками, искажаемыми круговертью капель. Все, что могу я сделать с Z, — это постараться обогнать его и не позволить ему обогнать меня, в какой бы он машине ни был, но узнать, в какой из них и где он, я не смогу. Все идущие из А машины мне враждебны в равной мере, каждая лихорадочно сигналящая мне в зеркальце, чтоб я пропустил ее, вызывает острую ревность, каждый раз, как уменьшается передо мною расстояние, отделяющее меня от задних огоньков соперника, я торжествующим рывком бросаюсь на среднюю полосу, чтобы нагрянуть к У раньше.

Довольно было бы опередить его на несколько

минут: увидев, что я сразу к ней примчался, У тотчас же забудет повод нашей ссоры и между нами снова станет все как прежде; Z, приехав, обнаружит, что был призван лишь сыграть некую роль в идущей между нами неведомой ему игре, и почувствует себя лишним. Может быть, уже сейчас У пожалела обо всем, что говорила, и попробовала мне перезвонить, а может, и она решила, что лучше всего ей приехать собственной персоной, села за руль и движется сейчас по этому шоссе в обратном направлении.

Я бросил обращать внимание на машины, едущие со мною в одну сторону, и теперь присматриваюсь к тем, что движутся навстречу, и для меня они — желтые звездочки, которые все увеличиваются, — до тех пор, пока совсем не выметают темноту из поля зрения, чтобы вдруг исчезнуть за моей спиной, увлекая за собою этакий подводный люминесцирующий шлейф. Машина У — самая обычная, как, впрочем, и моя. Каждое свечение — это, может быть, она, спешащая ко мне, при виде каждого я чувствую волнение в крови, как от близости, которой суждено остаться тайной; любовное послание, адресованное только мне, смешивается с другими сообщениями, бегущими по проводу шоссе,

но лучшего послания от нее я не желал бы.

Я понимаю, что, мчась к У, я более всего хотел бы не встречи с ней по завершении своего пути, а чтобы У тоже мчалась ко мне, — вот какая мне нужна реакция, то есть мне надо, чтобы она знала: я мчусь к ней, но одновременно надо знать: она ко мне несется тоже. Единственная утешительная — и одновременно наиболее мучительная для меня — мысль о том, что, если У мчится сейчас в направлении А, то и она, завидев фары автомобиля, мчащегося в направлении В, думает, не я ли еду к ней, и хочет, чтоб это был я, но всякий раз не может быть в этом уверена. Вот поравнялись две машины, летящие в противоположных направлениях, вспышка осветила дождевые капли, шум моторов слился с завыванием ветра: возможно, это были мы, то есть я был точно я, — если, конечно, в этой фразе есть какой-то смысл, — а в другой машине могла быть она, то есть та, которая, хорошо бы, оказалась ею, ее знак, в котором я хочу узнать ее, хотя то, что она — знак, как раз и делает ее неузнаваемой. Мчаться по шоссе — единственно возможный для нас обоих способ выразить все то, что мы должны сказать друг другу, при этом ни один из нас не может ни послать другому сообщение,

ни принять то, которое послано ему, пока мы мчимся по шоссе.

Конечно, сел за руль я, чтобы поскорее оказаться у нее, но чем дальше еду, тем лучше понимаю: настоящая цель моей гонки — не момент прибытия. Наша встреча со множеством малосущественных подробностей, одних и тех же при всех встречах, густая сеть ощущений, смыслов и воспоминаний, которая развернулась бы передо мной, — комната с филодендроном, лампа с матовым стеклом, сережки, — и все то, что я сказал бы, — в том числе, конечно, что-то ошибочное или двусмысленное, — и все то, что сказала бы она, — наверняка и что-нибудь фальшивое, во всяком случае, не то, чего я ожидаю, и череда непредсказуемых последствий, которые способны вызвать каждый жест и каждое слово, подняли б вокруг того, что мы хотим сказать друг другу, а точней, того, что каждому из нас хотелось бы услышать от другого, такой шум, что и без того затрудненное телефонное общение стало бы еще более искаженным, приглушенным, словно заваленное лавиною песка. Потому-то я и ощутил потребность вместо дальнейших разговоров претворить все то, что мы должны сказать друг другу, в сноп света, источаемого на скорости сто

сорок в час, самому стать этим конусом лучей, движущимся по шоссе, — такой сигнал уж непременно будет принят и понят ею, не затеряется в невнятном хаосе вибрации, и в то же время я сам, желая принять и понять все то, что она собирается сказать мне, хотел бы, чтобы это выражалось в снопе света, который мчится мне навстречу по шоссе со скоростью так что-нибудь сто десять — сто двадцать в час. Главное — сообщить необходимое, опустив излишнее, свести самих себя к сути сообщения, к световому сигналу, движущемуся в определенном направлении, пожертвовав многообразием наших личностей, ситуаций, выражений лиц, оставив все это в тех темных емкостях, которые фары, скрывая их, тащат за собой. У, моя любимая, — по сути, этот мчавшийся поток лучей, подразумевающий все остальное, а сам я, может быть, любимый ею, я, имеющий доступ в тот круг восторженности, каковой является ее эмоциональная жизнь, — пытаюсь ради ее любви совершить небезопасную вспышку — обгон.

И с Z (я вовсе не забыл про Z) правильные отношения я могу установить тоже, только если воспринимать его как преследующие меня мигание и вспышку или преследуемые мной габаритные огни, — так как если принимать в расчет и его

личность, со всем, что есть в нем — скажем — трогательного, но и бесспорно неприятного, хотя и — следует признать — объяснимого, со всей этой его несчастной любовью и всегда несколько двусмысленной манерой поведения… неизвестно, чем это закончится. А так пока что все прекрасно: Z стремится обогнать меня или дает мне обогнать себя (но он ли это?), У — раскаявшаяся и вновь в меня влюбленная — прибавляет скорость на пути ко мне (она ли это?), я мчусь к ней, объятый ревностью и беспокойством (но не могу дать знать об этом ни У, ни кому-либо другому).

Конечно, если б я был на шоссе совсем один, если б не видел мчащихся в обоих направлениях машин, все было бы куда ясней, я мог бы быть уверен: и Z не устремился занять мое место, и У не пустилась в путь для примирения со мной, что можно было б занести в актив или в пассив, но, так или иначе, не было бы оснований для сомнений. Но уж, конечно, лучше нынешняя неопределенность, чем уверенность со знаком минус. Идеальным вариантом, исключающим любые сомнения, было бы наличие в этой части мира всего трех автомобилей — моего, У и Z, тогда в том же направлении, что и я, могла бы двигаться только машина Z, а в противоположном

— лишь машина У. Но если по дороге мчатся сотни машин, сводимые ночью и дождем к безликим проблескам, то только занимающий благоприятную позицию неподвижный наблюдатель мог бы отличить одну машину от другой и, может, даже рассмотреть, что там внутри. Такое вот противоречие: чтобы получить послание, я должен отказаться быть посланием сам, но послание, которое я хотел бы получить от У, — обнаружить, что она сама стала посланием, — представляет ценность, только если и я сам — послание, так же как и то послание, которое являю собой я, имеет смысл, только если У не просто его получает, но если и она — то самое послание, которого я ожидаю от нее.

Теперь, если я приеду в В, войду в дом У и увижу, что она осталась дома с головною болью обдумывать причины нашей ссоры, я отнюдь не буду удовлетворен; если потом нагрянет Z, произойдет отвратительная театральная сцена; если же я узнаю, что Z воздержался от приезда или У не осуществила свою угрозу позвонить ему, то я почувствую себя идиотом. С другой стороны, если б я остался в А, а У приехала ко мне просить прощения, я попал бы в затруднительное положение, увидев в У слабую женщину, которая

цепляется за меня, и что-то между нами изменилось бы. Так что превращение нас самих в наши послания — единственно возможный вариант. А Z? И его должна постигнуть та же участь: он тоже должен превратиться в собственное послание, не хватало еще, чтобы я мчался к У, ревнуя ее к Z, она, раскаявшись, — ко мне, чтобы ускользнуть от Z, а Z не думал даже выходить из дома…

На полдороге между А и В есть автостанция. Я останавливаюсь, вбегаю в бар, покупаю горсть жетонов, набираю код В и номер У. Ответа нет. На радостях я ссыпаю жетоны градом на пол: ну конечно, У не выдержала, кинулась за руль и мчится в направлении А. Вернувшись на шоссе, я переезжаю на противоположную полосу и тоже устремляюсь в А. Теперь в каждой из машин, которые я обгоняю, может находиться У, как и в любой из тех, что обгоняют меня, а на противоположной полосе в любой машине, едущей в другую сторону, может быть поддавшийся обману Z. А что, если и У, затормозив у автостанции, вышла из машины, набрала мой номер в А, не дождавшись моего ответа, поняла, что я тем временем мчусь в В, и изменила направление движения? Теперь мы едем в противоположных направлениях, отдаляясь друг от друга, а машина,

обгоняющая меня или обогнанная мной, — машина Z, который тоже, проехав полдороги, пытался звонить У.

Все стало еще неопределенней, но теперь-то мне спокойней на душе: пока мы сможем делать контрольные звонки, которые останутся без отклика, мы все трое так и будем продолжать носиться взад-вперед вдоль этих белых линий, не думая о том, что следует нам считать местом отправления, а что — местом прибытия (дабы связанные с ними ощущения и смыслы не придавали нашей гонке однозначность), и наконец освободившись от громоздкой содержательности наших личностей, голосов и настроений, сейчас сведенных нами к звуковым сигналам, — как лишь и могут и должны жить те, кто хочет, чтобы их высказывания были тождественны им, не искажены помехами, которые в присутствии наших «я» сопровождают все сказанное нами.

За это — что поделаешь — придется заплатить немалую цену: стать неотличимыми от множества сигналов, мчащихся по этому шоссе, каждый — со своим значением, скрытым и нерасшифрованным, поскольку за пределами шоссе нет больше никого, кто был бы в состоянии воспринять нас и понять.

Граф Монте-Кристо*

Гравюра из цикла «Воображаемые тюрьмы». Джованни Баттиста Пиранези. 1761



*** Примечания: ***
Il conte di Montecristo.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

1. Не многое я могу сказать из этой одиночки об устройстве замка Иф, где заточен я уже столько лет. Решетчатое окошечко находится в глубокой нише, пронзающей толщу стены, так что в него мне видно только небо; яркость неба позволяет догадываться, который час и что за время года, но что под окошком — море, откос или один из дворов крепости, — не знаю. Ниша снижается воронкой; чтобы выглянуть в окошко, нужно пробраться к узкому ее концу; я пытался — это нереально даже для того, кто превратился в тень, как я. Отверстие, возможно, более удалено, чем кажется: верной оценке расстояния мешают перспектива и контрастность освещения.

Стены так толсты, что в них могли б таиться другие камеры и лестницы, пороховые погреба и кордегардии, или, напротив, крепость вся могла бы представлять собой сплошную стену, где замурован живой человек. Сменяющиеся в воображении невольника картины не исключают одна другую: камера, окошко-амбразура, коридоры, по которым дважды в день приходит надзиратель, приносящий суп и хлеб, — все это, вероятно, просто поры, пронизывающие ноздреватую породу.

Шум моря доносится сюда с особой силой в

штормовые ночи; порой мне кажется, что волны разбиваются о стену, к которой я прикладываюсь ухом, порой — будто они подмывают фундамент снизу, и оттуда гул восходит, точно по раструбу раковины, — тоже превратившись в узника, — на верх самой высокой башни этого узилища, туда, где моя камера.

Я вслушиваюсь: звуки обрисовывают вокруг меня затейливые, изменчивые формы и пространства. По шарканью тюремщиков я силюсь воссоздать в уме сеть коридоров, их повороты, расширения, прямые участки, движение по которым прерывается лишь стуком дна кастрюли о пороги камер и скрежетом засовов, но удается мне установить лишь временную очередность точек без какого-либо соответствия им в пространстве. Ночью звуки слышатся отчетливее, но откуда именно, насколько далеки эти места, определить все так же трудно: где-то точит зубы крыса, где-то застонал больной, сирена возвещает о входе корабля на марсельский рейд, аббат Фариа продолжает пробивать себе киркою путь среди этих камней.

Я не знаю, сколько раз уже аббат Фариа пробовал бежать, но в каждом случае он работал

месяцами, поддевая плиты, кроша соединивший их цемент, сокрушая камень самодельными пробойниками, но когда очередной удар киркой должен был открыть аббату выход на прибрежные скалы, обнаруживалось, что на самом деле Фариа оказался в еще более глубинной камере. Достаточно ошибочки в расчетах, небольшого отклонения от направления хода — и аббат, устремившись в недра крепости, необратимо сбивается с маршрута. После каждой неудачи он вносит коррективы в формулы и чертежи, покрывающие стены его камеры, заново отлаживает арсенал тех средств, при помощи которых собирается пытать фортуну, и опять берется за кирку.

2. О том, как совершить отсюда побег, немало думал и поныне думаю и я; я строил столько всяческих гипотез об устройстве этой крепости, о самом кратком и надежном пути, который позволил бы мне выбраться за внешний бастион и прыгнуть в море, что уже не отличаю собственные домыслы от сведений, основанных на опыте. Порой мне удается нарисовать в уме столь убедительную и подробную картину цитадели, что мысленно я двигаюсь по ней вполне свободно; данные же, извлекаемые мной из увиденного

и услышанного, беспорядочны, неполны и все более противоречивы.

В начале заточения, когда мои отчаянные бунтарские шаги еще не обрекли меня на тление в этой одиночке, я, выполняя арестантские повинности, расхаживал вверх-вниз по лестницам и бастионам и знал все потайные выходы из замка Иф; но из всех запечатленных памятью картин, которые я продолжаю в мыслях разбирать и снова составлять, ни одна не сочетается с другой и не позволяет представить форму крепости, понять, где именно я нахожусь в ней. И тогда меня обуревают мучительные размышления о том, как я, бедный, но честный моряк Эдмон Дантес, мог прогневать правосудие и лишиться вдруг свободы, — которые не дают возможности сосредоточиться на планировке крепости.

Марсельская бухта с островками мне знакома с детства, она служила фоном всех отплытий и прибытий в моей недолгой жизни моряка; но все, кто проплывает мимо, только взгляд их упадет на темную скалу, где расположен Иф, тотчас в страхе отворачиваются. Когда меня, закованного в кандалы, везли сюда в жандармской лодке, я, завидев на горизонте очертания цитадели, понял,

что за участь меня ждет, и голова моя поникла. Поэтому я не видал — или не помню, — к какому молу приставала лодка, по каким ступеням провели меня наверх, какая дверь закрылась за моей спиной.

С годами, перестав досадовать на вереницу подлостей и роковых случайностей, приведшую к утрате мной свободы, я понял: чтобы снова обрести ее, необходимо разобраться, как устроена тюрьма.

Я не чувствую желания подражать Фариа, поскольку мне довольно знать, что кто-то ищет выход, дабы убедить себя: он существует, во всяком случае, можно ставить пред собою цель найти его. Так стук кирки Фариа стал необходимым дополнением моих мыслей. Фариа для меня не только человек, который сам пытается бежать, но также часть моего плана, и не потому, что я надеюсь на путь к спасению, открытый им, — напротив, множество допущенных аббатом ошибок окончательно лишили меня веры в его интуицию, — а потому, что все те данные, которыми я располагаю о своем местопребывании, я извлек из череды его ошибок.

3. Стены и своды уже продырявлены киркой аббата во всех направлениях, но он продолжает наматывать клубок своих маршрутов и, следуя все время разными путями, всякий раз пересекает мою камеру. Ориентацию Фариа давно утратил: он уже не знает ни где какая сторона света, ни даже где зенит или надир. Порой я слышу, как он скребется наверху, затем сыплется дождем штукатурка, открывается пролом и возникает перевернутая голова Фариа. Перевернутая для меня — не для него: он выползает из бреши и спокойно движется вниз головой, при этом ничего в его наружности не изменяется — ни седые волосы, ни борода, позеленевшая от плесени, ни лохмотья на иссохших бедрах. Пройдя по потолку и стенам словно муха, он останавливается, вонзает кирку, пробивает узкое отверстие в стене и исчезает.

Иногда едва только аббат исчезнет в стене, как сразу же показывается из противоположной: еще отсюда не убрал он свою пятку, а уже оттуда показалась его борода. Каждый раз он появляется все более усталый, похудевший, постаревший, будто миновали годы с тех пор, как видел я его в последний раз.

А иногда, напротив, только скрылся он в проде-

ланном им лазе, я слышу, как он втягивает носом воздух, будто собирается чихнуть, — в извивах цитадели холодно и сыро, — но затем не слышится ни звука. Я жду неделю, месяц, год — Фариа не возвращается; я заключаю: он умер. Внезапно противоположная стена содрогается, как при землетрясении, и из пролома появляется Фариа, завершающий чиханье.

Мы все меньше говорим друг с другом или продолжаем разговоры, начала коих я и не припомню. Я понял, что Фариа, пересекающему столько камер в ходе своих ошибочных перемещений, трудно отличать их друг от друга. В каждой — соломенный тюфяк, кувшин, параша и стоящий человек, который смотрит на небо сквозь узкое отверстие. Когда Фариа возникает из-под пола, заключенный оборачивается: у него всегда одно и то же лицо, один и тот же голос, одни и те же мысли. Имя тоже у него всегда одно: Эдмон Дантес. В крепости нет особенных мест, Фариа повторяет в пространстве и во времени всегда одну и ту же комбинацию фигур.

4. Когда я думаю о бегстве, то неизменно представляю, как совершает его Фариа. Нет, я не

отождествляю себя с ним: Фариа мне нужен для того, чтоб думать о побеге объективно, что не удалось бы, если б я переживал этот побег реально — то есть представлял его участником себя. Теперь я уж и сам не знаю: тот, кто роет там, как крот, — это всамделишный Фариа, пробивающий ходы сквозь стены настоящей крепости, или же воображаемый, штурмующий воображаемую мной. Все равно исход один и тот же: побеждает крепость. Не настолько ль я утратил беспристрастность, что пособничаю крепости против Фариа?.. Ну, это я загнул: единоборство разворачивается не только в моих мыслях, а и между двумя реальными противниками вне зависимости от меня, и усилия мои направлены на то, чтоб относиться к этому единоборству отстраненно, без тревоги, словно к представлению.

Если мне удастся наблюдать за крепостью и за аббатом с равноудаленной точки зрения, то я смогу определить не только конкретные просчеты, совершаемые им от раза к разу, но и принципиальную ошибку, в которую он впадает все время и которой, правильно поставив дело, я сумею избежать.

Фариа поступает так: наткнувшись на пре-

пятствие, изыскивает способ его преодоления, пробует этот способ применить на практике, наталкивается на новые препятствия, придумывает новое решение и так далее. Он думает, что, если устранить все мыслимые ошибки и быть предусмотрительней, побег просто не может не удаться: все дело в том, чтобы безукоризненно его спланировать и осуществить.

Я же исхожу из противоположного допущения: существует совершенная крепость, из которой убежать нельзя; побег возможен, только если при проектировании крепости или ее строительстве была допущена ошибка или нерадивость. То есть в то время, как Фариа разнимает крепость по частям, нащупывая ее слабые места, я как бы строю ее заново, предполагая все более неодолимые преграды.

Наши представления о крепости все больше различаются: Фариа, начавший с простой конструкции, доводит ее до крайней сложности, включая в нее каждую неожиданность, встреченную им на своем пути; я же, исходя из этих хаотичных сведений, усматриваю в каждом из препятствий малую толику системы таковых, превращаю каждую часть некой фигуры в целую и делаю эти фигуры гранями твердого тела, мно-

гогранника или сверхмногогранника, вписываю эти многогранники в сферы или гипосферы, и чем законченнее форма крепости, тем она проще и тем легче определить ее неким числовым соотношением или алгебраическою формулой.

Но чтоб я смог вообразить такую крепость, аббат Фариа должен неустанно тыкаться в обрушившийся грунт, стальные болты, сточные трубы, будки часовых, пустоты, выемки в несущих стенах, ибо укрепить воображаемую крепость можно, только постоянно испытывая настоящую.

5. Итак, хотя и кажется, что каждую камеру от мира отделяет лишь внешняя стена, аббат, орудуя киркою, обнаруживает: в ее толще неизменно таится еще камера, а между нею и внешним миром — еще одна. Из этого я заключаю, что крепость вокруг нас растет, и чем мы дольше в ней заключены, тем больше отдаляет она нас от внешнего мира. Аббат все трудится, а стены тем временем все утолщаются, становится все больше контрфорсов, фортов. Может, если он сумеет двигаться быстрей, чем разрастается крепость, то настанет миг, когда Фариа незаметно для себя окажется снаружи. Нужно изменить

соотношение скоростей на противоположное, чтобы крепость, сжавшись, вытолкнула аббата, точно пушечное ядро.

Но если крепость растет с быстротою времени, для совершения побега из нее необходимо или двигаться еще быстрее, или двинуться сквозь время вспять. Момент, когда я окажусь снаружи, совпадет с моментом, когда я попал сюда… и вот уже я наконец смотрю на море. Что ж я вижу? К острову причаливает лодка, полная жандармов, посреди которых, в кандалах, — Эдмон Дантес.

И вот я снова представляю себя тем, кто пробует бежать, и сразу же ввожу в игру не только свое будущее, но и прошлое — свои воспоминания. Всякая неясность в отношениях между безвинно заключенным и его тюрьмой бросает тень на его представления и решения. Если вокруг тюрьмы — мое «снаружи», то даже если бы я смог там оказаться, это «снаружи» возвратило бы меня в тюрьму: снаружи — прошлое, попытки к бегству тщетны.

Мне следует представить тюрьму или как место, вне которого нет ничего, — то есть отказаться от идеи побега, — или же не как мою тюрьму, а

как место, со мной не связанное ни снаружи, ни внутри, то есть придумать путь изнутри наружу, который был бы независим от того, что для меня внутри, а что — снаружи, и пригоден, даже если они поменяются местами.

6. Если снаружи — прошлое, тогда, возможно, будущее сосредоточивается внутри, в самой глубинной точке острова Иф, то есть к выходу ведет движение внутрь. Среди граффити, коими аббат Фариа покрывает стены, можно различить две карты с причудливыми очертаниями, испещренные отметками и стрелками; одна, должно быть, — схема Ифа, а другая — острова Тосканского архипелага, где спрятано сокровище, — Монте-Кристо.

Дабы искать это сокровище, Фариа и намеревается бежать. Чтобы преуспеть в своем намерении, он должен провести такую линию, которая на карте Ифа вывела бы его изнутри наружу, а на карте Монте-Кристо привела снаружи в самую внутреннюю точку — в таящую сокровища пещеру. Между островом, откуда нельзя выбраться, и островом, куда нельзя попасть, должна быть связь, поэтому в загогулинах Фариа карты накладываются друг на друга и совпадают.

Теперь я уже не пойму, орудует киркой Фариа, чтобы броситься в открытое море или чтоб проникнуть в полную золота пещеру. Если вдуматься, в обоих случаях он стремится в одну и ту же точку — место множества возможностей. Порой я представляю, будто это множество возможностей сосредоточено в сверкающей пещере под землей, порою оно видится мне как светящееся место взрыва. Клад Монте-Кристо в бегстве с Ифа — две фазы одного процесса, может быть, последовательные, может, чередующиеся, как при пульсации.

Поиск центра Ифа-Монте-Кристо ведет к ничуть не более верным результатам, чем движение к его недосягаемой периферии: в какой бы точке я ни находился, гиперсфера простирается вокруг меня со всех сторон, центр ее — там, где я, и двигаться вглубь значит углубляться в самого себя. Роешь, роешь — и проходишь тот же самый путь.

7. Завладев сокровищем, Фариа собирается освободить Императора с Эльбы и обеспечить его средствами, чтоб тот мог вновь возглавить войско… План побега с острова Иф-Монте-Кристо, таким образом, неполон, если не включает также отыскания-побега Бонапарта на/с острове/а,

куда тот сослан. Фариа, в который раз проникнув в камеру Эдмона Дантеса, видит, как обычно, спину заключенного, глядящего в окошко-щель на небо; услышав стук кирки, заключенный оборачивается: это Наполеон. Дальше Фариа и Дантес-Наполеон проделывают ход вместе. Карта Ифа-Монте-Кристо-Эльбы нарисована так, что, повернув ее на определенный угол, получаешь карту острова Святой Елены: бегство оборачивается ссылкой, из которой нет возврата.

Смутные мотивы, по которым и Фариа, и Эдмон Дантес заключены были в тюрьму, связаны, хоть и по-разному, с судьбой дела Бонапарта. Гипотетическая фигура под названием Иф-Монте-Кристо кое-где совпадает с другой фигурой под названием Эль-ба-Св. Елена. Иногда — в прошлом и будущем — история Наполеона вмешивается в нашу — бедных арестантов; иногда, напротив, мы с Фариа сможем или же могли способствовать реваншу Императора.

Пересечения эти еще больше усложняют предсказания; кое-где линия, которой следует один из нас, раздвигается, разветвляется, расходится как веер; каждая из ветвей может соприкоснуться с ответвлениями прочих линий. Аббат, работая киркой, прокладывает некий ломаный маршрут

— и чуть не сталкивается, разминувшись лишь на несколько секунд, с обозом и орудиями императорского войска, отвоевывающего Францию.

Движемся мы в темноте и только по кружению наших маршрутов догадываемся об изменениях маршрутов других. Пусть Ватерлоо — та точка, где путь армии Веллингтона мог бы пересечься с путем Наполеона; встреча этих линий означает отсечение их возможных продолжений; на той карте, где прокладывает ход Фариа, угол с вершиной в Ватерлоо вынуждает его к возвращению назад.

8. Пересечения гипотетических линий задают ряд плоскостей, располагающихся, как страницы рукописи на столе писателя. Назовем писателя, спешащего сдать издателю роман в двенадцати томах под названием «Граф Монте-Кристо», Александром Дюма. Работа происходит так: двое помощников (Огюст Маке и П.А. Фьорентино) последовательно излагают разные возможности развития каждого сюжетного посыла и предоставляют Дюма сюжетные схемы всех возможных вариантов безразмерного гиперромана. Дюма выбирает, бракует, вырезает, склеивает, сочленяет; если одно решение предпочтительнее в

силу веских оснований, но при этом исключает эпизод, который Дюма хотел бы непременно вставить, он старается соединить обрубки разного происхождения, сметывает их на живую нитку, выстраивает расходящиеся сегменты будущего в некую последовательность. Конечным результатом явится роман «Граф Монте-Кристо», каковой Дюма сдает в типографию.

Схемы, что набрасываем мы с Фариа на тюремных стенах, схожи с теми, что Дюма рисует на своих страницах, определяя порядок выбранных им вариантов. Одну пачку листов он уже может отдавать в печать. На их страницах — Марсель моей юности; просматривая его мелкий почерк, я могу шагать по молам в порту, подняться в лучах утреннего солнца вверх по Конопляной улице, дойти до каталонского селения и увидеть вновь Мерседес… Другая пачка ожидает последней правки: Дюма еще дописывает главы о застенке в замке Иф, где бьемся мы с Фариа, перепачканные чернилами, среди нагромождения поправок… По краям стола накапливаются варианты продолжения истории, которые методично сочиняют два помощника. В одном из них Дантес бежит из карцера, находит клад Фариа, превращается в графа Монте-Кристо с непроницаемым земли-

стым лицом и посвящает свою несгибаемую волю и свои несметные богатства мести; вероломный Виль-фор, алчный Данглар, злобный Кадрус несут заслуженное наказание за содеянные ими мерзости, как столько лет, томясь в этих стенах, я рисовал себе в неистовых фантазиях, обуреваемый жаждой отмщения.

Близ этих набросков будущего на столе разложены другие. Фариа пробил брешь в стене, проник в кабинет Дюма, метнул на вереницу «прошлых», «настоящих», «будущих» беспристрастный и бесстрастный взгляд (я бы так не смог, я бы стремился с нежностью узнать себя в молодом Дантесе, едва ставшем капитаном, с жалостью — в Дантесе-каторжнике, с манией величия — в графе Монте-Кристо, горделиво входящем в самые аристократичные гостиные Парижа, однако с ужасом обнаруживал бы в них чужих людей) и по-обезьяньи длинными мохнатыми ручищами берет листки то тут, то там, ища главу о бегстве, ту страницу, без которой продолжение романа за пределами твердыни невозможно. Концентрическая крепость Иф-Монте-Кристо-стол Дюма заключает в себе нас, узников, клад и гиперроман «Монте-Кристо» с вариантами и комбинациями оных, коих милли-

арды миллиардов, но все-таки конечное число. Фариа из множества страниц интересует лишь одна, он не теряет надежды отыскать ее; я с интересом наблюдаю, как растет нагромождение отвергнутых листов, неподходящих продолжений — из пачек выросла уже целая стена…

Если последовательно расположить все продолжения, позволяющие удлинить историю, — как вероятные, так и невероятные, — получится зигзагообразная линия «Графа Монте-Кристо» Дюма; если же соединить те обстоятельства, которые мешают истории продолжиться, получится спираль негатива этого романа, «Монте-Кристо», так сказать, со знаком минус. Спираль может закручиваться и раскручиваться: ежели она закручивается, история, лишенная возможности развития, заканчивается, если раскручивается, то каждый виток мог бы включить часть «Монте-Кристо» со знаком плюс, так что все вместе в конце концов совпало бы с романом, который Александр Дюма отдаст в печать, а может быть, и превзошло его количеством счастливых случаев. Решающее различие меж двумя книгами, которое позволяет счесть одну из них истинной, другую — ложной, несмотря на их тождественность, будет заключаться в методе. Задумывая книгу

— или бегство, — нужно прежде всего знать, что исключить.

9. Так мы продолжаем сводить счеты с крепостью: Фариа — зондируя слабые места в стене и сталкиваясь с новыми препятствиями, я — обдумывая его неудачные попытки, чтоб понять, какие новые стены следует добавить к плану моей гипотетической крепости.

Если мне удастся мысленно построить крепость, бегство из которой невозможно, то либо эта выдуманная цитадель будет такая же, как настоящая, — и тогда уж мы отсюда точно никуда не убежим, но успокоимся, зная, что мы здесь, так как иного не дано, — либо это будет крепость, бегство из которой еще менее возможно, чем отсюда, — знак того, что там, где мы сейчас, возможность бегства все же существует, и, чтоб найти ее, достаточно определить, где именно придуманная цитадель не совпадает с настоящей.

Другие космикомические истории

Обложка первого издания «La Memoria Del Mondo E Altre Storie Cosmicomiche Paperback»(Память мира и другие космические истории), 1975.

Einaudi Biblioteca Giovani



Italo Calvino
La memoria del mondo
e altre storie cosmicomiche

Луна как гриб[*]

The Large Figure Paintings, nr 5 (Картины с большими фигурами, № 5). Хильма аф Клинт. 1907

*** Примечания: ***
La Luna come un fungo.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



По мнению сэра Джорджа Дарвина, Луна отделилась от Земли под действием приливов и отливов, которые в ту пору обусловливались Солнцем. Солнечное притяжение, действуя на наименее плотную из земных пород — гранит — как на жидкость, часть ее приподняло и выдернуло из земного шара. Покрывавшие в ту пору всю земную поверхность воды хлынули в разверзшуюся после бегства Луны бездну — Тихий океан, тем самым обнажив оставшийся гранит; его массивы, раздробившись и сморщившись, образовали континенты. Без Луны развитие жизни на Земле если б и происходило, то совсем иначе.

— Да, да, вот вы сказали, и я тоже вспомнил! — воскликнул старый Qfwfq. — Ну как же! Она, эта Луна, стала пробиваться, словно гриб, из-под воды. Как раз я рыбу там ловил, плыву на лодке и вдруг чувствую толчок. «Черт! Отмель!» — только и успел воскликнуть, как гляжу: я вместе с лодкой восседаю уже на верхушке этакой большой белесой шишки, а леска и крючок болтаются в воздухе.

Сейчас легко рассказывать, но посмотрел бы я на вас тогда, насколько были бы вы к этому готовы! Правда, и тогда нашелся некто, предосте-

регавший об опасностях, которые приуготовляло будущее, и следует признать, что многое он понял. Не про Луну, нет, это был сюрприз для всех, — про земли, поднявшиеся над поверхностью воды. Не раз он выступал с докладами, этот Инспектор Оо из Обсерватории по Наблюдению Приливов и Отливов, но никто его не слушал. И правильно, так как потом он допустил серьезную ошибку в расчетах, за которую расплатился собственной персоной.

В те времена поверхность нашей планеты была вся покрыта водами, и никакие земли над водой не выступали. Везде все было ровное, без выпуклостей, море — мелкое и пресное, и мы ловили с лодок камбалу.

В соответствии с расчетами Обсерватории Инспектор Оо был убежден, что на Земле грядут большие перемены. Суть его теории заключалась в том, что вскоре земной шар разделится на две различные зоны — континентальную и океаническую. На первой образуются горы и водные потоки, ее покроет пышная растительность. Пред теми из нас, кто окажется на континенте, откроются неограниченные возможности обогащения, на территории же океанов смогут обитать только особые виды фауны, а наши хрупкие плавсред-

ства будут опрокидывать чудовищные шторма.

Но мог ли кто-нибудь принять такие апокалипсические пророчества всерьез? На тонком водном слое проходила вся наша жизнь, и вообразить иную были мы не в силах. Каждый плавал на своей лодчонке, я — занимаясь кропотливым рыбацким ремеслом, пират Bn устраивал в камышовых зарослях засады на утиных пастухов, а юная Flw просто каталась, ловко управляя своей плоскодонкой с помощью единственного весла. Мог ли кто-нибудь из нас представить, что на зеркальной глади вдруг вырастет волна, — притом не из воды, а твердая гранитная, которая нас унесет с собой?

Но лучше по порядку. Наверху первым оказался я, когда лодка моя села вдруг на мель. Я слышал доносившиеся с моря крики моих товарищей — они передавали друг другу эту весть, со смехом указывая на меня, и мне казалось, что слова их долетают из какого-то другого мира.

— Ты глянь-ка, Qfwfq-то, а?

Бугор, вознесший меня, не стоял на месте, он катался по морю, словно бильярдный шар. Нет, я неверно объяснил, — это была подземная волна, которая, прокатываясь, приподнимала слой породы, после опускавшийся на место. Самое

интересное — что я, поддерживаемый и подталкиваемый твердою волной, вместо того чтобы, едва она пройдет, вновь приводниться, задержался наверху и начал продвигаться вместе с нею, глядя, как вокруг меня бьются и ловят воздух ртом все новые и новые рыбки, попадавшие на мель, на эту твердую белесую сушу, которая все больше выступала над водой.

О чем мы думали? Конечно, не о теориях инспектора Оо (я едва слышал о таком), а лишь о неожиданно открывшихся передо мной новых возможностях для рыбной ловли: довольно было протянуть руки вперед, чтобы наполнить лодку камбалой. Крики изумления и насмешки, долетавшие с других плавсредств, сменились проклятиями и угрозами. Другие рыбаки обзывали меня вором и пиратом — было принято, чтоб каждый рыбачил только в отведенной ему зоне, и вторжение в чужую почиталось преступлением. Но кто бы смог теперь добиться остановки этой самоходной мели? Не моя вина, что моя лодка наполнялась, а у них были пусты.

Выглядело это так: гранитный пузырь двигался по водной шири, разрастаясь, в окружении облака из мельтешащих камбал, которых я подхватывал на лету, а сзади следовали лодки моих

полных зависти собратьев, штурмовавших мою маленькую крепость. Но расстояние меж нами все росло, и преследователи из новых эшелонов, обволакиваемые полумраком и мало-помалу поглощаемые ночной тьмой, не имели шансов на его преодоление, тогда как место, где был я, все время озаряло полуденное Солнце.

Застревали на каменной волне не только рыбы. Все, что плавало вокруг, в конце концов терпело кораблекрушение — флотилии каноэ случниками, баржи с провиантом, буцентавры, перевозившие принцесс и королей с их свитами. Города, стоявшие над водою на высоких сваях, каменная волна превращала в мешанину из разметанных поленниц, соломы и квохтавших кур. Это красноречиво говорило о том, что хрупкий слой вещного мира может быть разрушен и замещен подвижною пустыней, по пути сметавшей все живое. Уже одно это должно было предостеречь всех нас и в первую очередь Инспектора. Но, повторяю, я не думал о будущем, поскольку всеми силами старался удержаться в равновесии сам и сделать что-нибудь для удержания окружающего мира, видя сотрясение его основ.

Всякий раз, как каменная волна рушила очередное препятствие, меня окатывало градом

всяких мелочей, домашней утвари и прочих диадем. Человек бессовестный на моем месте (как позднее стало очевидно) бросился бы все, что можно, пригребать к рукам. Но, как Вы знаете, я не таков. Более того, мной овладело противоположное стремление: я стал бросать слишком легко доставшихся мне камбал бедным рыбакам. Говорю это не для того, чтоб выставить свою персону в лучшем свете, — просто так лишь я и мог противодействовать происходившему — пытаясь возместить ущерб и оказать поддержку жертвам. Я кричал с вершины продвигавшейся горы: «Спасайся, кто может! Бегите! Расступитесь!» — Шаткие сваи, до которых можно было дотянуться, я старался поддержать, чтобы они не рухнули, когда пройдет волна. А все, что в результате столкновений и обвалов падало в пределах моей досягаемости, раздавал тем потерпевшим катастрофу бедолагам, что барахтались внизу. Отсюда, сверху, я надеялся способствовать восстановлению утраченного равновесия. Мне хотелось, чтобы каменная волна — явление природы непреодолимой силы — благодаря моим усилиям несла с собою не один урон, но также и благо.

Но мои старания оказывались тщетны: никто

не понимал, что я кричу, и потому не отстранялся, сваи рушились, едва я их касался, из-за сброшенного мной добра в воде завязывались потасовки, что усиливало кутерьму.

Единственное удавшееся мне благое дело — спасение утиной стаи от пирата Bm Bn. Не подозревавший ничего пастух вел свою мирную пирогу через камыши и не видал копья, которое готовилось его проткнуть. Я подоспел на каменной волне как раз вовремя, чтобы не дать свершиться преступлению. Я вспугнул уток, и они укрылись в безопасном месте. Но Bm Bn, воспользовавшись тем, что я навис над ним, вцепился в меня снизу, и на каменной волне нас стало двое, так что равновесие между добром и злом, которое надеялся я сохранить, было окончательно нарушено.

Пребывание там дало Bm Bn лишь новые возможности для пиратства, браконьерства и разбоя. Гранитная волна безрассудно и невозмутимо продолжала свое разрушительное дело, но управлял отныне ею ум, который разрушение обращал себе на пользу. Оказавшись пленником уже не одного слепого сотрясения подземных масс, но и вдобавок этого пирата, могли я остановить два однозначных импульса? Но если выбор — между

камнем и бандитом, я готов был выбрать камень, в котором чувствовал непостижимым образом союзника, хоть и не зная, как соединить свои слабые силы с его мощью, чтобы удержать Bm Bn от насилия и мародерства.

Ничего не изменилось и тогда, когда на каменной волне возникла Flw. Я наблюдал за ее похищением, не в состоянии и пальцем шевельнуть, чтоб воспрепятствовать ему, поскольку Bm Bn связал меня как колбасу. Юная Flw плыла на своей плоскодонке среди кувшинок и жонкилей. Раскрутив длинный аркан, Bm Bn захватил ее. Она же, будучи особой деликатной и податливой, смирилась с тем, что будет пленницей этой скотины.

А я смиряться не желал и заявил:

— Я свечку вам держать, Bm Bn, не нанимался. Развяжите-ка меня, и я уйду.

— Ты еще здесь? — отреагировал Bm Bn, почти не поворачивая головы. — Хотя такая тля что здесь, что нет — без разницы. Иди, топись — никто и не заметит. — И он развязал меня.

— Я ухожу, но ты еще услышишь обо мне, — сказал ему я и вполголоса добавил Flw:

— Жди, я освобожу тебя!

Я собирался прыгнуть в воду, но заметил, что

на горизонте кто-то бродит по морю на ходулях. С приближением нашей волны он вместо того, чтобы уклониться, двинулся навстречу. Ходули разлетелись на куски, а этот некто свалился на гранит.

— Мои расчеты оказались верными, — заметил он. — Позвольте мне представиться: Инспектор Оо из Пункта Наблюдения Приливов и Отливов.

— Вы как раз вовремя, Инспектор. Посоветуйте, что делать, — обратился я к нему. — Здесь до того дошло, что я хотел уйти.

— Вы совершили бы серьезную ошибку, — возразил Инспектор, — и я объясню вам, почему.

Он начал излагать свою теорию, ныне подтвержденную фактами: как раз со вздутия, на котором все мы находились, начиналось ожидаемое появление континентов, открывавшее эру новых неограниченных возможностей. Я слушал, затаив дыхание: ситуация менялась, и я пребывал не в эпицентре разрушения и опустошения, а в бутоне новой земной жизни, обещавшей расцвести в тысячу крат более пышным цветом.

— Поэтому, — ликуя, заключил Инспектор, — я хочу быть вместе с вами.

— Это если мне захочется тебя оставить, — ухмыльнулся Bm Bn.

— Уверен, мы подружимся, — заявил Оо. — Грядут великие потрясения, которые благодаря моим исследованиям и прогнозам мы сможем превозмочь и даже обратить себе на пользу.

— Надеюсь, что не только мы! — воскликнул я. — Если все так, как вы, Инспектор, говорите и такое счастье выпало именно нам, то как мы можем лишить его себе подобных? Мы должны предупреждать всех, кого встретим! Пусть карабкаются к нам сюда!

— Заткнись, придурок! — и Bm Bn схватил меня за грудки, — а то немедля полетишь у меня вверх тормашками обратно в эту жижу! Здесь буду только я и те, кому я разрешу! Верно, Инспектор?

Я повернулся к Оо, убежденный, что найду в его лице союзника в борьбе с бандитским произволом.

— Инспектор, вы ведь проводили свои изыскания не из эгоистических побуждений! Вы не позволите, чтобы Bm Bn воспользовался ими в личных целях…

Тот пожал плечами.

— Я, право, предпочел бы воздержаться от участия в ваших двусторонних распрях, будучи не в курсе всего, что здесь происходило прежде. Я лишь технический специалист. Раз здесь распо-

ряжается, если я верно понял, этот господин, — и он кивнул в сторону Bm Bn, — я бы хотел представить результаты моих расчетов именно его вниманию…

Разочарование, которое я испытал, услышав это, — будто меня коварно предали, — было связано не столько с самим Инспектором, сколько с его прогнозами на будущее. Он стал рассказывать, как будет развиваться жизнь на выступивших над водою землях, какие города вырастут на каменных фундаментах, как по дорогам будут двигаться верблюды, лошади, повозки, вездеходы, караваны, говорил про золотые и серебряные жилы, заросли сандала и ротанга, про слонов и пирамиды, башни и часы, громоотводы и трамваи, про подъемные краны, лифты, небоскребы, про гирлянды и знамена в дни национальных праздников, про разноцветные огни вывесок на зданиях театров и кинотеатров, отражающиеся в жемчужных ожерельях в вечера гала-премьер. Flw слушала его с завороженною улыбкой, Bm Bn — с подрагивавшими от жажды обладания ноздрями, а во мне все эти сказочные предсказания не рождали больше никакой надежды, так как означали лишь упрочение власти моего врага, чего было довольно для того, чтоб каждое

из названных чудес покрылось для меня налетом фальши, мишуры, вульгарности.

Я улучил момент, когда двое других были заняты своими планами, чтобы сказать об этом Flw:

— Лучше наша скромная водная жизнь камбалоловов, чем вся эта роскошь, оплаченная подчинением Bm Bn! — И я ей предложил бежать со мной, бросив бандита и Инспектора на оформляющемся континенте.

— Поглядим, как они выкрутятся сами…

Убедил ли я ее? Как уже сказано, Flw была созданием податливым и нежным, как крылья бабочки. Нарисованные Oo перспективы завораживали ее, но жестокость Bm Bn отталкивала. Я легко разжег в ней возмущение бандитом, и она решила следовать за мной.

Между тем земные недра вытолкнули еще дальше из себя гранитную шишку, всеми силами стремившуюся к Солнцу. Более того, та ее часть, которая сильнее всего испытывала солнечное притяжение, все время расширялась, так что низ в конечном счете превратился в некое подобие ножки, черешка, сокрытого конусом тени. Нужно было воспользоваться этим выходом, защищенным от лучей полуденного солнца.

— Пора! — сказал я Flw, взял ее за руку, и мы

скользнули вниз по этой ножке. — Сейчас или никогда!

Произнося это высокопарное увещевание, я не подозревал, насколько оно соответствует истине. Мы совсем еще недалеко отплыли от того, что нам теперь со стороны казалось чудовищным отростком нашей планеты, когда вдруг земля и воды стали содрогаться. Гранитная глыба, привлекаемая Солнцем, вырывалась из глубин базальта, где была до тех пор внедрена. И вот эта громада — сверху линялая и ноздреватая, а снизу все еще измазанная земными потрохами, пропитанная расплавленными минералами и лавой, обросшая колониями дождевых червей, — легко, как листик, воспарила в воздух. В открывшуюся брешь хлынули воды со всего земного шара, так что над водой остались только острова, полуострова и плоскогорья.

Ухватываясь за эти выступавшие высоты, я сумел пробраться в безопасное место, — разумеется, доставив туда и Flw, — но был еще не в силах оторвать свой взгляд от улетевшей части мира, которая, удаляясь, начала вращаться. Я успел услышать сыпавшиеся дождем ругательства Bm Bn по адресу Инспектора Oo:

— Да я тебя с твоими предсказаниями, дуби-

на…

А тем временем бугры и впадины вращавшейся махины понемногу сглаживались, превращая ее в шар, покрытый известковой коркой. Солнце уже было далеко, и шар — наименованный Луной — канул в ночную тьму, сохраняя тусклый отсвет, какой можно видеть над пустыней.

— Так и надо им! — воскликнул я и, чувствуя, что Flw еще не в полной мере осознала совершившийся переворот, объяснил:

— Предсказывая появление континента, Инспектор подразумевал не тот, который улетел, а, если меня не обманывают чувства, тот, что образуется под нашими ногами.

Горы, реки, долины, времена года и пассаты сформировали рельеф выступивших областей. И уже первые игуанодонты, глашатаи грядущего, выходили на разведку из лесов секвойи. Похоже, Flw считала все это вполне естественным: сорвав с ветки ананас, она разбила его кожуру об ствол и, вгрызшись в сочную мякоть, рассмеялась.

Так все и шло, как вам известно, до сегодняшнего дня. Flw, вне всякого сомнения, довольна. Вечерами она ходит по улицам, сверкающим неоновыми вывесками, и, кутаясь в шиншилловую шубку, улыбается вспышкам фотографов. А я вот

задаюсь вопросом, мой ли это мир.

Порой я поднимаю глаза к Луне и представляю эту пустыню, пустоту и холод, давящие на ту чашу весов, чтоб наше жалкое благополучие здесь не обрушилось. То, что я вовремя перескочил на эту сторону, — лишь чистая случайность. И я знаю: это я Луне обязан всем, что я имею на Земле, — тому, чего здесь нет, тем, что здесь есть.

Лунные девы*

Landscape of the Moon's Last Phase (Пейзаж последней фазы Луны). Пол Нэш. 1944

*** Примечания: ***
Le figlie della Luna.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



Луна, лишенная атмосферной оболочки, которая могла бы ей служить прикрытием, с самого начала подвергалась постоянному обстрелу метеоритами и разрушительному действию солнечных лучей. По мнению Тома Голда из Кор-

неллского университета, в результате длительной бомбардировки метеоритными частицами породы, покрывавшие лунную поверхность, обратились в пыль. Джерард Койпер из Чикагского университета полагает, что утечка газов из лунной магмы сделала спутник Земли легким и пористым как пемза.

— Луна старая, дырявая, изношенная, — согласился Qfwfq. — Катаясь голой по небу, она стирается, теряет свою плоть, словно обглоданная кость. Так происходит не впервые, я помню еще более старые и разрушенные Луны. Сколько раз я видел, как они рождались, кружили по небу и умирали: одна — изрешеченная градом падающих звезд, другая — от того, что взорвались все ее кратеры, еще одна покрылась ярко-желтою испариной, затем салатовыми облаками, и в конечном счете от нее осталась лишь иссушенная ноздреватая оболочка.

Что происходит на Земле, когда ее спутник угасает, рассказать непросто; попытаюсь описать последний памятный мне случай. В ходе долгой эволюции Земля уже тогда, можно сказать, достигла нынешнего состояния, то есть вступила в фазу, когда автомобили вырабатывают свой

ресурс скорее, чем подметки. Квазичеловеческие существа производили, продавали, покупали; континенты все были испещрены светящимися пятнышками городов. Города эти росли примерно там же, где и ныне, хотя форма континентов была несколько иной. В том числе и Нью-Йорк — похожий на всем знакомый город, но гораздо более новый, в смысле — переполненный тогда всем новым, от зубных щеток и до покрывавших весь Манхэттен небоскребов, блестевших, как пучки нейлоновых щетинок новой зубной щетки.

Картину мира, где любую вещь при самом малом признаке изношенности или порчи, при первой вмятине или пятне тотчас выбрасывали, заменяя новым, безупречным, омрачала лишь Луна. Она блуждала в небе голая, прохудившаяся, поблеклая, все более чуждая здешнему, земному миру, — остаток устарелого образа бытия.

Старинные речения вроде «полная луна», «последняя четверть» или «полумесяц» еще использовались по старинке, но то были теперь пустые слова: как можно назвать «полным» тело все в трещинах и брешах, грозившее в любой момент распасться и обрушить множество кусков на наши головы? Не говоря уже об убывающей Луне, которая вообще была похожа на обгрызен-

ную сырную корку и всегда исчезала раньше, чем предполагалось. Каждое новолуние мы сомневались, что увидим ее вновь (надеялись, что нет?), и когда она опять показывалась, все сильнее напоминая теряющую зубцы расческу, мы, содрогаясь, отводили взгляды.

Это было тягостное зрелище. Мы двигались среди толпы, слонявшейся с охапками пакетов по круглосуточно открытым магазинам, просматривая на ходу бегущую по небоскребам вверх ежеминутно обновлявшуюся световую рекламу, а над нами нависала Луна, такая бледная на фоне ослепительных огней, такая медленная, больная, что невольно думалось: и каждая новинка, каждый купленный нами товар может испортиться, поблекнуть, постареть. От этого желание бегать за покупками и надрываться на работе пропадало, что неизбежно сказывалось на развитии производства и торговли.

Так перед нами встал вопрос: что делать с этим вредоносным спутником, с этой руиной, от которой не могло уже быть никакого прока? Чем легче она делалась, тем ближе становилась к Земле ее орбита, что к тому же было и небезопасно. При этом с приближением Луны к Земле движение ее все замедлялось, счет четвертям вести было уже

нельзя, и календарь, месячный ритм превратились в чистую условность.

Луна двигалась вперед рывками и, казалось, вот-вот рухнет.

Теперь ночами, видя ее совсем низко, люди неуравновешенные стали совершать странные поступки. То и дело находился какой-нибудь лунатик, шедший по карнизам небоскреба, простирая к Луне руки, или какой-нибудь ликантроп, оглашавший завыванием Таймс-сквер, или пироман, подпаливавший склады в доках. Все это уже стало привычным и не собирало даже кучки любопытных. Но при виде совершенно обнаженной девушки, которая сидела на скамейке в Сентрал-парке, я невольно остановился.

Перед этим у меня возникло ощущение, что вот сейчас случится нечто несказанное. Ведя по парку свою открытую машину, я чувствовал, как заливает меня свет, вибрировавший как люминесцентные трубки, которые, прежде чем зажечься в полную силу, словно бы подмигивают. Было ощущение, что я в саду, разбитом в лунном кратере. Обнаженная девушка сидела у водоема, отражавшего дольку Луны. Я затормозил. Мне показалось, будто я узнал ее. Выскочив, я устремился к ней, но вдруг, оторопев, остановился. Я

не знал, кто эта девушка, я только чувствовал, что должен срочно что-то сделать для нее.

Вокруг скамейки на траве была разбросана ее одежда, чулки, туфли — одна здесь, другая там, — сережки, ожерелья и браслеты, сумочка, авоська и их содержимое, бесчисленные свертки и товары. Словно, возвращаясь из похода за покупками, это создание услыхало чей-то зов и тотчас уронило все на землю, осознав, что следует освободиться от любых предметов или знаков, связывающих его с Землей, и теперь ждало введения в царство Луны.

— Что случилось? — выдавил я из себя. — Могу я чем-нибудь помочь?

— Help? — переспросила девушка, не опуская обращенных кверху широко раскрытых глаз. — Nobody can help.[10] Никто тут ничего не может сделать. — И было ясно: говорит она не о себе, а о Луне.

Та круглилась, вся дырявая как терка, у нас над головой, грозя обрушиться, как прохудившаяся крыша. Вдруг в зоопарке заревели звери.

— Это конец? — спросил я машинально, сам не зная, что имел в виду.

---

[10] Примечания: 36
Помочь?.. Никто тут не поможет *(англ.)*.

Она ответила: «Начало» или что-то вроде (говорила девушка, почти не разжимая губ).

— Чего именно? Конца или чего-нибудь другого?

Она встала и пошла по траве. Длинные волосы медного цвета струились по ее плечам. Вид у нее был настолько беззащитный, что я ощутил потребность как-то охранить, прикрыть ее и протянул к ней руки, словно желая удержать ее от падения или отвести от нее то, что может ее ранить. Но прикоснуться не осмеливался, всякий раз мои руки застывали в считанных сантиметрах от нее. Шагая за ней по газонам, я заметил, что и девушка стремится защитить что-то хрупкое, что может упасть и разбиться, и поэтому необходимо проводить его туда, где оно сможет осторожно опуститься, что-то, чего она коснуться не могла, могла только сопровождать своими жестами, — Луну.

Луна как будто растерялась и, сойдя с орбиты, не ведала, куда податься; ее бросало в разные стороны, словно сухой листок. Казалось, она то отвесно падала на Землю, то дрейфовала, то входила в штопор, — так или иначе, теряла высоту. На миг мне показалось: сейчас рухнет на отель «Плаза», но она направилась по коридору между

двумя небоскребами и скрылась в направлении Гудзона, но вскоре появилась из-за облака по другую сторону реки, заливая известково-белым светом Гарлем и Ист-Ривер, и, будто подхваченная ветром, покатилась к Бронксу.

Tammuz. Таммуз. Мордехай Ардон. 1962



— Вон она! — воскликнул я. — Вон, останавливается!

— Нет, она не может! — возгласила девушка и побежала — обнаженная, босая — по лужайкам.

— Куда ты? В таком виде нельзя! Стой! Слышишь? Как тебя зовут?

Она выкрикнула что-то вроде «Дайана» или «Диана», — может, и не имя, а призыв. И испарилась. А я снова сел в машину и стал в поисках ее прочесывать аллеи Сентрал-парка.

Фары освещали ограждения, пригорки, обелиски, но девушки Дианы нигде не было. Решив, что я заехал слишком далеко, оставив ее где-то позади, я повернул назад, и тут у меня за спиной раздался голос:

— Нет, она там, езжай вперед!

За мною на откинутом капоте сидела та самая девушка, указывая в направлении Луны.

Я хотел сказать ей, чтобы она слезла, что я не могу везти ее на виду у всех нагую, но не решался отвлечь от созерцания светоносного пятна, которое то исчезало, то снова появлялось над дальним концом авеню. К тому же, как ни странно, ни один прохожий этого видения женского пола, восседавшего поверх автомобиля, вроде бы не замечал.

Проехав одним из мостов, соединяющих Манхэттен с континентом, мы помчались по многополосной автостраде в окружении других машин. Опасаясь взрывов смеха и грубых шуток тех, кто ехал в них, я не смотрел по сторонам. Но когда одна из этих машин обогнала нас, я от удивления чуть не вылетел в кювет: на крыше ее на корточках сидела еще одна нагая девушка с распущенными волосами, которые развевались на ветру. Уж не моя ли пассажирка перескочила туда на ходу, подумал я, но стоило мне чуть скосить глаза — и я почти уткнулся носом в Дианины колени. При этом в поле моего зрения оказалось еще множество девиц, у которых с розоватой или смуглой кожей контрастировали только золотистые или темные пряди, — прильнувших в самых странных позах к радиаторам, вцепившихся в окошечки и «дворники»… Вокруг не видно было ни одной машины, где не восседали бы таинственные пассажирки, устремленные вперед и заставлявшие шоферов ехать за Луной.

Та явно призвала их, оказавшись под угрозой. Сколько же их было, лунных дев? Всё новые машины с ними вливались в эту автостраду на каждом перекрестке, каждом перепутье, из всех кварталов города они стекались к месту, над ко-

торым, казалось, замерла Луна. Выехав из города, мы оказались перед кладбищем автомобилей.

Дорога исчезала среди гористой местности с лощинками, хребтами, перевалами, вершинами. Но то был не естественный земной рельеф, а горы выброшенного добра. Сюда свозилось все, что город-потребитель после недолгого употребления извергал, чтоб сразу наслаждаться пользованием новыми вещами.

Много лет вокруг бескрайнего кладбища машин росли навалы негодных холодильников, пожелтевших номеров журнала «Лайф», перегоревших лампочек. Поэтому теперь, когда над этой проржавелой, так сказать, пересеченной местностью склонялась Луна, то сплющенный металл вспучивался наподобие прилива. Они были похожи — одряхлевшая Луна и этот земной панцирь из отбросов. Цепь из гор металлолома, замкнув круг, образовала амфитеатр, напоминавший кратеры вулканов или лунные моря. Казалось, что планета и висящий над ней спутник отражаются друг в друге.

Моторы всех наших машин заглохли — для машин нет ничего страшнее, чем их кладбища. Диана вышла, следом прочие Дианы. Но, похоже, их порыв ослабевал: шаги их были

неуверенными, словно, оказавшись среди этих изуродованных железяк, они вдруг осознали свою наготу; многие, вздрагивая как от холода, скрещенными руками прикрывали себе грудь. Они стали карабкаться на гору отработавших вещей. Преодолев гребень амфитеатра, спустились внутрь и там образовали большой круг. И одновременно все воздели к небу руки.

Луна дернулась, как будто откликаясь на их жест, и на мгновение показалось, будто она снова обретает силы и взмывает вверх. Девушки стояли подняв руки, обратив к Луне лица и груди. Об этом ли просила их она? Они ли были ей нужны, чтоб удержаться в небе? Я не успел задуматься, поскольку появился кран.

Кран был сконструирован и изготовлен по велению властей, которые задумали очистить небо от неэстетичного излишества. Это был бульдозер с торчавшим вверх подобием крабьей клешни — обширный и приземистый как краб; приблизившись на гусеницах к месту запланированной операции, он стал как будто еще более плоским, распластался по земле. Быстро крутанулся ворот, и стрела с ковшом взлетела в небо. Кто бы мог подумать, что у крана может быть такая длинная стрела! Он разинул свой зубастый ковш, теперь

похожий больше на акулью пасть. Луна была как раз напротив, она заколыхалась, будто желая ускользнуть, но кран, словно магнитом, притянул ее к себе и захватил ковшом, челюсти которого сомкнулись с резким «крак!». На миг нам показалось, будто Луна раскрошилась как безе, но нет, осталась целой, — половина внутри ковша, другая снаружи, — вытянувшись как зажатая в зубах большая сигара. Закапал пепельного цвета дождик.

Теперь кран силился сорвать Луну с орбиты и стащить ее вниз. Ворот стал вращаться в противоположном направлении, на этот раз с большим трудом. Диана и ее подруги замерли с воздетыми руками, словно надеясь, что их круг окажется сильнее вражеской агрессии. Только когда частицы Луны посыпались на их лица и груди, они пустились врассыпную. Диана резко вскрикнула.

В этот миг плененная Луна утратила остатки блеска, превратившись в черную бесформенную породу, и могла бы загреметь на Землю, не будь она зажата створками ковша. Организаторы мероприятия заранее приготовили внизу стальную сетку, длинными гвоздями прикрепив ее к земле по краям площадки, на которую кран теперь медленно укладывал свой груз.

На земле стало видно, что это щербатая глыба песчаника — такая тусклая, что было совершенно непонятно, как она когда-то освещала небо. Раскрыв челюсти ковша, кран начал отъезжать на гусеницах и от непривычной легкости чуть не опрокинулся. Организаторы, державшие сеть наготове, окутали ею Луну. Та попыталась вырваться из этой смирительной рубашки, рывком, похожим на подземные толчки, низвергнув с гор отбросов целые лавины пустых консервных банок. Наконец все успокоилось. Очистившееся небо омывали струи света из рефлекторов. Тем временем уже светало.

С рассветом обнаружилось: на кладбище машин прибавилась еще одна развалина. Потерпевшая крушение Луна почти не отличалась от других отбросов — она была того же цвета, выглядела так же безнадежно, и так же невозможно было представить ее новой. Снаружи вокруг кратера земных отходов зазвучали голоса: там пробуждалась выявленная рассветными лучами жизнь. Среди остовов автомобилей, перекошенных колес и сплющенных кусков металла двигались какие-то бородачи.

В грудах вышвырнутых городом вещей обитала популяция людей, тоже выброшенных на обочи-

ну, или выбросившихся по своей воле, или просто утомившихся мотаться, продавая и покупая новые вещи, обреченные тотчас устареть, — людей, решивших, что лишь выброшенное и составляет истинное богатство мира. Отощалые бородачи с запущенными патлами теперь стояли и сидели вдоль всего амфитеатра, окружавшего Луну. В этой толпе в рванье или каких-нибудь странных хламидах находились также и Диана и другие обнаженные девушки. Приблизившись к Луне, они стали высвобождать стальные нити сети из-под прижимавших их к земле гвоздей.

Вдруг, как аэростат, освободившийся от тросов, Луна взвилась над головами девушек и над подобием трибуны с бомжами и зависла, сдерживаемая стальной сетью, которой управляли Диана и ее подруги, то натягивая, то, напротив, отпуская нити. И когда все девушки вдруг побежали, Луна отправилась за ними.

Едва Луна пришла в движение, в груде отбросов стало образовываться некое подобие волны: со скрипом принялись выстраиваться в шествие сплющенные как фисгармонии кузова, покатились, грохоча, дырявые жестянки, то ли увлекаемые чем-то, то ли сами увлекая все за собой. Следуя за вызволенной из отбросов Лу-

ной, все эти вещи и все люди, уже смирившиеся было с тем, что выброшены на обочину, опять пустились в путь и устремились к богатейшим городским кварталам.

В то утро город праздновал День Потребительского Благодарения. Этот праздник, учрежденный, чтобы дать возможность покупателям выразить их благодарность Производству, неустанно удовлетворявшему все их желания, отмечался в ноябре. Каждый год крупнейший магазин города устраивал парад: шагавшие за оркестром девушки, все в блестках, тянули за собой по главной улице огромный дирижабль в виде яркой куклы. Вот такое шествие в то утро двигалось по Пятой авеню: вертела жезлом мажоретка, грохотали большие барабаны, сотворенный из воздушных шариков гигант, изображавший Довольного Покупателя, реял среди небоскребов, послушно следуя на поводке за ехавшими на блестящих мотоциклах девушками в кепи, с галунами и эполетами.

Тем временем другой кортеж пересекал Манхэттен. Облупленная и заплесневелая Луна тоже плыла меж небоскребами, ведомая нагими девушками; следом, в окружении все разраставшейся безмолвной свиты, поспевала вереница

изуродованных легковушек и остовов грузовиков. К тем, кто при Луне был с первых утренних часов, прибавлялись тысячи людей всех цветов кожи, целые семьи с чадами всех возрастов — особенно теперь, когда кортеж двигался вокруг Гарлема по самым людным кварталам, населенным неграми и пуэрториканцами.

Лунная процессия, проследовав зигзагом до Бродвея, незаметно слилась с другой, тащившей своего гиганта из воздушных шариков по Пятой авеню.

На Мэдисон-сквер шествия скрестились и слились в одно. Довольный Покупатель, — наверное, от столкновения с колкой поверхностью Луны, — исчез, он стал резиновою тряпкой. Теперь на мотоциклах ехали Дианы, тянувшие Луну за разноцветные ленты. Стало их по крайней мере вдвое больше, видимо, добавились мотоциклистки, сбросившие униформу и кепи. То же самое произошло с машинами и мотоциклами из лунной свиты, так что нельзя было понять, где старые, а где новые: смятые колеса, ржавые «дворники» виднелись по соседству с зеркальным блеском хромировки и эмалировкой.

Там, где процессия уже прошла, витрины зарастали плесенью и паутиной, лифты небоскребов

издавали скрип и стоны, рекламные плакаты выцветали и желтели, в холодильниках полки для яиц превращались в инкубаторы, телеэкраны демонстрировали атмосферные бури. Пришедший враз в негодность город, которому отныне было место лишь на свалке, сопровождал Луну в ее последнем путешествии.

Под звуки оркестра, ударявшего в канистры для бензина, шествие дошло до Бруклинского моста. Диана подняла жезл мажоретки, и ее подруги закружили ленты в воздухе. Луна с разгона перелетела через гнутое решетчатое ограждение моста, упала камнем в воду и пошла ко дну, вздымая на поверхность мириады пузырьков.

Девушки тем временем не отпускали ленты, а, напротив, крепко в них вцепились, и Луна увлекла их за собой, так что и они перелетели через парапеты, описали траектории ныряльщиц и исчезли под водой.

Пораженные, стояли мы перед Бруклинским мостом и молами, разрываясь между желанием нырнуть за ними следом и верой в то, что они снова, как бывало, возникнут перед нашими глазами.

Долго ждать нам не пришлось. По морю пошли концентрические волны. В центре круга появил-

ся остров, который стал расти и превратился в гору, в полушарие, в шар, лежавший на воде, нет, даже над водой висевший, нет, восходивший в небо, словно новая Луна. Я говорю «Луна», хотя она была похожа на Луну не больше той, которая недавно на глазах у нас ушла под воду, но эта новая Луна была другая совершенно по-другому. Поднимаясь из воды, она тащила за собою шлейф сверкающих зеленых водорослей; струи бивших из нее фонтанов орошали лунные поляны, придавая им изумрудный блеск, а легкая как воздух лунная поросль, казалось, состояла не из растений, а из переливчатых павлиньих перьев.

Хорошенько рассмотреть мы не успели, так как диск с этим пейзажем быстро возносился в небо, и отдельные детали растворялись в общем впечатлении свежести и бурного расцвета. Сумерки сгущались, и подрагивавшие светотени сглаживали цветовые контрасты; лунные луга и леса превратились в чуть заметные выпуклости на натянутой поверхности сияющего круга. Но мы все-таки заметили между ветвей деревьев гамаки — они качались на ветру, и в них удобно разместились девушки, приведшие нас сюда, среди которых я узнал Диану. Наконец-то успокоившись, она обмахивалась веером из перьев и,

возможно, посылала мне привет.

— Вон они! — воскликнул я. — Вон она! — стали кричать мы все, и нашу радость от того, что мы нашли их, уже пронизывала мука от сознания того, что мы их потеряли, так как Луна, все выше возносившаяся в темном небе, дарила нам лишь отсвет солнца на своих озерах и лугах.

Мы стали в исступлении носиться по континенту, по саваннам и лесам, которые опять покрыли Землю, поглотив все города и улицы и уничтожив все следы того, что было. Мы трубили, поднимая к небу хоботы и длинные тонкие бивни и встряхивая длинной шерстью, покрывавшей наши крупы, с неистовой тоской, которую испытываем все мы, молодые мамонты, когда осознаем: хотя мы только начинаем жить, уже понятно, что желаниям нашим не исполниться.

Метеориты*

В соответствии с новейшими теориями, Земля была вначале совсем маленьким холодным телом, а затем стала расти за счет включения метеоритов и метеоритной пыли.

— Сначала нам казалось, что мы сможем содержать ее в порядке, — рассказывал старый Qfwfq, — именно по той причине, что она была невелика и можно было ежедневно всю ее и подметать, и протирать. Разного добра, конечно, падало на Землю уйма, будто и вращалась она только для того, чтоб собирать всю парившую в пространстве пыль, весь мусор. Ныне все иначе — есть атмосфера, вы глядите на небо и говорите: о, какое чистое, какое ясное! Но поглядели бы вы, что летало у нас над головами, когда планета, следуя своей орбитой, попадала в какое-нибудь метеоритное облако и не могла из него выбраться! Метеориты состоят из белого порошка, похожего на нафталин, он образует крошечные

*** Примечания: ***

I meteoriti.

© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

гранулы, а иногда кристаллы покрупнее, — будто бы с небес упала и разбилась люстра, — среди которых попадались здоровенные булыжники, куски других планетных систем, огрызки груш, краны, ионические капители, старые номера «Геральд трибьюн» и «Паэзе сера»: ведь известно, что миры все время образуются и распадаются, при этом материал в ходу один и тот же. Так как Земля была в ту пору маленькой и юркой (она двигалась куда быстрее, чем теперь), от многого ей удавалось уклоняться: мы видели, как из глубин пространства приближался к нам какой-нибудь предмет, порхавший словно птица, — это мог быть, например, чулок, — или плывший с легкой килевою качкой, — как однажды плыл рояль, — который, поравнявшись в нами, проходил на расстоянии полуметра и исчезал, — возможно, навсегда, — где-то позади нас, в бездне мрака. Но чаще все-таки волна метеоритов обрушивалась именно на нас, вздымая густую тучу пыли и гремя жестянками; в такие моменты моей первой женой Xha овладевало внезапное возбуждение.

Xha стремилась содержать все в чистоте и порядке и преуспевала в этом. Ей, конечно, приходилось прилагать немалые усилия, однако тогдашние размеры планеты позволяли ежеднев-

но обходить ее всю целиком, и в том, что мы там жили с ней вдвоем, имелись свои минусы, — нам было некому помочь, — и свои плюсы: два таких уравновешенных и аккуратных индивида не устраивают беспорядка и, взяв что-нибудь, потом обязательно кладут на место, так что после восполнения урона, нанесенного метеоритным мусором, когда со всего бывала стерта пыль, а постоянно пачкавшееся белье бывало выстирано и развешено, нам больше ничего не оставалось делать.

Мусор Xha сначала складывала в многочисленные свертки, которые я зашвыривал обратно в пустоту, как можно выше; Земля тогда еще обладала малой силой притяжения, а мои руки были сильные и ловкие, поэтому мы избавлялись и от тел изрядного объема, отправляя их назад в пространство, из которого они возникли. С гранулами из мельчайшей пыли так не получалось, я не мог забрасывать кулечки с ними так, чтобы они не падали обратно, — почти всегда они разворачивались в воздухе и осыпали нас пылью с ног до головы.

Пока было возможно, Xha предпочитала прятать пыль в расщелинах; потом они заполнились и стали превращаться в пересыпавшиеся через

край воронки. Дело в том, что в Земле накопилось слишком много вещества, которое распирало ее изнутри, отчего эти расщелины и возникали. Лучше было рассыпать пыль равномерно по поверхности планеты, чтоб, затвердевая, она образовывала ровную сплошную корку и не возникало впечатления запущенности или недоделок.

Сноровка и упорство, проявлявшиеся Xha в ее стремлении не оставить и крупицы, которая нарушила бы идеальную гармонию нашего мира, теперь выказывались ею при создании основы столь же гармоничного порядка из метеоритного крошева, которое она раскладывала ровными слоями, начищая их поверхность после затвердения до блеска. Но каждый день на Землю вновь ложилась пыль, — то тонким слоем, а то кучками и горками, — и мы тотчас же принимались их разравнивать, формируя новые слои.

Наша планета увеличивалась в размерах, но благодаря стараниям, которые прилагали моя жена и под ее началом я, она сохраняла форму, лишенную выступов, неровностей и шлаков, и никакая тень, ни одно пятнышко не нарушали ее нафталинной белизны. Новые слои скрывали и все то, что сыпалось на нас вместе с пылью и чего

теперь мы не могли уже вернуть космическим потокам, так как масса Земли, возрастая, создала вокруг нее чересчур обширное поле тяготения, для преодоления которого силы моих рук уже недоставало. Более объемные отбросы прятали мы под курганами из пыли в виде выстроенных симметричными рядами невысоких квадратных пирамидок, так что в наше поле зрения ничего бесформенного, произвольного не попадало.

Описывая ловкость моей первой благоверной, я бы не хотел, чтобы у вас возникло впечатление, будто в ее усердии был элемент нервозности, беспокойного ожидания, почти тревоги. Нет, Xha была уверена, что эти метеоритные дожди — случайное, временное явление в мире, находящемся еще на стадии обустройства. Она не сомневалась, что наша планета, другие небесные тела и все внутри их и снаружи должны быть ограничены в пространстве четкими и правильными линиями и поверхностями. Все иное было, на ее взгляд, не имеющим значения остатком, и она стремилась тотчас подмести или зарыть его, чтобы свести к минимуму или вообще поставить под вопрос его существование. Так, конечно, истолковываю ее взгляды я, сама Xha была женщиной практичной, не склонной к общим фразам, и старалась просто

делать должным образом то, что считала должным, причем делала это охотно.

По этому ландшафту, сохраняемому с таким въедливым упорством, мы с Xha прогуливались каждый вечер перед сном. Это была голая равнина, гладь которой через равные промежутки прерывали четкие ребра пирамид. Над нами в небесах вращались с соразмеренными скоростями на выверенных расстояниях звезды и планеты, посылавшие друг другу лучи света, обеспечивая над землею равномерное сияние. Жена помахивала веером из деревянных реек, разгоняя неизменно пыльный воздух вокруг наших лиц, а я нес зонтик — на тот случай, если хлынет вдруг метеоритный дождь. Складчатые платья Xha благодаря крахмалу сохраняли свежесть; ее волосы стягивала белая лента.

Лишь в такие мгновения мы и могли себе позволить заняться чинным созерцанием, но они были недолги. Просыпались мы обычно рано, но за те немногие часы, пока мы спали, Землю усыпали всевозможные отбросы.

— Скорее, Qfwfq, не мешкай! — говорила Xha, давая в руки мне метлу и отправляя по обычному маршруту, в то время как заря выбеливала узкий горизонт равнины. По пути я то и дело обнару-

живал груды обломков и всяческого хлама; по мере того как светало, все заметней становилась пыль, застлавшая поверхность, которая сверкала прежде чистотой. Взмахами метлы я все, что удавалось, загонял в мусорное ведро или в мешок, которые нес с собой, но прежде останавливался и рассматривал те чужеродные предметы, что принесла нам ночь: бычий череп, кактус, колесо телеги, самородок золота, проектор панорамного кино. Я взвешивал их на руке, вертел и так и сяк, сосал уколотый о кактус палец и забавы ради представлял, что между столь несообразными предметами есть некая таинственная связь, которую я должен угадать. Таким фантазиям я мог предаваться, лишь когда бывал один — жену обуревала такая страсть к расчистке, устранению, выбрасыванию, что вместе с ней мы никогда не останавливались посмотреть, что мы метем. Теперь же я чем далее, тем более был движим любопытством и что ни утро отправлялся в путь, чуть ли не весело насвистывая.

Мы поделили с Xha наши обязанности в сфере поддержания порядка — каждому по полушарию. На том, которое досталось мне, я иногда не сразу убирал свалившийся на Землю хлам, — особенно когда он был тяжеловат, — а складывал его

в каком-нибудь углу, чтобы попозже увезти на тачке. Порой так образовывались штабеля или агломераты из ковров, песчаных дюн, изданий Корана, нефтескважин — этакая сборная солянка. Конечно, Xha мой метод осудила бы, но я, по правде говоря, испытывал определенное удовольствие, смотря на эти высившиеся на горизонте причудливые тени. Случалось, что я оставлял нагромождение барахла до следующего дня (Земля так разрослась, что Xha не успевала ежедневно обходить ее всю целиком) и утром с удивлением обнаруживал, как много нового добавилось к тому, что уже было.

Однажды, глядя на нагромождение разбитых ящиков и ржавых бидонов, над которым возвышался кран, державший искореженный остов машины, я, внезапно опустив глаза, увидел на пороге лачуги из листов железа и фанеры девушку, которая усердно чистила картошку. Мне показалось, что она в лохмотьях: на ней были лоскутья целлофана, клочки обтрепанных шейных платков, а в длинных волосах — соломинки и стружки. Она брала картофелины из мешка и складным ножиком срезала с них кожуру, которая сворачивалась в серые кучки.

Я счел нужным извиниться:

— Прошу прощения за этот беспорядок, я сейчас быстро сделаю уборку, наведу здесь чистоту…

Девушка бросила очищенную картофелину в таз и проронила:

— Да ну ладно тебе…

— Может, если б вы мне помогли… — сказал я, а точнее, часть меня, продолжавшая рассуждать привычным образом. (Только накануне вечером мы с Xha рассуждали: «Если бы найти помощника, было б совсем другое дело!»)

— Лучше ты, — сказала девушка, зевая и потягиваясь, — помоги чистить картошку.

— Непонятно, куда девать все то, что валится на нас… — стал объяснять я. — Вот, глядите. — И я приподнял бочонок, на который в тот момент упал мой взгляд. — Что только там внутри…

Девушка принюхалась и заявила:

— Килька. Будем есть fish and chips[11].

Она заставила меня сесть рядом и нарезать картошку тоненькими ломтиками. Отыскала среди всей этой помойки черную жестяную банку, полную растительного масла, разожгла костер из упаковки и стала жарить рыбу и картошку в заржавленном тазу.

---

[11] Примечания: 38
Рыбу с жареной картошкой (англ.).

— Не надо в нем, он грязный! — заикнулся было я, представив кухонную посуду Xha, блестевшую как зеркало.

— Да брось, — отозвалась она, накладывая горячую еду в газетные кулечки.

Не раз потом я думал, правильно ли поступил, скрыв в тот день от Xha, что к нам на Землю занесло еще одно живое существо. Но ведь тогда пришлось бы мне признаться ей, что я был нерадив и накопил так много всякого добра! «Сначала нужно хорошенечко убраться», — думал я, понимая, что все осложнилось.

Каждый день я отправлялся навестить юную Wha среди горы новых предметов, расползавшейся по всему полушарию. Мне было непонятно, как она, Wha, может жить среди этого хаоса, как можно допускать, чтобы одно наваливалось на другое: лианы — поверх баобаба, романские соборы — поверх крипт, подъемники — на залежи угля, а сверху добавлялась всякая иная всячина — висящие на лианах шимпанзе, автобусы, привезшие туристов посмотреть соборы, выделения метана в штольнях. Меня это все время выводило из себя, но юной Wha, на ее счастье, был свойствен прямо противоположный взгляд на вещи.

Хотя, признаюсь, иногда мне нравилось смот-

реть, как она со всем этим справлялась; ее жесты были столь небрежны, что казалось: все, что она делает, выходит так само собой, но, как ни странно, все у нее получалось на удивление хорошо. Она бросала в одну кастрюлю то, что попадалось под руку, скажем, шкварки и фасоль, и — кто бы мог подумать? — выходил отличный суп. Она нагромождала, словно грязную посуду, части египетских монументов, — женскую головку, крылья ибиса и тело льва, — и получался превосходный сфинкс. В общем, мне подумалось, что с ней, привыкнув, я бы чувствовал себя привольно.

Чего я ей не мог простить, это ее рассеянности, безалаберности, неспособности запомнить, где она что оставляла. Она могла забыть, к примеру, мексиканский вулкан Парикутин меж бороздами вспаханного поля, а древнеримский театр города Луни — среди виноградника. Тот факт, что, когда было нужно, она всегда их находила, дела не менял, поскольку это всякий раз была очередная случайность.

Конечно, настоящей моей жизнью была та, которую я проводил близ Xha, поддерживая чистоту и гладкость другого полушария. На этот счет я, без сомнения, был солидарен с Xha, как

и она, трудился ради сохранения планеты в безупречном состоянии и рядом с Wha часами находиться мог только благодаря уверенности, что потом вернусь в мир Xha, где все шло так, как и должно было идти, и где было понятно все, что нужно понимать. Следует сказать, что рядом с Xha я, внешне постоянно деятельный, становился внутренне спокойным, с Wha же я мог быть спокойным внешне, делать только то, чего мне в тот момент хотелось, но за эту безмятежность я расплачивался постоянным раздражением, поскольку был уверен, что так долго не продлится.

Я ошибался. Разнородные куски метеоритов, сопрягаясь — хоть и приблизительно — друг с другом, составляли — пусть и не лишенную пропусков — мозаику. Угри Комаккьо и источник на горе Монвизо, дворцы дожей и гектары рисовых плантаций, профсоюзные традиции сельскохозяйственных рабочих, кельтские и лонгобардские суффиксы и индекс роста производительности труда — столь разные, никак не связанные меж собой материалы слились в пронизанное хитросплетением взаимосвязей единство в тот момент, когда внезапно на Землю рухнула река, и это была По.

Так каждый оседавший на планете предмет в

конечном счете находил себе такое место, где, казалось, он всегда и пребывал, и обретал взаимные связи с прочими предметами, так что необоснованное присутствие одних оказывалось обосновано необоснованным присутствием других, и общий беспорядок можно было начинать уже считать естественным порядком вещей. В этом свете следует рассматривать и прочие события, о которых я упомяну лишь вскользь, поскольку речь идет о моей личной жизни; вы, наверно, поняли, что я имею в виду развод с Xha и свой второй брак с Wha.

Жизнь с Wha тоже, если присмотреться, была не лишена гармонии. Казалось, всё вокруг нее, располагаясь, сочетаясь, отвоевывая себе место, следует ее манере, характеризующейся бессистемностью, пренебрежением свойствами материалов и неточностью движений, которые в конце концов увенчивал мгновенный безупречный выбор. К примеру, Эрехтейон[12], испещренный брешами, которые пробили врезавшиеся в него космические корабли, подлетел

[12] Примечания: 39

Храм Афины и Посейдона — Эрехтея на Акрополе в Афинах (421–406 до н. э.).

к вершине Ликавиттоса[13], на миг завис над ней, роняя свои составные части, затем спланировал к площадке на Акрополе, куда позднее был должен опуститься Парфенон, коснувшись ее, вновь поднялся и легко приземлился чуть подальше.

Случалось, от нас требовалось небольшое вмешательство, — соединить отдельные части, подогнать друг к другу оказавшиеся рядом элементы, — и тогда, опять-таки словно дурачась, Wha доказывала, что рука у нее верная. Играючи она сминала слои осадочных пород, формируя синклинали и антиклинали[14], изменяла направленность граней кристаллов, получая сланец, полевой шпат, кварц или слюду, прятала между осадочными толщами на разной высоте, в порядке появления, окаменелости.

Так понемногу Земля обретала известные вам формы. Метеоритный дождь все продолжает добавлять к картине новые подробности — окаймляет ее оконной рамой, гардиной, сетью телефонных проводов, пустые пространства заполняет, подбирая подходящие детали, — све-

---

[13] Примечания: 40

Холм на территории современных Афин.

[14] Примечания: 41

Складки слоев горных пород, обращенные выпуклостями соответственно вверх и вниз.

тофоры, обелиски, кафе, абсиды, аллювии[15], зубоврачебный кабинет, обложку еженедельника «Доменика дель Корьере», где изображен охотник, укусивший льва, — и постоянно допуская излишества в необязательных подробностях, как, например, в окраске крыльев бабочки, и разные нелепости — вроде войны в Кашмире[16]. Но мне все время кажется, будто чего-то еще не хватает и оно вот-вот появится, — быть может, сатурнийский стих[17] Невия[18]для заполнения промежутка меж двумя фрагментами поэмы, или формула, определяющая превращения в хромосомах ДНК, — и вот тогда картина станет полной, я увижу изобильный и одновременно четкий мир, и у меня будут и Xha, и Wha.

Давно уже лишившись их обеих, — Xha по-

---

[15] Примечания: 42

Отложения постоянных и временных водных потоков, состоящие из обломочного материала разной степени окатанности.

[16] Примечания: 43

Многолетний вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном из-за Кашмира был урегулирован в 1972 г. взаимной демаркацией линии контроля в Кашмире.

[17] Примечания: 44

Древнейший эпический стих италийской народной поэзии; со II в. до н. э. вытеснен гекзаметром.

[18] Примечания: 45

Невий Гней (ок. 270–201 до н. э.) — римский драматург и поэт, автор комедий, национального эпоса «Песнь о Пунической войне».

терпела поражение в борьбе с обилием пыли и исчезла вместе с ее царством аккуратности, а Wha, возможно, и сейчас забавы ради таится где-нибудь на доверху забитом складе найденных вещей, так что теперь саму ее не найти, — я все еще надеюсь, что они вернутся, — возможно, снова промелькнут в моем мозгу или предстанут пред закрытыми или открытыми глазами, только обе сразу, — случись такое хоть на миг, тогда бы я, наверно, понял, что к чему.

Каменное небо*

Untitled from 'Poèmes d'Eugenio Montale', Milan (Без названия из «Стихотворений Эудженио Монтале», Милан.). Жерар Шнайдер. 1964

*** Примечания: ***
Il cielo di pietra.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



Скорость распространения сейсмических волн в недрах земного шара изменяется сообразно глубине и смене материалов, составляющих земную кору, мантию и ядро.

— Живете вы снаружи, на земной коре, — раздался голос Qfwfq из кратера вулкана, — или почти снаружи, ведь над вами еще одна — воздушная — оболочка, но все равно — снаружи, с точки зрения тех, кто смотрит на вас с одной из составляющих Землю концентрических сфер, как делаю я, перемещаясь в промежутках между сферами. И вам там мало дела до того, что внутри Земля — не сплошная, а прерывистая и состоит из наслоений разной плотности, а в самой глубине — железоникелевое ядро, которое тоже представляет собой целую систему ядер, содержащихся одно в другом, и каждое вращается отдельно, в соответствии со степенью текучести его материала.

Вы называете себя землянами — неясно, по какому праву, ведь на самом деле вы должны именоваться внеземлянами, землянин — тот, кто обитает внутри Земли, как я и Rdix до того дня, когда вы, обманув ее, забрали у меня в ваше пустынное «снаружи».

А я всегда жил здесь, внутри, — сначала вместе с Rdix, потом в единственном числе, — на одной из этих внутренних земель. У нас над головой вращалось каменное небо, — более чистое, чем ваше, но тоже с облаками, как у вас, — там, где сгущаются хромистые или магниевые взвеси. Можно встретить у нас и крылатые тени — это как бы птицы наших внутренних небес, уплотнения легкой породы, взвивающиеся по спирали вверх, пока не пропадут из виду. Погода у нас очень переменчива, и если хлынет свинцовый дождь как из ведра или град цинковых кристаллов, остается только укрываться в порах губчатой породы. Кое-где тьму прорезают огненные зигзаги, но это не молнии, это змеится вниз по жиле раскаленный добела металл.

Землей мы считали сферу, на которой находились, а небом — ту, что ее окружала. В общем, так же, как и вы, только у нас эти различия всегда были временными, произвольными, поскольку плотность элементов постоянно изменялась, и вдруг мы обнаруживали: наше небо — твердое и плотное и давит на нас своей тяжестью, а вязкая как клей земля пузырится, закручивается в воронки и ходит ходуном.

Я старался, пользуясь потоками самых тяжелых

элементов, подобраться ближе к истинному центру Земли, к ядру ядра, держа Rdix при этом спуске за руку. Но всякое движение к ядру приводило к размыванию другого материала и выталкивало его вверх: случалось, что при погружении нас подхватывала волна, которая фонтаном ударяла в верхние слои, пробивала их и после этого закручивалась в завиток. Несомые такими волнами, мы поневоле мчались в противоположном направлении. Нас как бы всасывали вверх протоки, открывавшиеся в наслоениях минералов, после чего глубинные породы позади — то есть под нами — начинали вновь затвердевать, и мы в конце концов оказывались на другой земле. А сверху нависало другое каменное небо, и неясно было, где мы, — выше или ниже того места, с которого пускались в путь.

Едва Rdix замечала, что металл нависшего над нами нового неба плавится, как ею овладевала прихоть полетать. Она пикировала вверх и проплывала через купола одного, другого, третьего небес, цепляясь за свисавшие с верхних сводов сталактиты. Я следовал за ней — отчасти чтобы поддержать ее игру, отчасти чтоб напомнить: нам пора двигаться в обратном направлении. На самом деле Rdix, конечно, тоже, как и я, была уве-

рена, что мы должны стремиться к центру Земли. Только достигнув центра, мы могли б считать, что вся планета — наша. Мы были зачинателями земной жизни и хотели оживить всю Землю, начиная с ее ядра и постепенно распространяя наше состояние по всему земному шару. Нашей целью была земная жизнь, то есть жизнь Земли и жизнь в Земле, — не та, которая виднеется на поверхности и, на ваш взгляд, заслуживает названия земной, хотя на самом деле это нечто вроде плесени, которая постепенно покрывает сморщенную яблочную кожуру.

Вы выбрали неверный путь — жизнь, обреченную на неполноту, поверхностность, ничтожность. Rdix тоже хорошо об этом знала, но, как натуру очарованную, ее влекла любая промежуточность, и чуть только ей доводилось воспарить в прыжке или при вознесении по вулканическому жерлу, можно было видеть, как она старается принять диковинные позы, как стремится к самым необычным ракурсам.

В пограничных зонах и при переходе из одного пласта в другой она испытывала легкое головокружение. Мы знали, что Земля слагается из сводов, расположенных один поверх другого, как слои огромной луковицы, — каждый отсылает к

соседу сверху, а все вместе предвещают крайний, где Земля уже перестает быть таковой, где остается по сю сторону всё, что внутри, и далее идет «снаружи». У вас эта граница Земли отождествляется с самой Землей, для вас сфера — это не объем, а внешняя ее поверхность, вы всегда существовали в этом плоском мире и не представляете, что можно жить в других местах и по-другому. А мы тогда об этой границе знали лишь, что где-то она есть, но никогда не думали ее увидеть, если только не выйдем из Земли наружу, каковая перспектива представлялась нам не столько странной, сколько попросту абсурдной. Именно туда стремилось в виде извержений, битумных струй и фумарол[19] все, что Земля выбрасывает из недр, — газы, жидкие смеси, летучие элементы, побочные материалы, всякие отходы. Это была негативная сторона мира, которую мы даже не могли как следует вообразить, но самые общие представления о ней вызывали у нас дрожь от отвращения, нет, скорее от смятения, точней, ошеломление вплоть до умопомрачения (наши реакции действительно были сложней,

[19] Примечания: 47

Фумаро́ла (*итал.* fumarola, от *лат.* fumare — дымиться) — трещина или отверстие, располагающееся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и являющееся источником горячих газов. *(Прим. комп.)*

чем мы могли подумать, особенно у Rdix), и в этом чудилось какое-то волшебство, как будто нас затягивала пустота, влекла потусторонняя высшая сила.

В соответствии с очередным капризом Rdix мы устремились в жерло потухшего вулкана и, пройдя сквозь нечто схожее с горловиною клепсидры, угодили в выстланную чем-то серым полость кратера, напоминавшую и веществом, и формой обычные пейзажи наших глубей. Что нас поразило, так это то, что дальше Земля прекращалась, к ней не примыкала никакая Земля иного вида, дальше начиналась пустота, во всяком случае, куда менее плотное вещество в сравнении с теми, сквозь которые мы пробирались до сих пор, прозрачное и вибрирующее, — голубоватый воздух.

Что до вибраций, то мы были готовы к таким, как медленно распространяющиеся в граните и базальте, к чавканью, гудению, рокоту, лениво встряхивающим массы расплавленных металлов или кристаллические стены. Но вибрирующий воздух нес нам навстречу, если можно так сказать, мелкие остроконечные звуковые искорки, частившие со скоростью, для нас невыносимой, изо всех концов пространства; это походило на щекотку, вызывавшую пикантное возбуждение.

Нами овладело, — по крайней мере мной, отныне мне придется проводить различие между своими чувствами и настроениями Rdix, — желание скорее скрыться в бесшумной темной глубине, куда едва доносятся лишь отзвуки землетрясений. Но Rdix, охочей до всего необычайного и склонной к опрометчивым поступкам, не терпелось приобщиться к чему-то уникальному, будь то хорошему или плохому.

Эти минуты стали роковыми. Воздушные массы за краями кратера вибрировали непрерывно, но непрерывность эту обеспечивали разнородные прерывистые вибрации. Возникавший в результате звук, набрав полную силу, постепенно затухал, чтобы затем опять достигнуть прежней громкости, и эти модуляции следовали некоему плану чередования звучных и глухих отрезков. На данный звук накладывались и другие, — пронзительные, отрывистые, — которые затем утрачивали четкость, размывались, обретая сладковатый или горький ореол, и, противодействуя или вторя звуку более глубокому, рождали некую звуковую сферу, зону или пояс.

Первым моим побуждением было вырваться из этой сферы, возвратиться в мир компактности и тишины, и я соскользнул в глубь кратера. Но Rdix

в тот самый миг метнулась в направлении звука и, прежде чем ее успел я удержать, выскочила за пределы кратера. Быть может, не сама, — мне показалось, ее ухватила некая рука, коварно ухватила и уволокла. Мне удалось расслышать крик, — ее, Rdix, крик, — соединившийся с тем, прежним, звуком, зазвучавший в лад с ним, и мелодию, которую запели она и тот певец, и звуки струн неведомого инструмента, которыми они сопровождали свое пение, спускаясь по наружному склону вулкана.

Не знаю, в самом ли так было деле или лишь в моем воображении, — тем временем я погружался в родную тьму, и надо мною друг за дружкой смыкались внутренние небеса — кремнистые своды, алюминиевые крыши, купола из вязкой серы, — а вокруг звучал то тихий гул, то приглушенный грохот — элементы пестрой подземной тишины. Я ощутил и облегчение от того, что оказался далеко от этого противного воздуха и пытки звуковыми волнами, и в то же время отчаяние от утраты Rdix. Не сумев спасти ее от страшной участи быть выдернутой из земли и выносить это битье по натянутым в воздухе струнам, с помощью которого мир строит иллюзии бытия, остался я один. Моя мечта оживить

Землю, достигнув вместе с Rdix самого центра, не сбылась. Rdix сделалась изгнанницей и пленницей лишенных всякого прикрытия пустынь наружного мира.

Потянулось время ожидания. Я созерцал ландшафты, теснившие друг друга внутри земного шара, длиннющие полости, горные цепи, подобные гигантской чешуе, океаны — словно выжатые губки, и чем лучше с волнением узнавал я наш сплошной, битком набитый, концентрированный мир, тем больше сожалел, что нет в нем Rdix.

Ее освобождение стало моей единственной заботой: взломать ворота в этот внешний мир, осуществить вторжение туда мира внутреннего, вернуть Rdix внутрь земной материи, выстроить над нею новый свод, новое минеральное небо, спасти от этого кошмара — от дрожащего воздуха, от пения, от звучания струн. Я наблюдал, как в полостях вулкана скапливается лава, как заполняет она вертикальные каналы в земной коре, и понял: вот он, выход!

Настал день извержения, и над обезглавленным Везувием выросла, черная башня из лапилли[20];

[20] Примечания: 48

Застывшие в полете куски свежей лавы, старых лав и чуждых вулкану пород.

лава понеслась по виноградникам, насаженным вокруг залива, вломилась в Геркуланум, расплющила о стену мула и погонщика, оторвала скупца от денег, а невольника — от кандалов, цепная собака сорвалась с цепи, ища спасения в амбаре… Я видел все это, мчась вместе с лавой, раскаленная лавина распадалась на отдельные языки, на много ручейков, на уйму змеек, и в том языке, что дальше всех продвинулся вперед, был я, искавший Rdix. Каким-то образом я знал, что Rdix по-прежнему в плену у неизвестного певца, и где я вновь услышу звуки того инструмента, тембр того голоса, вот там она и будет.

Я несся, движимый потоком лавы, минуя тихие сады и мраморные храмы, и, наконец, услышал пение под звуки арфы двух сменявших друг друга голосов: голос Rdix, — но как он изменился! — вторил другому, незнакомому. Над аркой была надпись греческими буквами: Orpheos. Я вышиб дверь, вкатился внутрь. Ее я видел лишь одно мгновение, рядом с арфой. Это замкнутое полое пространство, судя по всему, было устроено специально так, чтоб музыка сосредоточивалась там как в раковине. Тяжелая портьера, — кажется, из кожи, да еще подбитая, как стеганое одеяло, — занавесила окно, отъединяя их му-

зыку от окружающего мира. Только я проник туда, как Rdix рывком отдернула эту портьеру, распахнув окно, и мне открылись слепивший бликами залив и городские улицы. Зал затопил полдневный свет — и звуки: отовсюду неслись бренчанье на гитаре, завывание сотни громкоговорителей, отрывистая трескотня моторов, звуки труб. Панцирь шума покрывал земную поверхность, пелена звучания, ограничивающая вашу внеземную жизнь, — с торчащими на крышах антеннами для превращения в звуки волн, которые незримо и неслышно бороздят пространство, с транзисторами, пригвожденными к ушам, чтобы ежесекундно наполнять их звуковою жвачкой, в отсутствие которой вы не понимаете, живете вы или уже мертвы, с музыкальными автоматами, что копят, а затем выплескивают звуки, с беспрерывною сиреной «скорой помощи», которая подбирает тех, кто получает раны в вашей беспрерывной бойне. Уткнувшись в этот звуковой барьер, лава остановилась. Напоровшись на колючки заграждения из сплетающихся звуковых вибраций, я рванулся все-таки туда, где на мгновение увидел было Rdix, но Rdix исчезла вместе с ее похитителем: мелодия, в которой и которой они жили, была затоплена лавиной шума, где

различить ее с ее мелодией было невозможно.

Я отступил, я двинулся назад в потоке лавы, я поднялся вверх по склону к кратеру вулкана, возвратился к жизни в тишине, я снова стал затворником.

Живущие снаружи, я прошу, если вдруг в массе окружающих вас звуков вам случится уловить мелодию Rdix, которая, пленив ее, сама попала в плен к немелодичности, любые мелодии поглощающей и истребляющей, — если узнаете ее, Rdix, голос, в котором слышится еще далекий отголосок тишины, то сообщите, расскажите мне о ней, прошу вас, внеземляне, временные победители, чтобы я смог в конце концов найти ее и увести вниз, к средоточию земной жизни, чтобы сделать истинно земною жизнь от центра до поверхности Земли, поскольку ясно: победив, вы проиграли.

Пока светит Солнце[*]

Эволюцию звезд, в зависимости от величины, светимости и цвета, можно представить в виде диаграммы Херцшпрунга-Рассела. Жизнь их может быть совсем недолгой (большие голубые звезды существуют считанные миллионы лет), но может также протекать гораздо медленнее (желтые живут десяток миллиардов, а самые маленькие из красных — даже тысячи миллиардов). Так или иначе, настает момент, когда после сгорания всего имевшегося водорода звезда поневоле расширяется и остывает, превращаясь в «красного гиганта», а затем цепь термоядерных реакций быстро приводит к ее смерти. До наступления этого момента у Солнца — желтой звезды средней мощности, светящейся уже четыре с лишним миллиарда лет, — впереди как минимум еще такой же срок.

— Мой дедушка обосновался здесь, — рассказывал Qfwfq, — именно в поисках спокойной

*** Примечания: ***

Fino a che dura il Sole.

© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

жизни, когда взрыв очередной Сверхновой в очередной раз смел их всех — его, бабулю, их детей, внуков и правнуков — в пространство. Солнце тогда только-только конденсировалось на одном из рукавов Галактики и своей округлостью и желтизной произвело на деда по сравнению с другими звездами хорошее впечатление.

— Попробуем пожить на желтой, — сказал дед жене. — Если не ошибаюсь, как раз желтые и не меняются дольше всего. И вероятно, вскоре вокруг нее образуется планетная система.

Мысль о том, чтобы, когда настанет время выходить на пенсию, после всех этих нескончаемых блужданий среди раскаленного вещества, обосноваться всем семейством на какой-нибудь планете, — не исключено, что с атмосферой, растениями и зверюшками, — Полковник Eggg вынашивал давно. Не то чтоб дед так тяжело переносил жару, да и к скачкам температуры он давно уже привык за долгие годы службы, — просто с возрастом приходит вкус к умеренному климату.

Но бабуля сразу возразила:

— Может, лучше вон на ту, другую? Чем крупнее, тем надежнее! — кивнув на «голубого гиганта».

— С ума сошла, не видишь, что это за звезда? Ты что, не знаешь этих голубых? Не успеешь оглянуться, а они уже сгорели, не пройдет и пары тыщ тысячелетий, а уже будет пора переселяться в мир иной!

Но вы же знаете бабулю Ggge: она у нас молода не только телом, но и духом, не довольствуется тем, что есть, и постоянно жаждет перемен, не важно — к лучшему или к худшему, только бы что-то новое. А ведь все хлопоты при спешных переселениях с одного небесного тела на другое всегда ложились на нее, в особенности когда дети были маленькие.

— Видно, забывает, как это, от раза к разу, — жалуется дедуля Eggg нам, внукам, — ну никак не хочет жить спокойно! И чего ей не хватает в Солнечной системе? Небось я, столько промотавшись по галактикам, поднабрался кое-какого опыта! Но нет, моя супруга не желает это признавать…

Вот это не дает Полковнику покоя: профессиональным удовлетворением он не был обделен, но вот того, какое ему сейчас нужней всего, испытать не удается, — услышать наконец из уст супруги что-нибудь такое вроде: «Да, Eggg, у тебя глаз — алмаз, я бы за это Солнце гроша ломаного не дала, а ты вот сразу оценил его как в высшей

степени надежное и стабильное светило, из тех, что не грозят сыграть с тобой в любой момент какую-нибудь злую шутку, и верно выбрал положение, которое потом позволило удачно разместиться на Земле, когда она образовалась… Да, на Земле, при всех ограничениях и недостатках, есть еще приличные места, и детям есть где поиграть, и школы не так далеко…» Вот что хотелось бы услышать от жены Полковнику, хоть раз доставила бы старику такое удовольствие… Какое там! Наоборот, стоит ей услышать о какой-нибудь звездной системе, которая функционирует совсем иначе, — например, о колебаниях светимости двойных звезд созвездия Лиры, — и начинается: «Вон где, наверно, жизнь разнообразная, они там движутся и движутся, а мы все время тут торчим, в этой дыре, в глуши, где ничего не происходит…»

— А что, по-твоему, должно происходить? — спрашивает Eggg, призывая нас всех в свидетели. — Как будто мы еще не знаем, что везде одно и то же: превращение водорода в гелий, дальше всем известные игры с бериллием и литием, после — обрушение раскаленных толщ, которые светлеют, раздуваются как шары, опять обрушиваются… И если б еще можно было наслаждаться

этим зрелищем! Но каждый раз боишься по дороге растерять баулы и тюки со скарбом, дети плачут, удочки воспаляются глаза, у зятя плавится вставная челюсть… Ведь Ggge же первая от этого страдает, на словах одно, на деле получается совсем другое…

Для старого Eggg. как он рассказывал не раз, когда-то тоже многое было в диковинку: и конденсация газа в облака, и столкновение атомов, и зарождение сгустков материи, которые росли, росли, пока не загорались, и появление в небе раскаленных тел всех мыслимых цветов с разным диаметром, температурой, плотностью, манерой расширяться и сжиматься, и все эти изотопы, о существовании которых никто и не подозревал, все эти вспышки, взрывы, магнитные поля — в общем, сплошные неожиданности. А теперь… Достаточно ему взглянуть — и сразу все понятно: что за звезда, какой величины и массы, что сжигает, обладает силой притяжения или, напротив, что-то из себя выталкивает, и насколько далеко, и в скольких световых годах может находиться от нее другая.

Пустынные просторы для него — что железнодорожная развязка: какая ширина колей, какие объезды, стрелки есть, такие и есть, маршруты

можно выбирать, но двигаться между путями или перескакивать с пути на путь нельзя. То же касается течения времени: движение всегда осуществляется согласно графику, который Полковник знает наизусть, — все остановки, вероятные задержки, пересадки, сроки действия, сезонные изменения. Eggg всегда мечтал, уйдя в отставку, наблюдать за упорядоченным и размеренным движением мира — подобно тем пенсионерам, что ходят каждый день на станцию наблюдать прибытие и отбытие поездов и радуются, что самим уже не нужно трястись с вещами и детьми там, среди механизмов, равнодушно вращающихся каждый на свой лад…

В общем, выбранное место идеально со всех точек зрения. За четыре миллиарда лет они вполне освоились, сумели завести знакомства, — окружение, по здешнему обычаю, меняется, но госпоже Ggge, столь охочей до разнообразия, это должно быть по душе. Сейчас соседи их по этажу — довольно милая семья Кавиккья, они друг другу помогают и обмениваются любезностями.

— Посмотрел бы я, — заметил Eggg жене, — нашла бы ты на Магеллановых Облаках таких воспитанных людей? (Ggge, мечтая о переселении, поминает и внегалактические скопления

звезд.)

Но в зрелом возрасте мозги уже не переделать: ежели Полковник не сумел за столько лет супружества, наверняка не сможет и сейчас. Например, Ggge слышит, что соседи собираются в Терамо. Эти Кавиккья сами из Абруццо и ежегодно туда ездят навещать родню.

— Вот, пожалуйста, — роняет Ggge, — все уезжают, только мы сидим здесь сиднем. Я маму миллиарды лет не видела!

— Да пойми ты, это же совсем другое дело! — протестует старый Eggg.

Место жительства моей прабабушки, да будет вам известно, — Туманность Андромеды. Прежде она путешествовала с дочерью и зятем, но когда начало формироваться это скопление галактик, они друг друга потеряли из виду и устремились в разных направлениях (в чем Ggge и по сей день винит Полковника).

— Все оттого, что ты такой рассеянный, — утверждает она.

А он в ответ:

— Как же, не о чем мне больше было думать! — чтоб не уточнять, что теща, конечно, женщина прекрасная, однако же из тех попутчиц, кто все только осложняет, особенно в моменты сума-

тохи.

Туманность Андромеды — вон, у нас над головами, но, как ни крути, до нее пара миллиардов световых годков. А для Ggge, похоже, световые годы — что скачки блохи: она не понимает, что пространство — липкое и из него не вырваться, как и из времени.

На днях, — наверное, чтобы ее ободрить, — Eggg говорит:

— Послушай, Ggge, нигде не сказано, что мы здесь навсегда. Сколько мы тут провели тысячелетий? Четыре миллиона? Стало быть, по крайней мере половину. Не пройдет и пяти миллионов тысяч лет, как Солнце так раздуется, что поглотит и Меркурий, и Венеру, и Землю, и опять пойдут сплошные катаклизмы. И как знать, куда в итоге нас забросит! Так что наслаждайся нынешним спокойствием, уже немного остается.

— Да-а? — оживляется она. — Тогда необходимо быть все время наготове. Я буду собирать все, что не портится и занимает не так много места, чтобы после взрыва Солнца взять это с собой.

Полковник не успел и пикнуть, а она уже помчалась на чердак проверить, сколько там хранится чемоданов, каково их состояние, исправны ли замки. (Тут ей в предусмотрительности не

откажешь: когда ты выброшен в пространство, хуже нет чем выискивать среди межзвездного газа рассыпанное содержимое чемоданов.)

— Куда спешишь?! — воскликнул дед. — Сказал же, впереди у нас миллиарды лет!

— Но дел-то сколько, Eggg, и оставлять все на последний миг я не хочу. К примеру, у меня должно быть сварено айвовое варенье на случай, если встретимся с моей сестрой Ddde, которая его безумно любит и не знаю, сколько времени не лакомилась им, бедняжка.

— С твоей сестрой Ddde? Той, что с Сириуса?

У бабули Ggge тьма родичей, рассеянных по всем созвездиям, и каждую катастрофу она надеется на встречу с кем-нибудь из них. Надо сказать, не ошибается: каждый новый взрыв забрасывает Полковника в круг свойственников или кумовьев.

Короче говоря, теперь ее не удержать: поглощенная приготовлениями, Ggge не может думать ни о чем другом и, не доделав, бросает самые насущные дела, поскольку «скоро Солнцу все равно конец». Супруга это бесит: сколько он мечтал, выйдя в отставку, насладиться жизнью, отдохнуть от непрестанных взрывов, понаблюдать за плавками, что совершаются на всевозможном

топливе в небесных тиглях, из укрытия, посозерцать сплошное однородное течение веков… Но вместо этого синьора Ggge, дав отдохнуть ему не больше половины срока, приводит его в напряжение распахнутыми чемоданами, расставленными на кроватях, опрокинутыми ящиками, стопками рубашек, и те тыщи миллионов миллиардов часов, дней, недель и месяцев, которыми он мог бы наслаждаться как бессрочным отпуском, придется быть настороже, как в пору службы, в постоянном ожидании перемещения, ни на мгновение не забывая, что вокруг все временное, но постоянно повторяется, что вся эта мозаика протонов, электронов и нейтронов будет рассыпаться и складываться вновь до бесконечности и что похлебку эту надо перемешивать, пока она не остынет или не согреется, — короче говоря, об отдыхе на наиболее умеренной планете Солнечной системы нужно позабыть.

— Как ты считаешь, Eggg, мы сможем захватить с собой кое-какую посуду, хорошенечко упаковав, чтоб не разбилась?

— Да что ты, Ggge, она такая громоздкая, как ты тогда разместишь остальное… — Приходится участвовать, высказывать свои суждения по разным поводам, разделять ее долгое нетерпение,

быть постоянно наготове…

Я знаю, чего сейчас мучительно желает этот отставник, он столько раз сам ясно говорил: раз и навеки выйти из игры. Пусть звезды распадаются и снова образуются, чтобы распасться вновь, и так сто тысяч раз, пусть среди этих звезд синьора Ggge и ее родственницы догоняют друг друга, обнимаются, роняя, поднимая и опять роняя шляпные картонки и зонты, но, уж увольте, без него. Он, Eggg, найдет себе местечко в глубинах отработанной материи, изжеванной и выплюнутой за дальнейшей непригодностью… «Белые карлики»!

Старик Полковник не из тех, кто понапрасну сотрясает воздух: у него возник вполне конкретный план. Знаете ведь этих «белых карликов» — наиплотнейшие инертные звезды, образовавшиеся в результате самых бурных взрывов, скопления вдавленных друг в друга ядер металлов, раскаленных добела, которые, продолжая медленно вращаться на заброшенных орбитах, постепенно превращаются в холодные и тусклые могилы элементов.

— Попутного Ggge ветра! — усмехается Eggg. — Пускай несут ее потоки электронов! А я останусь дожидаться, когда Солнце со всем, что вертится

вокруг него, превратится в старого-престарого «карлика». Я выдолблю себе нишу среди самых твердых атомов, я вытерплю огонь любого накала, — только бы в итоге оказаться в тупике, на запасном пути, причалить к берегу, откуда не отчаливают…

И он смотрит вверх уже тем взглядом, какой будет у него, когда он станет «белым карликом», когда вращение галактик, где зажигаются и гаснут голубые, желтые и красные огни, сгущаются и вновь рассеиваются облака мельчайшей пыли, будет уже не поводом для постоянных супружеских раздоров, а просто некой объективной данностью.

И все-таки я полагаю, что по крайней мере в первое время на заброшенном светиле он будет еще в мыслях спорить с Ggge. Не так-то просто ему будет перестать. Воображаю, как он, в одиночку преодолевая световые годы, продолжает ссориться с женой. Если все эти «Я же говорил!» и «Тоже мне новость!», комментировавшие рождение звезд, гонку галактик, охлаждение планет, все эти «Можешь радоваться!» и «Опять заладила…», что отмечали каждый эпизод, каждый этап, каждую вспышку их распрей и небесных катаклизмов, эти «Ну конечно, ты у нас всегда права!» и «Поче-

му ты никогда меня не слушаешь?», без каковых история вселенной казалась бы ему безвкусной, незапоминающейся, анонимной, — если когда-нибудь эта супружеская перебранка завершится, вот будет запустение, вот пустота!

Магнитная буря*

Раскаленная газообразная материя Солнца испытывает постоянное внутреннее возмущение, которое проявляется на солнечной поверхности в виде лопающихся как пузыри протуберанцев, пятен пониженной светимости, ярких вспышек с неожиданными выбросами вещества в пространство. Когда извергнутое Солнцем облако наэлектризованного газа, приближаясь к Земле, пересекает пояса Ван Аллена, наблюдаются магнитные бури и полярное сияние.

— Некоторым солнце внушает ощущение уверенности, постоянства, защищенности, — заметил Qfwfq. — Я не из их числа.

Говорят: «Вот оно, Солнце, оно было всегда, оно питает и согревает нас оттуда, сверху, через облака и ветры, всегда одинаково лучистое. Земля вертится вокруг него, одолеваемая бурями и всяческими катаклизмами, а оно — спокойное, невозмутимое — не двигается с места». Не верьте

*** Примечания: ***

Tempesta solare.

© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

этому. То, что мы именуем Солнцем, на самом деле — непрерывно взрывающийся газ, один сплошной взрыв, длящийся уже пять миллиардов лет с постоянным извержением вещества, бесформенный и беззаконный огненный тайфун, непредсказуемый источник произвола. И мы находимся внутри его, неправда, что мы — здесь, а Солнце — там. Все это — сплошная неразрывная круговерть концентрических токов, единая ткань, — где гуще, где пореже, — рожденная одним исходным облаком, которое когда-то, сжавшись, вспыхнуло.

Да, та материя, которую Солнце извергает до сих пор, — осколки частиц, разрушенные атомы, — располагаясь вдоль магнитных линий, протянувшихся от одного земного полюса к другому, создала вокруг Земли подобие незримой оболочки. Это позволяет делать вид, будто бы мы живем в отдельном мире, где между причинами и следствиями существует некая взаимосвязь, изучив которую мы сможем ею управлять и уберечься от пучин вихрящихся вокруг нас в беспорядке элементов.

Я вот, например, стал капитаном дальнего плавания, принял командование пароходом «Галлей», и вот теперь, фиксируя в бортовом

журнале широты и долготы, ветры, показания метеоприборов, радиосообщения, я приобщился к вашей убежденности, будто земною жизнью управляют зыбкие условности. Чего еще желать? Курс выверен, море спокойно, завтра мы увидим знакомые берега Уэльса, пару дней спустя войдем в темные воды устья Мерси, чтобы бросить якорь в пункте назначения — Ливерпульском порту. Жизнь мою определяет календарь, где расписаны мельчайшие подробности: от следующего плавания меня отделяют считанные дни, которые я проведу в своем спокойном загородном доме в Ланкашире.

В рубку заглядывает мистер Эванс, мой помощник.

— Lovely sun, sir![21] — И он улыбается. Я киваю — Солнце, что и говорить, для этого сезона и для этой широты необычайно ясное. Приглядевшись, я — благодаря своему дару смотреть в упор на него и не слепнуть — ясно различаю корону, хромосферу, размещение пятен и вижу… вижу то, о чем вам вряд ли стоит говорить: какие катаклизмы в этот миг сотрясают раскаленные глубины, как обрушиваются, пылая, солнечные

---

[21] Примечания: 51
Чудное солнце, сэр! *(англ.)*

континенты, как океаны пламени, переполняясь и выплескиваясь за края горнила, устремляются потоками невидимого излучения к Земле почти со скоростью света.

Из переговорной трубы доносится сдавленный голос рулевого Адамса:

— Стрелка компаса… Сэр, стрелка… Ну и чертовщина! Кружит как рулетка!

— Он что, под мухой?! — восклицает Эванс, но я-то знаю: все в порядке, все начинает идти своим порядком, знаю, что сейчас сюда примчится Симмонс, наш радист. Вот он, с вытаращенными глазами, — чуть не опрокинул Эванса, стоящего в дверях.

— Пропала связь, сэр! Слушаю полуфинал по боксу, и вдруг обрыв! И больше никакая станция не ловится!

— Что делать, капитан? — орет мне в трубку Адамс. — Компас сбрендил!

На Эвансе лица нет.

Пора дать им почувствовать мое превосходство.

— Спокойно, господа, это магнитная буря. Делать нечего. Препоручите свои души тому, во что кто верит, и сохраняйте хладнокровие.

Я выхожу на полубак. Висящее в зените Солнце

превратило замершее море в зеркало. Застыв, стихия сделала наш «Галлей» грудой слепого лома, оживить который не способны никакие человеческие умения и таланты. Плаваем мы в Солнце, внутри солнечного взрыва, где бессильны и буссоли, и радары. От Солнца мы зависели всегда, хотя почти всегда нам удавалось забывать об этом, верить, будто произвол его нам нипочем.

И тут я замечаю ее. Подняв глаза к фок-мачте, вижу: она там. Ухватившись за флагшток, реет многомильным флагом, развеваясь на ветру, не только волосы — вся, все ее тело, столь же легкое, пылеобразное, — руки с тонкими запястьями и пышными плечами, округлые как месяц бедра, грудь как облако, нависшее над фальшбортом, складки драпировки, смешивающиеся с дымом из трубы, а дальше — с небом. Все это я видел в наэлектризованном пространстве, но яснее всего ее лицо — растворенную в воздухе скульптуру, какими украшали в прошлом корабельные носы, величавую голову Медузы с потрескивающими глазами и волосами. Она, Rah, все-таки меня настигла.

— Вот она ты, Rah, — сказал я, — все-таки нашла меня.

— А что это ты вдруг решил укрыться там, внизу?

— Хотел проверить, можно ли существовать иначе.

— Ну и как же, можно?

— Здесь я вожу суда по курсам, выверенным с помощью буссоли, ориентируюсь по компасу, мои приборы ловят радиоволны, здесь на все, что происходит, есть свои причины.

— И ты веришь в это?

Из радиорубки слышались проклятья Симмонса — тот тщился в треске электрических разрядов поймать какую-нибудь станцию.

— Нет, но я предпочитаю вести себя, как будто это так и есть, — сказал я Rah, — и до последнего играть по правилам.

— А если ясно, что нельзя?

— Тогда ложимся в дрейф. Однако же готовы в любой миг взять управление в свои руки.

— Вы сам с собой беседуете, сэр? — вновь показался белый как мел Эванс.

Я сделал важный вид.

— Пойдите, мистер Эванс, помогите Адамсу. Я полагаю, колебания магнитной стрелки будут определяться некими константами. Можно рассчитать примерный курс, а ночью будем плыть

по звездам.

Ночью небосвод покрыли полосы полярного сияния, изогнутые как на спине у тигра. Rah с огненною гривой, в изысканном наряде, красовалась, возлежа на корабельных реях. Ориентироваться было невозможно.

— Ну вот мы и на полюсе, — заметил остряк Адамс, прекрасно знавший, что магнитные бури могут вызывать сияние на какой угодно широте.

Я смотрел на Rah в ночи: роскошная прическа, драгоценности, переливающиеся одежды.

— Ты принарядилась.

— Праздник все-таки — тебя нашла, — ответила она.

Мне радоваться было нечему — я вновь стал подневольным, выношенный мною план не удался.

— Все хорошеешь, — признал я.

— Ты почему сбежал? Зачем забрался в эту дыру, зачем позволил поймать себя в ловушку мира, где все имеет свои пределы?

— Я сам так захотел, — ответил я, зная, что меня ей не понять. Она не мыслила жизни иначе как в ничем не ограниченных пространствах, прорезаемых лучами, среди магнитных бурь, бросавших нас туда-сюда, она могла жить только там, где

речи нет о формах и размерах.

— Опять прикидываешься, будто сам решаешь, выбираешь, определяешь? — сказала Rah. — Дурацкая привычка!

— Ты-то как сюда проникла? — осведомился я. Как она смогла преодолеть ионосферу? Сам не раз слыхал, как Rah натыкалась на нее словно бабочка, бьющаяся крылышками об оконное стекло. — Как ты сюда попала, расскажи.

Она пожала плечами.

— Порыв солнечного ветра, брешь в потолке — и вот я здесь, чтобы забрать тебя обратно.

— Забрать меня? Но ты теперь сама в ловушке. Как ты отсюда выберешься?

— Я останусь здесь. С тобой, — ответила она.

— Катастрофа, сэр! — раздался голос Симмонса, бежавшего ко мне по палубе. — Все бортовое электрооборудование перегорело!

Укрывшийся за крышкой люка Эванс схватил радиста за руку и стал, судя по жестам, внушать ему, что обращаться ко мне без толку, магнитная буря, мол, свела меня с ума и я, смотря на мачты, разговариваю сам с собой.

Я попытался поддержать собственный престиж.

— Океан пронизывают сильные электрические

токи, — объяснил я, — напряжение в проводах растет, и пробки, естественно, перегорают. — Но теперь в их взглядах не читалось никакого уважения к моему рангу.

На следующий день магнитная буря над океаном ощущалась только на борту нашего судна и на немалом расстоянии вокруг. «Галлей» все так же двигался за Rah, привольно раскинувшейся в воздухе, цепляясь пальцем за радар, громоотвод или верхушку дымовой трубы. Компас походил на рыбку, бьющуюся в банке, радио по-прежнему бурлило как кастрюля, где варится горох. Посланные нам на помощь корабли не находили «Галлея»: по мере приближения к нам их приборы выходили из строя.

Ночью над «Галлеем» светилось, словно полосатое знамя, наше персональное полярное сияние. По нему-то нас и обнаружили спасательные суда. Не приближаясь к нам, чтобы не подхватить таинственную магнитную болезнь, они привели корабль на ливерпульский рейд.

По портам пошла молва: где капитан «Галлея», там аварии в электроустановках и полярные сияния. Да еще мои подручные болтали, будто я поддерживаю связь с невидимыми силами. Конечно, меня отстранили от командования

«Галлеем», на получение другого судна надежды тоже не было. К счастью, на средства, скопленные мной за годы плаванья, я смог купить старый загородный дом в Ланкашире, где, как я говорил, я проводил обычно время между выходами в море, ставя свои любимые эксперименты: я прогнозировал явления природы и замерял их показатели. Дом был полон созданных мной точных измерительных приборов, среди которых был и монохроматический гелиограф, и всякий раз, сходя на берег, я с нетерпением ждал возможности заняться делом.

Итак, я поселился в Ланкашире со своей супругой Rah. И сразу у соседей в радиусе многих миль забарахлили телевизоры. Нормального изображения как не бывало: на экранах мельтешили черные и белые полоски, будто бы туда вбежала зебра, донимаемая блохами.

Я знал, что о нас ходят толки, но не беспокоился: похоже, соседи относили неполадки главным образом на счет моих экспериментов, полагая, что мои приборы до сих пор работают как прежде. Они не представляли, что у меня за жена, никогда не видели ее и не подозревали, что у нас в доме не работают не только никакие механизмы, но и электрическое освещение.

Из наших окон в темное время пробивался только свет свечей, и дом наш выглядел зловеще. Многие в округе теперь не спали по ночам, смотря, как светится полярное сияние, отныне характерное для этих мест, и немудрено, что относились к нам все подозрительней. Потом стали сбиваться с курса и с ритма перелетные птицы: в разгар зимы вдруг прилетели аисты, на вересковые пустоши садились альбатросы.

Как-то заглянул к нам пастор, его преподобие Коллинз.

— Я бы хотел потолковать, господин капитан, — он откашлялся, — кое о каких явлениях, имеющих ныне место на территории нашего прихода… не так ли?.. И о некоторых слухах…

Он стоял в дверях. Я пригласил его войти. Он не сумел скрыть оторопи, увидав, что в нашем доме все разбито вдребезги и перемешано: осколки стекол, щетки генератора, обрывки навигационных карт.

— Это не тот дом, где я был на прошлую Пасху… — пробормотал он.

Я тоже на мгновение с тоской подумал о том, какой порядок царил в удобной и прекрасно оснащенной лаборатории, которую я демонстрировал ему в прошлом году. (Его преподобие очень

старался поддерживать учтивые отношения с окрестными жильцами, в особенности с теми, кто не относился к его пастве.)

Я опомнился.

— Да, кое-что мы переставили…

Пастор сразу перешел к цели своего визита. Все те странные явления, которые стали наблюдаться после того, как я привез сюда свою жену (он сделал ударение на этом слове), общественное мнение связывает именно со мною или с Госпожой Qfwfq (я вздрогнул), с которой никто, впрочем, не имеет счастья быть знакомым. Я молчал.

— Известно, каковы здесь люди, — продолжил его преподобие Коллинз. — До сих пор столько невежества и предрассудков… Само собой, прислушиваться ко всему, что говорят, нельзя… — И было непонятно, хочет ли он извиниться за неприязненное отношение прихожан или проверить, насколько пересуды обоснованны. — Но ходят несуразные слухи. Представляете, я слышал, будто бы ваша жена летала ночью над домами и раскачивалась на антеннах. «Как это? — спросил я. — Что же представляет собой эта госпожа Qfwfq? Она что, эльф, дух воздуха?» «Нет, — ответили мне, — это великанша, парящая

в воздухе как облако...»

— Нет, я вас уверяю, — начал я, и сам не зная, что я собираюсь опровергнуть. — Ей приходится лежать по состоянию здоровья... понимаете?.. Поэтому мы никуда и не ходим... Однако она дома... Rah теперь почти все время дома... Если хотите, я вас познакомлю...

Конечно, его преподобие Коллинз только этого и ждал. Мне пришлось вести его в большой старый сарай, где во времена, когда здесь находилась ферма, стояли молотилки и сушилось сено. Окон не было, свет пробивался в щели, в воздухе висела пыль. И в этой пыли ясно вырисовывалась занимавшая все помещение Rah. Чуть свернувшись калачиком, она держала одну руку на колене, а другой поглаживала как ангорского кота катушку Резерфорда. Ей приходилось пригибаться — потолок был слишком низок для нее. Как только она отрывала руку от катушки, чтобы заслонить зевок, медный провод начинал искрить, и Rah прищуривалась.

— Сидит, бедняжка, взаперти, скучает с непривычки, — стал я объяснять, хотя на самом деле мне хотелось выразить другое — гордость, наполнявшую меня при виде этой сцены. Вот что сказал бы я, если б хоть кто-нибудь мог здесь меня

понять: «Смотрите, как переменилась Rah, — ведь явилась сюда настоящая фурия, и могли кто-нибудь подумать, что я смогу ужиться с бурей, усмирить ее и приручить?»

Думая об этом, я чуть не забыл о пасторе. Я обернулся — его не было. Сбежал! Вон, перескакивает через ограды, отталкиваясь зонтиком…

Теперь я жду самого худшего. Я знаю, что соседи, образовавшие вооруженные отряды, окружают холм. Я слышу лай собак, призывные крики, временами шелест листьев у ограды, там, где они выставили аванпост, чтобы следить за мной. Они готовятся идти на приступ дома, может быть, хотят поджечь его, — число горящих факелов растет. Замышляют взять нас живыми или линчевать, а может, уготовили нам смерть в огне? Может быть, хотят спалить мою жену как ведьму? Или поняли уже, что никогда она не дастся?

Я смотрю на Солнце; судя по всему, оно вступило в стадию бурной активности, — пятна сжимаются, а запылавшие куда ярче пузыри, наоборот, выплескивают пламя. Растворяю сарай, впуская туда свет, и дожидаюсь вспышки посильнее, пущенной в пространство электрической струи, жду, что руки Солнца, прорвав разделяющую нас пелену, дотянутся сюда, и оно возьмет

свою дочь назад, чтобы опять пустить ее скакать по необъятным космическим равнинам.

Скоро снова заработают все телевизоры в округе, моющие средства и красотки возвратятся на экраны, наши преследователи расформируют свои отряды, все возвратятся к своим повседневным рациональным рационам. И я смогу восстановить свою лабораторию и вновь зажить той жизнью, какую вел до этой вынужденной паузы.

Только не надо думать, что при Rah я изменил своей линии поведения, сдался, видя, что мне никуда не деться, что она сильнее. Нет, я разработал план еще сложнее прежнего, разгаданного Rah, и этот должен быть осуществлен с ее участием, наперекор ей и одновременно ради нее, да чего там — из любви к ней. Единственно возможный способ завершения наших отношений — среди крошева приборов и мельчайшей пыли электромагнитных колебаний придумать новые приборы, новые меры и произвести расчеты, позволяющие познать и научиться контролировать межпланетную магнитную бурю, которая пронизывает, сотрясает, швыряет нас, — короче, вытворяет с нами все, что хочет, через призрачный ионизированный зонтик. Вот чего хотел я. И

теперь, когда она молнией взмывает к огненному шару, а я, снова овладев собой, принимаюсь собирать обломки моих механизмов, — теперь я вижу, сколь ничтожны эти обретенные мной возможности.

Наши гонители пока что ничего не замечают. Вон они, бегут сюда, вооруженные трезубцами, дубинами и карабинами.

— Радуйтесь! — кричу. — Ее здесь больше нет! Возвращайтесь к своим компасам и телевизорам! Все в порядке! Rah отсюда убралась. Но вы не знаете, чего лишились. Не представляете, что я задумал, что я собирался для вас сделать, что могло бы значить присутствие Rah — катастрофической, невыносимой Rah — и для меня и для всех вас, идущих линчевать меня!

Они остановились. Им не ясен смысл моих слов, они не верят им, не знают, пугаться их или, наоборот, воспрянуть духом. Впрочем, я и сам не понимаю, что сказал, не верю сам себе, не знаю, чувствовать ли облегчение, мне тоже страшно.

Раковины и время*

Morning Fog (Утренний туман). Балкомб Грин. 1976

*** Примечания: ***
Le conchiglie e il tempo.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



Свидетельства существования жизни на Земле, очень скудные по докембрийскому периоду, вдруг появляются в большом количестве примерно 520 миллионов лет назад. Действительно, в кембрийский и ордовикский периоды живые организмы начинают формировать из себя известковые раковины, которые дойдут до нас в виде окаменелостей в геологических пластах.

— Как по-вашему, кто пробил брешь в то измерение, в котором все вы пребываете и думаете, что возникли в нем и для него? Это был я! — раздался возглас вылезшего из-под раковины Qfwfq. — Я, жалкий моллюск, обреченный жить одним днем, вечный пленник нескончаемого настоящего. Напрасно делаете вид, что понимаете, — вы все равно не догадаетесь, о чем я говорю. Я говорю о времени. Если б не я, его бы не было.

Так как — поймите меня правильно — о том, каким может быть время, и даже что вообще нечто подобное возможно, я понятия не имел. Дни и ночи бились в меня словно волны — взаимозаменяемые, одинаковые или отмеченные случайными различиями, и невозможно было в этом взад-вперед увидеть смысл, понять его законы. Но когда я начал строить себе раковину,

то намерения мои уже были каким-то образом сопряжены со временем: хотелось обособить собственное настоящее от едкой смеси всех чужих, держать его отдельно, в стороне. Настоящее надвигалось на меня во множестве различных проявлений, согласовать которые друг с другом мне никак не удавалось, — волны, ночи, зимы, часы после полудня, фазы Луны, приливы и отливы, пики зноя… Я боялся потеряться, раскрошиться на стольких «я», сколько частичек настоящего летело на меня, накладываясь друг на друга, — способных сосуществовать и, значит, содержать одновременно множество частиц меня.

Этот сплошной неисчислимый поток для начала требовал разметки — установления с помощью фиксированных знаков ряда интервалов, то есть чисел. Известковое вещество, которое я выделял, закручивая его вокруг себя спиралью, шло непрерывно, но при этом каждый виток оказывался отделенным от другого витка спирали, поэтому, возникни у меня желание что-либо считать, я мог бы начать подсчитывать эти витки. Короче, я хотел создать себе замкнутое время, принадлежащее лишь мне и регулируемое мной одним, часы, которым бы не приходилось никому давать отчет в том времени, которое они показывают. Мне

хотелось создать нескончаемое и непрерывное время-раковину, длить и длить мою спираль до бесконечности.

Я посвятил себя этому целиком, и, без сомнения, не я один, в ту пору многие пытались строить раковину без конца. Кому это удастся, мне или другому, было не так важно, главное — чтобы хоть у кого-то получилась бесконечная спираль, ведь это значило бы, что отныне время существует. И тут я должен сказать то, что мне признать труднее всего (как и согласиться с тем фактом, что я здесь и с вами говорю). Получавшееся время не способно было удержаться, оно распадалось, обрушивалось, как песчаный берег, оно было граненым, как кристалл соли, разветвленным, как коралловые рифы, дырчатым, как губка (но через какую дырку, сквозь какую брешь я просочился сюда, я не скажу). Бесконечная спираль не удавалась: раковина росла, росла и вдруг закрывалась, раз — и точка, все заканчивалось. Начиналась новая, с другой стороны, каждый миг их возникали тысячи, тысячи тысяч продолжали расти, закручивать свои спирали, но рано или поздно каждая прекращала рост, и волны уносили прочь пустую оболочку.

Трудились мы впустую: время не хотело длить-

ся, эта хрупкая субстанция была обречена. То, что мы приняли за время, оказалось лишь иллюзией, которая продолжалась столько, сколько требует создание спирали раковины, это были крохи времени, оторванные и отличающиеся друг от друга, — одна здесь, другая там, друг с другом не соединимые и не сравнимые.

Следы наших настойчивых усилий заносило песком, который само схожее со множеством песчинок время иногда вздымало ветром и опять обрушивало вниз, на пустые раковины, раз за разом погребая их в недрах плоскогорий, которые то выступали, то скрывались вновь — когда моря, возвращаясь, затопляли континенты, снова осыпая их градом пустых раковин. Так из нашей неудачи складывался состав мира.

Могли ли мы предположить, что это кладбище всех раковин и было истинною раковиной, той, что мы старались всеми силами создать и думали, что не смогли? Теперь понятно: крах наших попыток создать время как раз вел к его созданию, но только мы работали не для себя, а для других, для вас. Мы, моллюски, первыми задумавшие длиться, подарили наше достояние — время — самым переменчивым из всех, кто обитает в сфере временного, — людям, которые сами никогда

бы до такого не додумались. Трещина в земной коре вытолкнула наши раковины, пролежавшие в толще сотню, три, пять сотен миллионов лет, наружу, и вам открылось вертикальное измерение времени, освободившее вас от монотонного вращения зодиака, с которым вы соизмеряли по старинке ваше фрагментарное существование.

Нет, и у вас, конечно, тоже есть свои заслуги — вы прочли написанное между строк земной тетради (видите, я применил вашу избитую метафору — от письменности никуда не деться, так что мы уже не на моей — на вашей территории), вы четко проартикулировали искаженные письмена нашего невнятного алфавита, перемежающиеся тысячелетиями безмолвия, составив из них складное повествование о вас. Но как бы вы нас вычитали там, если бы мы — не зная, что из этого получится, или, наоборот, прекрасно зная, не захотели бы себя — опять же выражаясь вашим языком — туда вписать, не захотели бы запечатлеть себя, стать знаком, отношением, связью с другими, вещью, которая, будучи такой как она есть в себе и для себя, соглашается быть для других другой…

Должен же был кто-нибудь начать не столько делать, сколько делаться, делать тем, что делает

он и себя, и делать так, чтоб все оставленное, все погребенное являлось знаком чего-нибудь другого, — отпечаток рыбьих косточек на глине, обугленные нефтеносные леса, следы конечностей техасского динозавра в отложениях мелового периода, надбитые булыжники палеолита, обретенный в тундре della Bereskova скелет мамонта с зажатыми двенадцать тысяч лет назад в зубах лютиками, виллендорфская Венера, руины Ура, свитки degli Esseni, кончик лонгобардского копья, обломленный в Торчелло, храм Храмовников, ценности инков, Зимний дворец и Смольный институт, кладбище автомобилей…

Из наших прерванных спиралей вы составили сплошную, которую называете историей. Не знаю, стоит ли вам радоваться, — не могу судить о том, что не мое. Для меня это лишь время-отпечаток, след того, что нам не удалось, изнанка времени, напластование развалин, раковин, некрополей, поленниц — того, что, пойдя прахом, уцелело, что остановилось и поэтому дошло до вас. Ваша история — противоположность нашей, это история того, что двигалось, да не дошло, что, продлив себя, погибло, — руки, которая вылепила чашу, книжных полок, сожранных огнем в Александрии, красноречия законоведа, мякоти

моллюска, строившего раковину…

Память мира*

Composition. Сочинение. Алекос Контопулос

*** Примечания: ***
La memoria del mondo.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

Вызвал я вас, Мюллер, вот зачем. Я ухожу в отставку, и преемником моим станете вы, вопрос о вашем назначении директором уже решен. Не нужно делать изумленный вид — ведь слух об этом ходит так давно, что, надо думать, дошел он и до вас. Из наших молодых сотрудников вы, Мюллер, несомненно, самый подготовленный, вы, так сказать, постигли все секреты нашей деятельности. По крайней мере складывается такое впечатление. Хочу отметить, что я с вами говорю не по своей инициативе, а по поручению руководства. Лишь кое в каких вопросах вы пока еще не сведущи, и вот теперь настало время вам войти в курс дела, Мюллер. Вы думаете, — впрочем, как и все, — что наша корпорация уже который год занимается созданием крупнейшего центра информации за всю историю, электронного каталога, где будет собрано и систематизировано все известное о каждом человеке, животном, вещи с целью всеобщей инвентаризации не только настоящего, но и прошедшего, всего, что было, начиная с самого начала, то есть что мы создаем всеобщую историю всего сразу, точнее, каталог всего, мгновенье за мгновеньем. Мы действительно работаем над этим и достигли, что скрывать, приличных результатов: в памяти

наших компьютеров уже заключено не только содержание всех крупнейших библиотек, архивов и музеев мира и годовых комплектов газет всех стран, но и досье *ad hoc*[22] на множество отдельных лиц и мест. И весь этот материал мы подвергаем процедуре сведения к самой сути, конденсации, уменьшения в размерах до пока еще неведомого нам самим предела, так же, как все сущие и потенциальные изображения ныне запечатлеваются и будут запечатлеваться впредь на крошечных бобинках микрофильмов, все записанные и допускающие запись звуки — на микрокатушечках с магнитной лентой. Мы хотим создать централизованную память рода человеческого и, по типу памяти отдельных индивидов, стараемся вместить ее в как можно меньшее пространство.

Нет смысла повторять все это тому, кто занял это место, превзойдя всех прочих соискателей благодаря проекту «Весь Британский музей в одном каштане». Вы трудитесь у нас не так уж много лет, но о работе всех наших лабораторий знаете не менее меня, хотя я возглавлял учреждение с момента основания. Поверьте мне, я

---

[22] Примечания: 54
Здесь: специально собранные *(лат.)*.

никогда бы не оставил эту должность, если б мне не изменили силы. Но после таинственного исчезновения моей жены я впал в депрессию, из которой до сих пор не вышел. Неудивительно, что наше руководство, — впрочем, идя навстречу моему желанию, — приняло решение заменить меня. Поэтому теперь я должен посвятить вас в те служебные тайны, которые до сей поры от вас замалчивались.

Вам неведома истинная цель нашей работы. А мы ведем ее на случай конца света, Мюллер. То есть работаем, имея в виду, что вскоре жизни на Земле придет конец. Для того чтобы все не пропало зря, чтобы передать все, что мы знаем, тем, о ком нам не известно ни кто они такие, ни что им вообще известно.

Угостить вас сигаретой? Мысль, что Земле еще недолго оставаться обитаемой, — во всяком случае, людьми, — нас вряд ли может потрясти. Все мы знаем: Солнце уже достигло середины отмеренного ему срока, в лучшем случае еще четыре-пять миллиардов лет — и все. Так что проблема эта все равно бы вскоре встала. Просто сроки сильно сократились, время поджимает, вот и все. Вымирание человечества, конечно, — перспектива невеселая, но оплакивать

его настолько же бессмысленно, как сожалеть о том, что смертен каждый человек (простите, что я так волнуюсь, но меня не покидают мысли об утрате моей Анджелы). На миллионах неведомых планет наверняка живут подобные нам существа, и несущественно, что вспоминать и продолжать нас будут их потомки, а не наши. Главное — передать им нашу память, всеобщую память, выверенную организацией, директором которой вскоре вас назначат, Мюллер.

Не пугайтесь: сфера вашей деятельности будет такой же, как и прежде. Порядок передачи нашей памяти другим планетам разрабатывает другой отдел. А мы здесь заняты своей работой, и нам мало дела до того, какие средства будут сочтены более пригодными — оптические или акустические. Вероятно даже, сообщения будут не передаваться, а размещаться на хранение в надежном месте, под земной корой; возможно, рано или поздно до остатков нашей планеты, путешествующих в пространстве, доберутся и начнут исследовать их археологи какой-нибудь другой галактики. Не наше дело и какой код или коды будут выбраны, — тому, как сделать наши информационные ресурсы доступными для понимания других, какая бы языковая система ни

была у них в ходу, посвящены усилия специального отдела. Теперь вы знаете все это, но для вас, поверьте, это не меняет ничего, кроме того, что на ваши плечи ляжет большая ответственность. Об этом я немного и хотел поговорить.

Что будет представлять собой род человеческий к началу вымирания? Определенный объем информации о нем самом и окружающем мире — конечное ее количество, поскольку она уже не будет прирастать и обновляться. На протяжении некоторого времени у мира были особые возможности для сбора и переработки информации, а также для ее создания, для извлечения ее оттуда, где ее как будто нет и быть не может, — я имею в виду срок существования жизни на Земле, в особенности — рода человеческого, его памяти, его изобретений, позволяющих осведомлять и помнить. Наше учреждение гарантирует сохранение всей этой информации вне зависимости оттого, будет ли она воспринята другими. Именно директор должен тщательно следить за тем, чтоб ничего не упустить, поскольку если что-нибудь не будет учтено, то это все равно как если бы его и не было. Директору же следует заботиться о том, чтобы как будто не было всего того, что в конечном счете лишь внесло бы путаницу в

более существенные сведения, бросило бы тень на них, всего того, что не добавило бы данных, а только создало б ненужный беспорядок и помехи. Главное — построенная на основе полного объема информации общая модель, позволяющая получить другие сведения, которые мы не приводим и которыми, возможно, не располагаем. В общем, не дав каких-то сведений, можно на самом деле предоставить больше информации, чем если дать их. Конечным результатом нашего труда станет модель, где будет информативно все, включая то, чего там и не будет. Лишь тогда станет понятно, что же из всего того, что было, в самом деле что-то значило, то есть что на самом деле было, так как в конце концов наша документация будет отражать лишь то, что было, то, что есть, и то, что будет, и больше ничего.

Само собой, в нашей работе случаются моменты, — и у вас наверняка случались, Мюллер, — когда возникает искушение подумать, будто важно то, что остается неучтенным, будто бы в действительности существует только то, что, проходя, не оставляет никаких следов, а все хранимое в наших архивах мертвенно, там лишь отходы, шлак. Настает момент, когда зевок, летящая муха, ощущение зуда становятся единственно ценны как

раз по той причине, что их невозможно как-либо использовать, о них тотчас же забывают, и они избавлены от монотонного удела пребывания в памяти мира. Разве можно исключить, что мир на самом деле есть как раз прерывистая сеть не поддающихся фиксации мгновений, а учреждение наше контролирует лишь негативную его матрицу, оправу пустоты и ничтожности?

Но мы все страдаем профессиональной деформацией: как только что-то попадает в поле зрения, нам сразу хочется внести его в наши электронные архивы. Признаюсь вам, нередко мне случалось каталогизировать зевки, фурункулы, насвистывания, неприличные ассоциации, скрывая их в блоках самой ценной информации, поскольку пост директора, который вскоре вы займете, предоставляет привилегию оставить личный след в памяти мира. Поймите, Мюллер, я имею в виду не произвол, не злоупотребление властью, а необходимый компонент нашей работы. Масса индифферентно-объективных, непреложных сведений сопряжена с опасностью нарисовать картину, далекую от истины, представить специфические особенности ситуации в ложном свете. Вообразите, что до нас дошло с другой планеты сообщение, содержащее

исключительно фактические данные, вполне прозрачное, — ведь мы не обратим внимания, даже не заметим его. Только сообщение, в котором будет нечто недосказанное, сомнительное, не вполне понятное, пробьется к нашему сознанию, заставит воспринять его и дать ему какую-то трактовку. Поэтому директор должен придавать тем данным, которые отобрали наши службы, тот легкий отпечаток субъективности, ту толику рискованного, спорного, которые и сделают эти сведения достоверными. Вот об этом я хотел предупредить вас, прежде чем сдавать дела: в собранных на сей момент материалах вы кое-где заметите мое вмешательство, — конечно, чрезвычайно деликатное, — вам встретятся отдельные мои суждения, недомолвки, даже ложь.

Ложь исключает правду лишь на первый взгляд; как вам известно, во многих случаях она, — к примеру, ложь пациента психоаналитику, — настолько же, а то и более показательна, чем правда. Из этого и будут исходить те, кто займется толкованием наших сообщений. И это я вам, Мюллер, говорю уже не от имени начальства, а исходя из собственного опыта, — как ваш коллега, просто как человек. Поверьте мне, во лжи-то и заключена та истинная информация,

которую должны мы передать. Поэтому я не счел нужным запрещать себе умеренную ложь в тех случаях, когда она не усложняла сообщение, а даже упрощала его. Прежде всего, в информации о собственной персоне я позволил себе привести немало частностей, не соответствующих истине (что вряд ли, думаю, кого-нибудь смутит). Жизнь с Анджелой, к примеру, я описал такой, какой бы мне хотелось, чтоб она была, — как великую историю любви двоих навек влюбленных, страстных, верных и счастливых, невзирая ни на какие превратности судьбы. На самом деле было несколько иначе, Мюллер: в брак со мною Анджела вступила по расчету, сразу пожалела, и существование наше превратилась в нескончаемую череду придирок и уловок. Но какая разница, что совершалось день за днем на самом деле? Образ Анджелы в памяти мира навеки безупречный и ничем не омраченный, а я на веки вечные останусь мужем, наиболее достойным зависти из всех мужей на свете.

Сперва мне просто приходилось приукрашивать то, что я видел в повседневной жизни. Но с некоторых пор та информация, которую я получал, наблюдая каждый день за Анджелой (потом — подглядывая за ней, и, наконец, когда

уже ходил за нею по пятам), стала делаться все противоречивее, все двойственнее, оправдывать позорные подозрения. Что было делать, Мюллер? Омрачить, запутать такой ясный и легко отобразимый образ Анджелы, такой любимой и любви достойной, замутнить кристальнейшее сообщение во всем объеме данных? Нет, такие сведения я устранял без колебаний, день за днем. Но все равно боялся, что близ итогового ее образа останется какой-то признак, какой-нибудь намек, какой-то след, на основании которого можно будет заключить, что в преходящей жизни Анджела представляла собой и что творила. Я, Мюллер, целые дни напролет просиживал в лаборатории, отбирая, аннулируя и опуская. Я ревновал — не эфемерную Анджелу, которую уже я потерял, а виртуальную, которая должна жить до скончания веков.

Чтобы виртуальная осталась незапятнанной, необходимо было, чтоб живая перестала налагаться на свой образ. И тогда живая Анджела исчезла, и все поиски ее ничем не увенчались. Что я буду тут рассказывать вам, Мюллер, как я избавлялся от тела по частям… Ну, ну, спокойнее, эти подробности никак не скажутся на целях нашей деятельности, поскольку во всемирной

памяти я остаюсь счастливым мужем, а потом — не находящим утешения, как все вы знаете, вдовцом. Но все равно я не обрел покоя, так как виртуальная Анджела по-прежнему являлась частью системы информации и некоторые сведения — вследствие помех при передаче или злонамеренности дешифровщика — могли дать основания для подозрений, для инсинуаций, ложных умозаключений. Я решил изъять из нашей электронной памяти все связанное с теми, с кем Анджела могла быть в близких отношениях. При этом очень сожалел о том, что некоторые наши коллеги без следа исчезнут из всемирной памяти, как будто бы их никогда и не существовало.

Думаете, Мюллер, я ищу у вас сочувствия? Да нет, не в этом дело. Я вам должен сообщить о крайних мерах, которые обязан предпринять для устранения из наших электронных каталогов всякой информации о каждом вероятном любовнике моей жены. Что в связи с этим может произойти со мной, меня не очень-то заботит — по сравнению со всегда служившей для меня мерилом вечностью осталось мне не так уж много, а каков я был на самом деле, я раз и навсегда решил уже давно и зафиксировал все это в нашей базе данных.

ITALO CALVINO

COSMICOMICHE

VECCHIE E NUOVE

GARZANTI



Поскольку во всемирной памяти все идеально, остается скорректировать реальность, чтоб они ни в чем друг другу не противоречили. И как я устранил следы существования любовника моей жены из электронных каталогов, так же должен устранить их и из мира живых людей. Поэтому я вынимаю пистолет, прицеливаюсь в вас, спускаю курок и убиваю вас, Мюллер.

Трансформированные космикомические истории

Обложка первого издания«Cosmicomiche vecchie e nuove» (Трансформированные космикомические истории), 1984.

ITALO CALVINO

COSMICOMICHE

VECCHIE E NUOVE

GARZANTI



Ничто и малость*

По расчетам физика Алана Гута из Стэнфордского Центра Линейного Ускорителя, Вселенная возникла буквально из ничего за чрезвычайно малый промежуток времени — долю секунды, полученную от деления ее на миллиард миллиардов («Вашингтон пост», 3июня 1984 г.).

— Если я скажу, что помню это, — начал QfSvfq, — вы возразите, что в ничем нет ничего, способного что-либо помнить и кому-либо запомниться, поэтому нельзя поверить ни слову из того, что я вам собираюсь рассказать. И в самом деле, опровергнуть этот довод нелегко. Скажу лишь, что с того момента, когда что-то появилось, — а поскольку ничего иного не было, из этого чего-то в тот момент вселенная и состояла, и поскольку раньше этого чего-то не было, то, значит, было «раньше», без него, и «потом», когда оно уже имелось, — так вот, с того момента появилось время и вместе с ним — воспоминания,

---

*** Примечания: ***

Il niente e il poco.

© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

а значит, тот, кто вспоминал, то есть я или то нечто, про которое потом мне стало ясно: это я и есть. Поймите правильно: я не хочу сказать, что помню, каким был в то время, когда ничего еще не имелось, так как тогда не было ни времени, ни самого меня. Но с того момента, о котором речь, я стал осознавать, — еще не зная о своем существовании, — что место для существования, то есть мир, уже имеется, а прежде мне, при всем желании, поместиться было негде — разница немалая, и помнил я как раз вот эту разницу между «потом» и «раньше». Так что, согласитесь, рассуждения мои логичны и в отличие от ваших упрощенчеством не грешат.

В общем, давайте расскажу все по порядку. Насчет того, что тогда было, точно не известно, было ли оно вообще: частицы, а точнее, компоненты будущих частиц существовали виртуально — это когда ежели ты есть, то будь себе, а если тебя нет, начни считать, будто ты есть, и посмотри, что будет. Нам казалось, этого не так уж мало, — и, конечно, так оно и было, ибо только если ты сначала существуешь виртуально, плаваешь в некоем поле вероятностей, берешь взаймы и отдаешь пока чисто гипотетические заряды энергии, — только тогда ты рано или поздно в самом деле можешь

начать существовать, то есть хоть немножко искривлять вокруг себя пространство — время, как случилось со все умножавшимися неизвестно чем — пусть называются красивым именем «нейтрино», но тогда никто ни о каких нейтрино и понятия не имел. Нейтрино эти колыхались впритык друг к другу в раскаленном и густом как клей бульоне, который вдруг расширился — в столь бесконечно малый промежуток времени, что временем это назвать никак нельзя, — то есть на самом деле просто не хватило времени продемонстрировать, что оно будет собою представлять, — и вот этот бульон, расширяясь, начал порождать пространство там, где его не было в помине. Так мир из бесконечно малого изъяна в безукоризненном ничем молниеносно вырос до размеров протона, дальше — до размеров атома, до острия булавки, спичечной головки, ложки, шляпы, зонтика…

Нет, я рассказываю слишком быстро или, может, слишком медленно, поскольку расширение вселенной было моментальным, но его источник был столь глубоко сокрыт в ничем, что для того, чтобы пробиться к рубежам пространства и времени, ему был нужен толчок силы, не соизмеримой ни с пространством, ни со временем.

Скажем так: для изложения всего случившегося в первую секунду истории вселенной не хватило бы и многих миллионов миновавших с той поры и будущих веков, в то время как историю всего, что было после, я мог бы провернуть за пять минут.

Вполне естественно, что принадлежность к этому беспрецедентному и, значит, несравненному миру вскоре стала поводом для гордости, похвальбы и всяческих восторгов. Открывшиеся вмиг невероятные дистанции, повсюду бившие фонтанами частицы (адрионы, барионы, мезоны, кое-где кварки), головокружительная скорость времени вселяли ощущение непобедимости, всевластия, гордости и в то же время самомнения, будто все это причиталось нам по праву. Единственное, с чем можно было это сравнивать, — с прежним ничем, которое старались мы не вспоминать как совершенно жалкое, ничтожное состояние, достойное сострадания или насмешки. Любая наша мысль обнимала все и игнорировала составные его части; нашей стихией было целое, включавшее и время, время в целом, где будущее превосходило прошлое количеством и полнотой. Нам суждено было все большее и большее, о меньшем мы отказывались мыслить

даже вскользь, нам предстояло двигаться от сумм к произведениям, степеням, факториалам, ни на миг не останавливаясь и не замедляя ход.

Не знаю, ощутил ли я, что за подобным воодушевлением крылась неуверенность, почти маниакальное желание уничтожить даже тень недавнего происхождения, лишь ныне, в свете узнанного мною позже, или это ощущение смутно будоражило меня уже тогда. Поскольку, несмотря на убежденность, будто всё — наша родная стихия, выросли-то мы из ничего, приподнялись над абсолютным отсутствием чего-либо едва-едва, и наш отрыв в пространстве и во времени от предыдущего — лишенного вещественности, протяженности и длительности — состояния необычайно мал. Меня пронизывали скоротечные, но острые ощущения зыбкости, как будто этому «всему», которое так силилось оформиться, не удавалось скрыть присущей ему хрупкости, лежащей в его основании пустоты, к которой мы могли вернуться с той же быстротой, как отдалились от нее. Поэтому так выводила меня из себя та нерешительность, с какой формировался мир. Я с нетерпением дожидался окончания его головокружительной экспансии — как для того, чтобы познать пределы мировых добра и зла, так и

предвкушая стабильность бытия. Отсюда же моя неодолимая боязнь того, что в случае остановки сразу же начнется спад, столь же стремительное возвращение к небытию.

И я ударился в другую крайность: «Полнота! Тотальность!» — утверждал я всюду и везде. «Будущее! — гласил мой стяг. — Грядущее!» «Слава беспредельности!» — провозглашал я, пробираясь сквозь вихрь неких неразличимых сил. «Возможности, смогите! — призывал я. — Действуй, действие! Проверьте себя, вероятности!» И мне чудилось уже, будто бы потоки частиц (а может, это были просто излучения?) содержат все возможные формы и силы, и чем больше я предвосхищал вокруг себя мир, полный энергичных сущностей, тем больше мне казалось, что они грешат преступной вялостью и пораженческим безволием.

Среди этих сущностей были, скажем так, и женские, то есть носительницы движущих зарядов, взаимодополняющих мои. На одну из них я обратил особое внимание: ее, горделивую и сдержанную, окружало силовое поле удлиненной обтекаемой формы. Для того чтобы она заметила меня, я стал с удвоенною силой выказывать свое довольство изобильностью вселенной, подчерк-

нуто непринужденно прибегал к космическим ресурсам, словно не привык испытывать в них недостаток, простирал себя в пространстве и во времени, тем самым демонстрируя свой оптимизм. Уверенный, что Nugkta (ее имя я узнал потом) — не такая, как все прочие, поскольку лучше понимает, что значит существовать, быть сопричастным сущему, я всеми средствами старался тоже отличиться от колеблющейся массы тех, кто все никак не мог привыкнуть к этой мысли. В результате я всем надоел и опротивел, однако ближе к ней не стал.

Я просчитался. Как я вскоре заметил, Nugkta совершенно не ценила всех моих усилий и старалась не выказывать мне никаких знаков внимания, за исключением — иногда — досадливого фырканья. Она держала себя так же сухо и немного апатично, как будто подтянув колени к подбородку, обхватив свои длинные ноги и немного оттопырив локти (как вы поняли, я описал ту позу, которую она бы приняла тогда, когда уже были колени, ноги и локти, точнее говоря, в комок был сжат весь мир, и всяк, кто находился в нем, невольно принимал такую позу, и у некоторых это получалось более естественно, как у нее). Сокровища со всего мира, которые я

бросал к ее ногам, Nugkta принимала с таким видом, словно говорила: «И всё?» Сначала это безразличие казалось мне притворным, но потом я понял: она просто давала мне урок, желая приучить меня владеть собой. Наверно я, с моей восторженностью, представлялся ей неискушенным простаком и верхоглядом.

Мне не оставалось ничего иного, кроме как переменить свой образ мыслей, поведение, стиль. Необходимо было выстроить реальные, практические отношения с миром, как у тех, кто точно предугадывает перспективы каждого явления с учетом его объективной значимости, не превозносясь, сколь велика бы она ни была. Так я надеялся предстать пред нею в более убедительном, перспективном и заслуживающем ее доверия свете. Удалось ли? Еще менее чем прежде. Чем больше ставил я на все солидное, реально достижимое, количественно измеримое, тем больше чувствовал, что выгляжу в ее глазах бахвалом и очковтирателем.

В конце концов я понял: для нее есть лишь один объект восхищения, одна-единственная ценность, один эталон совершенства — ничто. Не ко мне было обращено ее пренебрежение, а к миру. Всему сущему в ее глазах был свойствен

первородный недостаток: бытие казалось Nugkta пошлым и презренным вырождением небытия.

Мало сказать: данное открытие обескуражило меня, — оно явилось оскорблением всех моих воззрений, моей тяги к полноте, моих огромных ожиданий. Может ли быть кто-то менее совместим со мной, чем та, кому так дорого былое ничто? Конечно, основания у нее для этого имелись (я питал такую слабость к ней, что силился ее понять): ничто и в самом деле было столь абсолютным, однозначным и устойчивым, что все, претендовавшее на обладание неотъемлемыми качествами сущего, смотрелось приблизительным, ограниченным и зыбким; при сравнении его с ничем в глаза бросались его ущербность, загрязнения, изъяны; выходило, в полной мере можно положиться только на ничто. Какой же следовало сделать вывод? Отвернуться от всего и погрузиться вновь в ничто? Попробуйте! Однажды запущенный процесс перехода к бытию уже не остановишь, ничто осталось в прошлом, к которому возврата нет.

Бытие имело разные достоинства, в числе их то, что оно позволяло нам, достигнув наивысшей полноты, взять паузу для сожаления об утраченном ничем, меланхолического созерцания

пустоты во всей ее антиполноте. В этом смысле я готов был присоединиться к Nugkta, более того, никто не смог бы выразить это мучительное чувство убедительнее меня. Так думать было все равно что кинуться к ней с возгласом: «Как славно было б затеряться в бескрайних полях ничего!..» (Иначе говоря, я сделал нечто, равноценное такому возгласу.) И что ж она? С досадой обдала меня презрением. Не сразу осознал я, до чего был груб, и понял: о ничем нужно говорить (точнее, не говорить) куда тактичнее.

С тех пор, переживая кризис за кризисом, я потерял покой. Как же я мог настолько заблуждаться, что всеохватность полноты ставил превыше совершенства пустоты? Конечно, переход от полного небытия к бытию стал грандиозным новшеством, сенсацией, открытием, заведомо эффектным. Но сказать, что все переменилось к лучшему, нельзя. Ясной, безошибочной и безупречной ситуации пришла на смену сляпанная кое-как громоздкая конструкция, неясно, как еще не развалившаяся. Чем это столь потрясли меня так называемые чудеса света? Скудость имевшихся в наличии материалов сплошь и рядом предопределяла монотонность, перепевы или беспорядочные, непоследовательные попытки,

лишь немногим из которых суждено было какое-либо продолжение. Возможно, это был фальстарт, и в скором времени с того, что строило из себя мир, спадет личина, и ничто — единственное, чему присуща подлинная всеохватность, — снова воцарится в своей неодолимой полноте.

Теперь мне думалось, что лишь пустоты, паузы, недостающие связи, зияния, лакуны и прорехи в ткани времени осмысленны и ценны. Сквозь эти бреши наблюдал я за безмерным царством небытия, узнавая в нем свою единственную истинную родину, которую в миг помрачения я предал, — в чем раскаивался, — и теперь благодаря ей, Nugkta, обрел вновь. Да, да, обрел, поскольку при участии той, что вдохновляла меня, я мог бы пробираться в тесные приюты пустоты, пронзавшие толщу мира, и уноситься вместе с ней туда, где нет ни пространства, ни времени, ни вещества, ни формы.

Вот что требовалось нам, чтобы достигнуть наконец ничем не омраченного взаимопонимания. Могло ли что-нибудь теперь нас разделить? И все-таки порою между нами возникали неожиданные разногласия: я вдруг заметил, что стал относиться к сущему строже, чем она. Я с изумлением обнаруживал ее снисходительное, чтобы

не сказать сочувственное, отношение к усилиям, которые этот вихрь частичек прилагал, чтоб не распасться. (Там были уже вполне сложившиеся магнитные поля, атомные ядра, первые атомы…)

Нужно отметить: пока мир считали верхом всеохватности и полноты, вдохновлять он мог лишь на банальную риторику, но ежели его воспринимали как собрание всякой ерунды, откуда-то возникшей с краю ничего, тогда он вызывал симпатию, ободрение или по крайней мере благосклонный интерес к тому, чего же сможет он достичь. Я с удивлением отмечал, что Nugkta готова поддержать его, помочь ему — убогому, измученному, немощному миру. Я же со всей жесткостью настаивал: «Да здравствует ничто! Честь ничему и слава!», опасаясь, что такая ее слабость может нас отвлечь от нашей цели. Как реагировала Nugkta? По обыкновению, иронично фыркая, как и во времена, когда я чересчур усердно славил мир.

Я, как обычно, слишком поздно понял: и на этот раз она права. С ничем нас связывала лишь та малость, которую оно исторгло из себя как квинтэссенцию своей ничтожности. У нас был только один образ ничего — наш бедный мир. Все нам доступное ничто состояло в неких отношениях

с чем-то сущим, так как и само оно было лишь относительным ничем, тайно пронизанным желанием, искушением чем-нибудь да стать, раз уж в миг кризиса своей ничтожности оно дало начало миру.

Ныне, когда время уже отсчитало миллиарды минут и лет и мир неузнаваемо переменился по сравнению с тем, каким он был в те первые мгновения, когда пространство неожиданно вдруг обрело прозрачность, когда галактики обертывают ночь в свои искристые спирали, когда множество миров, вращаясь по орбитам солнечных систем, вынашивают в соответствии с космическими ритмами где-то Гималаи, где-то океаны, когда тьмы людей на всех материках страдают, радуются, педантично и настойчиво друг друга истребляют, когда в метрополиях из мрамора, порфира и бетона зарождаются и терпят крах империи, когда прилавки ломятся от бычьих туш, зеленого горошка быстрой заморозки, кружевных, парчовых и нейлоновых нарядов, везде вибрируют транзисторы, компьютеры и всяческая бытовая мелочь и во всех галактиках только и заняты, что наблюдением и измерением всего на свете, от почти невидимого до необозримого, только мы с Nugkta знаем: все,

что наполняет время и пространство, — малость, возникшая из ничего, которой могло бы и не быть или она могла быть еще более скудной, жалкой, тленной. И если мы не говорим об этом ни плохого, ни хорошего, то потому, что сказать тут можно лишь одно: бедный хрупкий мир, родившийся от ничего, все, что мы есть и что мы делаем, — такое же, как ты.

Взрыв внутрь*

«Квазары, галактики Сейферта, лацертиды — словом, активные ядра галактик — в последние годы привлекают внимание астрономов тем, какое огромное количество энергии исходит из них со скоростью 10 000 км в секунду. Есть веские основания полагать, что главная движущая сила галактик — «черная дыра» огромной массы» («Астрономия», № 36).

«Может быть, активные ядра галактик суть фрагменты, не взорвавшиеся в момент Большого Взрыва, внутри которых совершается процесс, прямо противоположный тому, что происходит в «черных дырах», — бурное расширение, сопровождаемое выделением огромного количества энергии (то есть это «белые дыры»). Это как бы окончания связей между двумя пространственно-временными точками («мостов Эйнштейна — Розена»), исторгающие ту материю, которую поглощают «черные дыры» в начале этих связей. В таком случае, возможно, сейфертовская га-

---

*** Примечания: ***

L'implosione.

© Перевод. Н. Ставровская, 2010.

лактика, удаленная от нас на сотню миллионов световых лет, ныне выделяет газы, втянутые другим концом Вселенной десять миллиардов лет назад. Возможно даже, что квазар, который мы сейчас видим, возник на расстоянии десятка миллиардов световых лет из материала, поступившего из будущего через «черную дыру», которая для нас возникла лишь теперь» (Паоло Маффеи «Небесные чудовища», с. 210–215).

— Вовне взрываться или внутрь — вот в чем вопрос, — промолвил Qfwfq, — достойно ль безудержно распространять свою энергию в пространстве или надо сжать ее, сосредоточить, уплотнить, вобрать в себя и там хранить? Для всех исчезнуть, сдерживать все вспышки, проблески и излияния, все противоречия, будоражащие душу, притуплять в глубине ее, чтобы в конечном счете совершенно сгладить, самоустраниться, свести себя на нет, — возможно, для того, чтобы затем воспрянуть где-нибудь еще, совсем иным.

Иным… Как так иным? Выходит, заново решать, куда взрываться, — внутрь или наружу? Втянувшись в вихрь этой галактики, потом нарисоваться в иных каких-то небесах в иные времена? Здесь погрузиться в ледяное безмолвие

— там самовыразиться в пылких криках на ином наречии? Здесь впитывать как губка в темноте добро и зло — там хлынуть ослепительной струей, чтобы затем растечься, истощиться и исчезнуть без следа? В чем смысл повторения цикла? Я не знаю, знать не хочу и не желаю размышлять на эту тему, здесь и сейчас я уже выбрал для себя взрыв внутрь и верю, что центростремительность навек избавит меня от сомнений и ошибок, частых перемен, скольжения от «сперва» к «потом» и я вступлю в пору стабильности, неколебимости и однозначности, приду к тому единственному состоянию, которое является залогом окончательности, однородности, компактности. Взрывайтесь, если хочется, наружу, разлетайтесь во все стороны бесчисленными стрелами, пускайте себя по ветру, транжирьте себя, расточайте — я буду взрываться внутрь, бесконечно низвергаться в собственную бездну, туда, где кроется мой центр.

С каких пор вы уверены, что жизненная сила может проявляться лишь как взрыв вовне? И впрямь, для этого хватает оснований — перед вами мир, рожденный именно таким безумным взрывом, первые осколки от которого, поныне не остыв, все еще летят как угорелые к рубежам

пространства. Ваша эмблема — бурное загорание сверхновых звезд, кичащихся своей нахальной молодостью и избыточной энергией, ваша любимая метафора — вулкан, знак того, что даже зрелая отлаженная планета может в любой миг разбушеваться и прорваться. Вспышки на окраинах небес лишь подкрепляют свойственный вам культ взрывного загорания, газы и частицы, почти столь же скорые, как свет, влетая вихрем в центр спиральных галактик, вбрасываясь в лопасти галактик эллиптических, тем самым возглашают, что Большой Взрыв длится и поныне, что Великий Пан не умер.[23] Нет, я не глух к вашим резонам, я даже мог бы присоединиться к вам. Давай! Взрывайся! Разлетайся во все стороны! Очередное сотворение нового мира совершается под грохот канонады, как во времена Наполеона… Ведь это с той поры, пропевшей осанну революционной мощи артиллерии, взрыв принято воспринимать не только как источник разрушения и смерти, но и как знак рождения,

[23] Примечания: 57

В учении орфиков конкретный образ козлоподобного бога лесов и пастбищ Пана становится абстрактным символом всеобщности, целостности Вселенной. Плутарх рассказывает, что в царствование Тиберия (I в. н. э.) кормчий судна, плывшего в Италию из Пелопоннеса, услышал возглас: «Умер Великий Пан!», породивший массу толкований. Иносказательно это выражение означает конец целой эпохи.

генезиса! С тех пор любые страсти, поэзия, человеческое «я» воспринимаются как нескончаемые взрывы! Но тогда следует учесть и противоположные доводы — что с того августа, когда огромные грибы оставили от городов лишь пепел, взрыв — символ только абсолютного отрицания. Что, впрочем, знаем мы еще с тех пор, когда, вознесшись над житейской прозой, задались вопросами о судьбах мира и узнали от оракулов термодинамики, что вспышка приведет к утрате всем сущим своей формы, что никто и ничто не сможет избежать необратимого распада и что время — непрестанное и неуклонное движение к катастрофе.

Лишь некоторые из старых звезд способны вырваться за рамки времени, они — окошечки, через которые можно выскочить из поезда, несущегося к гибели. Дряхлея и сжимаясь до размеров красных или белых карликов, едва переводя дыхание в предсмертном лихорадочном сверкании пульсаров, уплотняясь до стадии нейтронных звезд и, наконец, перестав растрачивать себя на освещение небосвода, зачеркнув самих себя кромешной тьмой, они созревают для неудержимого коллапса, когда все, включая лучи света, что в них попадет, уже не сможет выбраться оттуда.

Хвала тем звездам, что взрываются внутрь! Их ожидает настоящая свобода: убравшись из пространства, вырвавшись из времени, они наконец-то существуют сами по себе, ни от чего уже не завися, и поэтому, возможно, лишь они одни и могут быть уверены, что в самом деле существуют. «Черные дыры» — унизительный ярлык, навешенный завистниками, а на самом деле это антиподы дыр: нет ничего полнее, тяжелее, насыщеннее и компактней, чем они, упорно сдерживающие заключенное в них бремя, словно стиснув зубы, сжав кулаки и выгибая спину. Только так и можно уберечь себя от растворения в бьющей через край напористости, в бурных излияниях, потоках восклицаний, фонтанах красноречия и всплесках пылких чувств. Лишь так можно проникнуть в то пространство — время, где внутренне присущее, не выявленное сохраняет свою силу, где концентрация смыслов не разбавлена, где сдержанность и отстраненность многократно повышают действенность любого поступка.

Не отвлекайтесь на фантазии о том, какие фокусы выкидывают где-то на окраинах Вселенной гипотетические квазизвездные объекты! Все внимание — сюда, на центр нашей галактики, где, по

всем расчетам и по показаниям приборов, находится огромное невидимое тело. Подобие паутин, как видно, образованных во времена последних взрывов излучением и газами, — свидетельство того, что там — так называемая дыра, ныне погасшая, как старый кратер. Все, что вокруг нас, это колесо с планетными системами, созвездиями, ответвлениями Млечного Пути, — короче, все в нашей галактике вертится вокруг этого взрыва, направленного в глубь себя. Для меня он — центр притяжения, зеркало и тайная отчизна. И я не вижу поводов завидовать дальним галактикам, чьи ядра вроде бы взрываются наружу, — главное там тоже то, чего не видно. Поверьте, и оттуда тоже не выходит ничего, то, что с невероятной скоростью сверкает и вихрится, — лишь измельчаемая в ступе центростремительности пища для иного рода бытия — такого как мое.

Признаюсь, иногда мне кажется, что с самых дальних галактик долетает голос:

— Я — QfSvfq, я — тот же ты, только взрывающийся наружу, в то время как ты — внутрь, я трачу себя, самовыражаюсь, я рассеиваю себя в пространстве, заявляю о себе, реализую все свои возможности, так что на самом деле существую я — я, а не ты, скрытный, самоуглубленный, закос-

невший в своей неизменности эгоцентрист…

Тогда меня охватывает страх, что по другую сторону барьера гравитационного коллапса также продолжается течение времени — другого, не имеющего отношения к тому, которое осталось с этой стороны, но также безвозвратного. Если так, то мой взрыв внутрь — лишь предоставленная мне передышка, лишь задержка на пути к неотвратимому.

В моем сознании мелькает то ли воспоминание, то ли мечта: Qfwfq находит ход, который позволяет ему избегнуть приговора, устремляется в эту брешь и, чувствуя себя отныне в безопасности, следит сквозь щель из своего укрытия за стремительным развитием событий, от которых уберег себя, теперь со стороны жалея тех, кого эти события смели. И кажется ему, что кое-кто из них ему знаком… Да это же Qfwfq, который на глазах у Qfwfq переживает ту катастрофу, которая уже произошла или еще произойдет, Qfwfq, который, погибая, видит, как Qfwfq спасается сам, но не спасает его.

— Qfwfq, спасайся! — призывает Qfwfq, неясно лишь какой: тот, что, взрываясь внутрь, силится спасти Qfwfq, взрывающегося вовне, или наоборот? Однако ни один Qfwfq не сможет уберечь

от быстрого сгорания тех Qfwfq, взрывающихся наружу, которым не удастся удержать ни одного из Qfwfq от их неотвратимых взрывов внутрь. Любой отрезок времени есть приближение к катастрофе — в ту или в иную сторону, и от пересечения их образуется не сеть колей, движение по которым регулируют стрелки и развязки, а неразбериха, путаница…

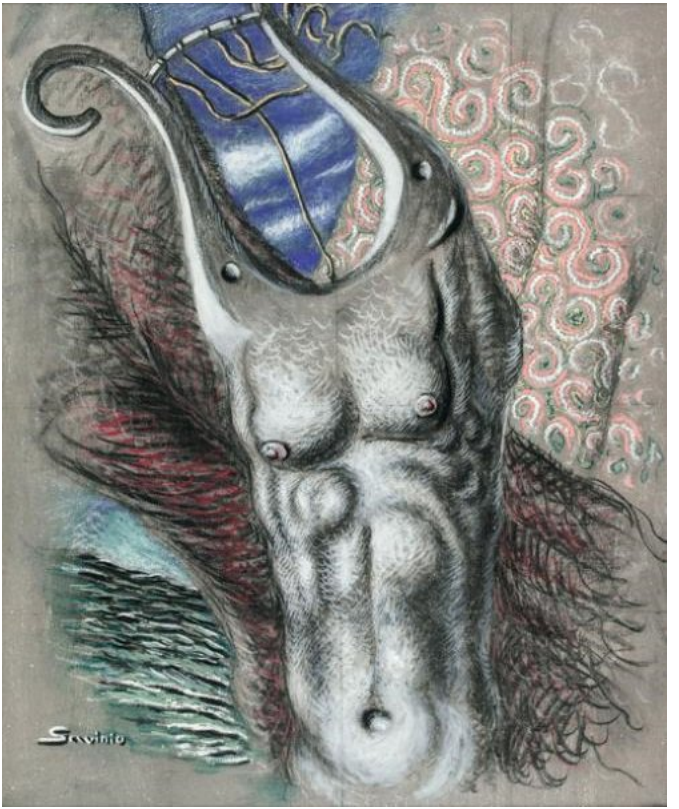
Но я знаю, что не должен слушать никакие голоса, не должен верить грезам и кошмарам. Я продолжаю рыть как крот свой ход.

Космикомическая история. Новая редакция

Другая Эвридика*

Орфей. Альберто Савинио. 2012

*** Примечания: ***
L’altra Euridice.
© Перевод. Н. Ставровская, 2010.



Когда вы, живущие снаружи, победили, вы переписали все истории, как вам было угодно; нас, внутренних, вы произвольно обрекли на

роль сил тьмы и смерти и дали нам прозвание «Духи преисподней», вложив в него зловещий смысл. Конечно, если все забудут, что произошло на самом деле между нами, — Эвридикой, мной, Плутоном, и Орфеем, — прямо противоположное тому, как подаете это вы, — если никто не будет помнить, что в действительности Эвридика была одной из нас и никогда не обитала на поверхности Земли, пока Орфей не умыкнул ее у меня, приманив своею лживой музыкой, — тогда с нашими давними мечтами сделать из Земли живую сферу придется окончательно расстаться навсегда.

Почти никто уже не помнит, что значили слова «жизнь на Земле», — совсем не то, что думаете вы, довольные налетом жизни, отложившимся на грани меж землей, водой и воздухом. Я хотел, чтобы она, жизнь, начиналась с самого центра Земли, распространялась на составляющие ее концентрические сферы, циркулировала между жидкими и твердыми металлами. Такой была мечта Плутона. Только так Земля могла бы стать огромным живым организмом, только так жизни удалось бы избежать того состояния небезопасного изгнания, в котором она вынужденно оказалась, — с непроницаемой громадой

безжизненного каменного шара внизу и пустотой вверху. Вы и не представляете уже, что жизнь могла бы быть иной, чем там у вас, снаружи, а точнее, почти снаружи, так как над вами и земной корой все-таки есть еще один тонкий слой — воздушный. Но это совершенно не сравнимо с чередою сфер, между которых мы, глубинные создания, извечно жили и живем и от которых до сих пор восходим, чтобы появиться в ваших снах. Земля внутри не сплошная, а прерывистая и состоит из наслоений разной плотности, а в самой глубине — железоникелевое ядро, которое тоже представляет собой целую систему ядер, содержащихся одно в другом, и каждое вращается отдельно, в соответствии со степенью текучести его материала.

Вы называете себя землянами — неясно, по какому праву, ведь на самом деле вы должны именоваться внеземлянами, землянин — тот, кто обитает внутри Земли подобно мне и Эвридике до того самого дня, когда вы, обманув ее, забрали у меня в ваше пустынное «снаружи».

Это мое, Плутона, царство, так как я всегда жил здесь, внутри, — сначала вместе с Эвридикой, а потом в единственном числе, — на одной из этих внутренних земель. У нас над головой вращалось

каменное небо, — более чистое, чем ваше, но тоже с облаками, как у вас, — там, где сгущаются хромистые или магниевые взвеси. Можно встретить у нас и крылатые тени — это как бы птицы наших внутренних небес, уплотнения легкой породы, взвивающиеся по спирали вверх, пока не пропадут из виду. Погода у нас очень переменчива, и если хлынет свинцовый дождь как из ведра или град цинковых кристаллов, остается только укрываться в порах губчатой породы. Кое-где тьму прорезают огненные зигзаги, но это не молнии, это змеится вниз по жиле раскаленный добела металл.

Землей мы считали сферу, на которой находились, а небом — ту, что ее окружала. В общем, так же, как и вы, только у нас эти различия всегда были временными, произвольными, поскольку плотность элементов постоянно изменялась, и вдруг мы обнаруживали: наше небо — твердое и плотное и давит на нас своей тяжестью, а вязкая как клей земля пузырится, закручивается в воронки и ходит ходуном. Я старался, пользуясь потоками самых тяжелых элементов, подобраться ближе к истинному центру Земли, к ядру ядра, держа при этом спуске Эвридику за руку. Но всякое движение к ядру приводило к размыванию

другого материала и выталкивало его вверх: случалось, что при погружении нас подхватывала волна, которая фонтаном ударяла в верхние слои, пробивала их и после этого закручивалась в завиток. Несомые такими волнами, мы поневоле мчались в противоположном направлении. Нас как бы всасывали вверх протоки, открывавшиеся в наслоениях минералов, после чего глубинные породы позади — то есть под нами — начинали вновь затвердевать, и мы в конце концов оказывались на другой земле. А сверху нависало другое каменное небо, и неясно было, где мы — выше или ниже того места, с которого пускались в путь.

Стоило заметить Эвридике, что металл нависшего над нами нового неба плавится, как ею овладевала прихоть полетать. Она пикировала вверх и проплывала через купола одного, другого, третьего небес, цепляясь за свисавшие с верхних сводов сталактиты. Я следовал за ней — отчасти чтобы поддержать ее игру, отчасти чтоб напомнить: нам пора двигаться в обратном направлении. На самом деле Эвридика была, конечно, тоже, как и я, уверена, что мы должны стремиться к центру Земли. Только достигнув центра, мы могли б считать, что вся планета — наша. Мы были зачинателями земной жизни

и хотели оживить всю Землю, начиная с ее ядра и постепенно распространяя наше состояние по всему земному шару. Нашей целью была земная жизнь, то есть жизнь Земли и жизнь в Земле, — не та, которая виднеется на поверхности и, на ваш взгляд, заслуживает названия земной, хотя на самом деле это нечто вроде плесени, которая постепенно покрывает сморщенную яблочную кожуру.

Мы рисовали себе мысленно, как под базальтовыми небесами возникают основанные нами вулканические города, обнесенные стенами из яшмы, а на ртутных океанах — сферические и концентрические плавучие города, через которые протекают реки из раскаленной лавы. Мы хотели, чтобы этот живой город-механизм разросся до размеров всего земного шара, чтобы эта теллурическая машина всю свою огромную энергию тратила на непрерывное строительство самой себя, на сочетание и перемещение субстанций и форм, со скоростью подземного толчка осуществляя работу, ради выполнения которой вы, снаружи, пашете веками до седьмого пота. И этот город, этот механический организм был бы населен такими великанами, как мы, которые с вертящихся небес протягивали бы свои креп-

кие объятия навстречу великаншам, которые благодаря вращению концентрических твердей подставляли б им себя все время в новых позах, обеспечивая новые способы соитий.

Мы представляли себе царство множественности и цельности, которое возникнет вследствие этих смешений и вибраций, царство тишины и музыки. Постоянная вибрация, распространяясь с разной быстротой, сообразно глубине расположения и прерывистости материалов, поколеблет, думали мы, нашу полную тишину и превратит ее в неумолкающую музыку мира, где глубокие голоса химических элементов сольются в унисон.

Я говорю это, чтобы вы поняли, сколь неверны ваш путь и ваша жизнь, где удовольствие и работа несовместны, музыка и шум разделены, и чтоб вы знали, что с тех пор стало понятно: пение Орфея — не что иное, как знак вашего разрозненного, разделенного на части мира. Как могла попасть в ловушку Эвридика? Она была плотью от плоти мира нашего, но, как натуру очарованную, ее влекла любая промежуточность, и чуть только ей доводилось воспарить в прыжке или при вознесении по вулканическому жерлу, как Эвридика принималась вращаться, совершать

фалькады[24], кабрировать[25] и делать всяческие выкрутасы.

В пограничных зонах и при переходе из одного пласта в другой она испытывала легкое головокружение. Мы знали, что Земля слагается из сводов, расположенных один поверх другого, как слои огромной луковицы, — каждый отсылает к соседу сверху, а все вместе предвещают крайний, где Земля уже перестает быть таковой, где остается по сю сторону все, что внутри, и далее идет «снаружи». У вас эта граница Земли отождествляется с самой Землей, для вас сфера — это не объем, а внешняя ее поверхность, вы всегда существовали в этом плоском мире и не представляете, что можно жить в других местах и по-другому. А мы тогда об этой границе знали лишь, что где-то она есть, но никогда не думали ее увидеть, если только не выйдем из Земли наружу, каковая перспектива представлялась нам не столько странной, сколько попросту абсурдной. Именно туда стремилось в виде извержений, битумных струй и фумарол все, что Земля выбрасывает из недр, — газы, жидкие смеси, летучие

---

[24] Примечания: 59
Фалькады — приседания. *(Прим. комп.)*

[25] Примечания: 60
Кабрировать — кувыркаться. *(Прим. комп.)*

элементы, побочные материалы, всякие отходы. Это была негативная сторона мира, которую мы даже не могли как следует вообразить, но самые общие представления о ней вызывали дрожь от отвращения, нет, скорее от смятения, точнее ошеломление, вплоть до умопомрачения (наши реакции действительно были сложнее, чем мы могли подумать, особенно у Эвридики), и в этом чудилось какое-то волшебство, как будто нас затягивала пустота, влекла потусторонняя высшая сила.

В соответствии с очередным капризом Эвридики мы направились в жерло потухшего вулкана и, пройдя сквозь нечто схожее с горловиною клепсидры, угодили в выстланную чем-то серым полость кратера, напоминавшую и веществом, и формой обычные пейзажи наших глубей. Что нас поразило, это то, что дальше Земля прекращалась, к ней не примыкала никакая Земля иного вида, дальше начиналась пустота, во всяком случае, куда менее плотное вещество в сравнении с теми, сквозь которые мы пробирались до сих пор, прозрачное и вибрирующее, — голубоватый воздух.

Эти вибрации и погубили Эвридику — столь отличные от тех, что медленно распространяются в

граните и базальте, от чавканья, гудения, рокота, лениво встряхивающих массы расплавленных металлов или кристаллические стены. Здесь же ей неслись навстречу, если можно так сказать, мелкие остроконечные звуковые искорки, частившие со скоростью, для нас невыносимой, изо всех концов пространства; это походило на щекотку, вызывавшую пикантное возбуждение. Нами овладело, — по крайней мере мной, отныне мне придется проводить различие между своими чувствами и настроениями Эвридики, — желание скорее скрыться в бесшумной темной глубине, куда едва доносятся лишь отзвуки землетрясений. Но Эвридике, охочей до всего необычайного и склонной к опрометчивым поступкам, не терпелось приобщиться к чему-то уникальному, будь то хорошему или плохому.

Эти минуты стали роковыми. Воздушные массы за краями кратера вибрировали непрерывно, но непрерывность эту обеспечивали разнородные прерывистые вибрации. Возникавший в результате звук, набрав полную силу, постепенно затухал, чтобы затем опять достигнуть прежней громкости, и эти модуляции следовали некоему плану чередования звучных и глухих отрезков. На данный звук накладывались и другие, —

пронзительные, отрывистые, — которые затем утрачивали четкость, размывались, обретая сладковатый или горький ореол и, противодействуя или вторя звуку более глубокому, рождали некую звуковую сферу, зону или пояс.

Первым моим побуждением было вырваться из этой сферы, возвратиться в мир компактности и тишины, и я соскользнул в глубь кратера. Но Эвридика в этот самый миг метнулась в направлении звука и, прежде чем я успел ее удержать, выскочила за пределы кратера. Быть может, не сама — мне показалось, ее ухватила некая рука, коварно ухватила и уволокла. Мне удалось расслышать крик, — ее крик, Эвридики, — соединившийся с тем, прежним, звуком, зазвучавший в лад с ним, и мелодию, которую запели она и тот певец, и звуки струн неведомого инструмента, которыми они сопровождали свое пение, спускаясь по наружному склону вулкана.

Не знаю, в самом ли так было деле или лишь в моем воображении, — тем временем я погружался в родную тьму, и надо мною друг за дружкой смыкались внутренние небеса — кремнистые своды, алюминиевые крыши, купола из вязкой серы, — а вокруг звучал то тихий гул, то приглушенный грохот — элементы пестрой подземной

тишины. Я ощутил и облегчение от того, что оказался далеко от этого противного воздуха и пытки звуковыми волнами, и в то же время отчаяние от утраты Эвридики. Не сумев спасти ее от страшной участи быть выдернутой из земли и выносить это битье по натянутым в воздухе струнам, с помощью которого мир строит иллюзии бытия, остался я один. Моя мечта оживить Землю, достигнув вместе с Эвридикой самого ее центра, не сбылась. Эвридика сделалась изгнанницей и пленницей лишенных всякого прикрытия пустынь наружного мира.

Потянулось время ожидания. Я созерцал ландшафты, теснившие друг друга внутри земного шара, длиннющие полости, горные цепи, подобные гигантской чешуе, океаны — словно выжатые губки, и чем лучше с волнением узнавал я наш сплошной, битком набитый, концентрированный мир, тем больше сожалел, что нет в нем Эвридики.

Ее освобождение стало моей единственной заботой: взломать ворота в этот внешний мир, осуществить вторжение туда мира внутреннего, вернуть Эвридику внутрь земной материи, выстроить над нею новый свод, новое минеральное небо, спасти от этого кошмара — от дрожащего

воздуха, от пения, от звучания струн. Я наблюдал, как в полостях вулкана скапливается лава, как заполняет она вертикальные каналы в земной коре, и понял: вот он, выход!

Настал день извержения, и над обезглавленным Везувием выросла черная башня из лапилли; лава понеслась по виноградникам, насаженным вокруг залива, вломилась в Геркуланум, расплющила о стену мула и погонщика, оторвала скупца от денег, а невольника — от кандалов, цепная собака сорвалась с цепи, ища спасения в амбаре… Я видел все это, мчась вместе с лавой, раскаленная лавина распадалась на отдельные языки, на много ручейков, на уйму змеек, и в том языке, что дальше всех продвинулся вперед, был я, искавший Эвридику. Каким-то образом я знал: она по-прежнему в плену у неизвестного певца, и где я вновь услышу звуки того инструмента, тембр того голоса, вот там она и будет.

Я несся, движимый потоком лавы, минуя тихие сады и мраморные храмы, и, наконец, услышал пение под звуки арфы двух сменявших друг друга голосов: голос Эвридики — как он изменился! — вторил другому, незнакомому. Над аркой была надпись греческими буквами: Orpheos. Я вышиб дверь, вкатился внутрь. Ее я видел лишь одно

мгновение, рядом с арфой. Это замкнутое полое пространство, судя по всему, было устроено специально так, чтоб музыка сосредоточивалась там как в раковине. Тяжелая портьера, — кажется, из кожи, да еще подбитая, как стеганое одеяло, — занавесила окно, отъединяя их музыку от окружающего мира. Только я проник туда, как Эвридика рывком отдернула эту портьеру, распахнув окно, и мне открылись слепивший бликами залив и городские улицы. Зал затопил полдневный свет — и звуки: отовсюду неслись бренчанье на гитаре, завывание сотни громкоговорителей, отрывистая трескотня моторов, звуки труб. Панцирь шума покрывал земную поверхность, пелена звучания, ограничивающая вашу внеземную жизнь, — с торчащими на крышах антеннами для превращения в звуки волн, которые незримо и неслышно бороздят пространство, с транзисторами, пригвожденными к ушам, чтобы ежесекундно наполнять их звуковою жвачкой, в отсутствие которой вы не понимаете, живете вы или уже мертвы, с музыкальными автоматами, что копят, а затем выплескивают звуки, с беспрерывною сиреной «скорой помощи», которая подбирает тех, кто получает раны в вашей беспрерывной бойне.

Уткнувшись в этот звуковой барьер, лава остановилась. Напоровшись на колючки заграждения из сплетающихся звуковых вибраций, я рванулся все-таки туда, где на мгновение увидел было Эвридику, но она исчезла вместе с ее похитителем: мелодия, в которой и которой они жили, была затоплена лавиной шума, где различить ее с ее мелодией было невозможно.

Я отступил, я двинулся назад в потоке лавы, я поднялся вверх по склону к кратеру вулкана, возвратился к жизни в тишине, я снова стал затворником.

Живущие снаружи, я прошу, если вдруг в массе окружающих вас звуков вам случится уловить мелодию Эвридики, — мелодию, которая, пленив ее, сама попала в плен к немелодичности, любые мелодии поглощающей и истребляющей, — если узнаете вдруг голос Эвридики, в котором слышится еще далекий отголосок беззвучной музыки химических элементов, — сообщите, расскажите мне о ней. Прошу вас, внеземляне, временные победители, чтобы я смог-таки вернуть Эвридику в средоточие земной жизни, чтобы вновь у власти встали боги недр, обитающие в гуще бытия, после того как божества поверхности, боги вершин Олимпа, боги разреженного воздуха вам дали все,

что они могли, и стало ясно, что этого мало.